



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

7-8 (451)

2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Владимир Ханан. «Думал «позже», а вот оно вроде...» и др. стихи.....	3
Анатолий Бузулукский. Пальчиков. Роман.....	8
Владимир Гандельсман. Песни короля лир. Стихи.....	71
Алексей Порвин. «Воронье гнездо во все голоса...» и др. стихи.....	76
Виктор Іванів. Конец Покемаря. Повесть.....	80
Галина Рымбу. «Зима 13» и др. стихи.....	102
Ирина Косых. Идущая на огни. Рассказ.....	107
Марина Курсанова. «...но эта бездна около плеча...» и др. стихи.....	109
Сергей Слепухин. «Вошла, обнаженная по-осеннему...» и др. стихи.....	114
Ара Мусаян. Почта из Франции.....	117
Инна Халяпина. Райская яблоня. Повесть.....	121
Виталий Щигельский. Подпольщики. Рассказ.....	135

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Михаил Окунь. «Литературное собрание» и др.	140
Игорь Бобырев. «и ничто другое не имеет подобия...» и др.	141
Наталья Черных. «Герцогиня Мальфи» и др.	142
Вороника Волкова. «и вот лежишь в необъятной авоське...» и др.	147
Мария Малиновская. «Я же была пиromanкой – божественного огня...» и др.	149

ДЕБЮТ

Саша Миндориани. «Надбавка за Север». «Бусуйок ла моарте». «Дедушкины песни» Рассказы.....	153
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Андрей Пермяков. У них была прикольная эпоха.....	160
Алексей Григорьев. Мир без героев.....	169
Владимир Ханан. Поле свободы.....	173
Олег Рогов. Жизнь «Софьи Петровны».....	175
Владимир Коркунов. Уроки Любви.....	176
Сергей Трунев. От улыбающейся сковородки до пятиглавого декаданса.....	178

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Теорема Зеро под кожей волка с Уолл-стрит.....	182
--	-----

Владимир ХАНАН

Думал «позже», а вот оно вроде...
«Быть не может», а вот оно – то...
Ноют кости к дождливой погоде,
Как-то вдруг удлинилось пальто.

Или, скажем, вся в этаком, дева –
Смотришь как на картину, эстет.
От походов – бывало – налево
Ничего, кроме мелочи, нет.

Жизнь свою невниманьем калеча,
Весь свой пыл положил на слова.
А в прихожей прибитое: «Неча, –
Говорит, – коли рожа крива»

Помнишь: дача, судьбы паутинка,
Где-то бегает мальчик-пострел,
«Джеймс Кеннеди» играет пластинка,
Патефон ещё не устарел.

Гаснет вечер «Над Волгой широкой...»,
Бьётся кистью в окошко сирень.
Пусть она себе бьётся, не трогай,
Проживи ещё раз этот день.

об. 2012

С. Гандлевскому

В первый день по приезду в Нью-Йорк я попал на приём
К знаменитому мэтру – он знал обо мне почему-то –
И под традиционное «выпьём и снова нальём»

Владимир Ханан (Ханан Бабинский) родился 9 мая 1945 года в Ереване. Кроме семи детских лет, проведенных в Угличе, до репатриации в Израиль (1996) жил в Ленинграде и Царском Селе. По образованию историк (Ленинградский государственный университет). Работал слесарем, лаборантом, сторожем, оператором котельной. До перестройки печатался в сам- и тамиздате, затем – в России, США, Англии, Франции, ФРГ, Австрии, Литве, Израиле. Автор книг стихов «Однодневный гость» (Иерусалим, 2001), «Осенние мотивы Столицы и Провинций» (Иерусалим, 2007), «Возвращение» (СПб, 2010) и прозы «Аура факта» (Иерусалим, 2002), «Неопределенный артикль» (Иерусалим, 2002), «Вверх по лестнице, ведущей на подоконник» (Иерусалим – Москва, 2006), а также более двухсот публицистических статей в периодике Израиля и США. Член Международной федерации русских писателей.

Я впервые попробовал, щедро плеснув, Абсолюта.
 Вскоре там появились художник, известный весьма,
 Этуаль Москино, что отважно избрала свободу
 И богатого мужа. В полста этажей терема,
 Что виднелись из окон, свой отсвет бросали на воду
 Где-то рядом внизу протекавшей свинцовой реки.
 У красавиц подолы мели по блестящему полу.
 Тут я снова налил – с гостевой неизбежной тоски
 В высоченный бокал Абсолюта, добавивши колу.
 Между прочим, светлело. Красотки вокруг – выбирай!
 Мой «эмерикен англиш» уверенно рос с каждым часом.
 Дальше ангел случился с машиной, и начался рай
 В двухэтажном апартаменте с километровым матрасом.
 Что же до Абсолюта – он был для меня слабоват,
 Я его подкрепил чудодейственной дозой разлуки
 С коммунальной квартирой под лампочкой в 70 ватт,
 Ноздреватым асфальтом страны, где заламывал руки,
 Заклиная невроты и комплексы, депресняки,
 Голубую любовь к себе власти и электората,
 Поддаваться которым мне было совсем не с руки:
 Не любил я, признаться, Большого Курносого Брата.
 Вспоминная пролёт сквозь зелёный ирландский ландшафт
 И приёмник Канады с огромным, как зал, туалетом,
 Я представил другие, в которых кишат и шуршат
 Соотечественники, невольно споткнувшись на этом.
 Так с друзьями московскими, помнится, что с похмела,
 На троих (одного уже нет) в привокзальном сортире,
 Сдав билет и портвейна купив, мы его *из горла*
 Тут же употребили, как у Мецената на пире.
 То, что этот забойный напиток годился скорей
 Для хозяйственных нужд, например, чтоб травить тараканов,
 Нас отнюдь не смущало. Пристроившись возле дверей
 Мы подняли бутылки, легко обойдясь без стаканов.
 А сегодня я б отдал весь долбаный тот Абсолют,
 Все мартини и виски, что выпил за долгие годы,
 Самый лучший коньяк, если мне его даже нальют,
 За тот райский коктейль из поддельной лозы и невзгоды.
 От вина шло тепло, но зима предъявляла права,
 И пупырышками покрывалась продрогшая кожа,
 Когда мы в привокзальном сортире – я, Саша, Серёжа –
 Дружно пили портвейн, а вокруг грохотала Москва.

Январь 2013

Лето 53-го

Пионерлагерь имени Петра
 Апостола располагался в церкви,
 Закрытой властным росчерком пера.

Внутри и вне бузила детвора
Военных лет. На этом фоне меркли
Особенности здешнего двора.

А здешний двор – он был не просто двор,
А сельское просторное кладбище
Одно на пять окрестных деревень.
И будь ты работяга или вор,
Живи богато, средне или нище –
А в срок бушлат берёзовый надень.

Тогдашний «мёртвый час» дневного сна,
Когда башибузуки мирно спали,
Был отведён для скорых похорон.
Пока внутри царила тишина,
Снаружи опускали, засыпали,
И двор наш прирастал со всех сторон.

Полусирот разболтанную рать –
Отцы в комплекте были у немногих –
Не так-то просто было напугать.
Мы всё умели: драться, воровать.
Быт пионерский правил был нестрогих.
Но кой о чём придётся рассказать.

Была одна стервозная деталь:
Еды детишкам было впрямь не жаль,
Но требовалось взять в соображенье
Природный, так сказать, круговорот:
И то, что детям попадало в рот,
Предполагало также продолженье.

В высоком смысле церковь – целый мир,
Божественным присутствием пропитан.
Но если по-простому, без затей,
То в этой был всего один сортир,
Который был, понятно, не рассчитан
На сотню с лишним взрослых и детей.

Но сколь проблема эта ни сложна,
Была она блестяще решена,
Лишь стоило властям напрячь умище.
И к одному сортиру, что внутри,
Добавили ещё аж целых три
Снаружи, то есть прямо на кладбище.

А вот теперь представьте: ночь, луна,
Кладбищенская (вправду!) тишина,
Блеснёт оградка, ветер тронет ветки,
А куст во тьме страшней, чем крокодил,

Поэтому не каждый доходил
До цели. Что с них спросишь? – Малолетки!

.....

Пусть в прошлое мой взгляд размыт слезой,
А детство далеко, как мезозой,
Я помню все детали пасторали:
Зелёный рай под сенью тёплых звёзд,
Наш лагерь: церковь, а вокруг погост,
Который мы безжалостно засрали.

11. 06. 2013

Каляева, 8¹

27.01.1973 – 12.02.1974

Нас в камере сидело восемь рыл,
Из них я был единственным евреем,
Цигарки самодельные курил, да, курил
И бормотал то ямбом, то хореем.

Там близко хулиган не ночевал,
Их всех сдавали жёны после пьянки.
Один я только был из подпевал, да, подпевал
Враждебных голосов и подлых янки.

Я бодро называл свою статью,
Вставая поутру на перекличку,
Позоря этим самым и семью, да, и семью
И школу, и училку – историчку.

Я посещал истфак семь лет подряд,
И знал про рабский труд, что он напрасен,
И весь наш многочисленный отряд, да, весь отряд
Работал, как один примат из басен.

По жизни процветал у нас соцарт
(Еврей на сутках, как в снегу мокрица),
И на меня ходили, как в театр, да, как в театр
Работницы и даже кладовщица.

Обман ментов я не считал за грех,
И между башмаками и носками
Я в камеру носил табак на всех, да, на всех,
За что был уважаем мужиками.

¹ На улице Каляева, 8, в доме, практически составлявшем одно целое с домом на Литейном проспекте, 4 (Ленинградский аналог Московской Лубянки), содержались административно арестованные на 5, 10 и 15 (среди последних был и я) суток. Сорокалетию этого события я и посвящаю вышеприведённые строки.

Хоть не считал я суток и минут,
Хоть не спала ментовская охрана,
Я твёрдо верил, что ко мне придут, да, придут
Большие корабли из океана.

Я их дождался через много лет,
Но вспоминаю с нежной ностальгией
Баланду с кислым хлебом на обед, да, на обед,
Который там едят теперь другие.

09.02.2013

Виктору Ерохину

Если это провинция, то обязательно дом
С деревянной террасой, чердак, полный разного хлама,
Небольшой огородик, ворота с висячим замком,
Вдоль забора кусты, и сарай, современник Адама.

Обязательно парк, если нет, то, как минимум, сквер.
Пара-тройка скамеек в истоме полуденной лени,
Для сугубой эстетики дева с веслом, например,
Или бронзовый Ленин, а может быть, гипсовый Ленин.

Непреренно река, вот уж что непременно – река.
Скажем, матушка-Волга, но не исключаются Кама,
Сетунь, Истра, Тверца, Корожечна, Славянка, Ока...
Плюс пожарная вышка, соперница местного храма.

Вспоминается жёлтая осень, сиреневый снег
Под мохнатыми звёздами, печка с певучей трубою.
Так когда-то я прожил дошкольный запасливый век
И уехал, с беспечностью дверь затворив за собою.

За вагонным окном побегут облака и мосты,
Полустанки, деревья в клочках паровозного пара.
И прощально помашет рукою мне из темноты
Белокурая девочка с ласковым именем Лара.

Дек. 2012

ПАЛЬЧИКОВ

Роман

1. Настоящее горе

Андрею Алексеевичу Пальчикову казалось, что за пятьдесят лет жизни он ни разу не испытал настоящего горя. Пальчиков понимал, что настоящее горе, скорее всего, наполняло его душу, но он не воспринимал его как невыносимое, всеохватное, настоящее. Он вынужден был считать себя странным, черствым, недобрым, нехорошим, потому что никогда не был убитым горем. Смерть бабушки, родителей, тети, брата, двух друзей он встречал с растерянностью, без обреченности. В нем не вспыхивало геройство вконец обездоленного человека. В нем не держалась скорбь. Он был сентиментален для окружающих и холоден для самого себя.

Он боялся, что это настоящее горе придет от детей или связано с ними. Теперь, узнав от сына, что у матери (бывшей жены Пальчикова Кати) подозревают рак, Пальчиков понял, что вот оно это горе, здесь. Что случится оно уже в этом году, этой осенью. Что оно уже случилось. Пальчиков думал, что оно не кончится, что оно поглотит всё рядом и уничтожит его, что это как раз и есть начало конца. Он знал, что дальше время предстанет в обрывках и любовь будет напрасной, растущей, смехотворной, как фантомная боль.

А вдруг, мелькнуло в сознании, беда жены еще не самое страшное. Нет, самое страшное. Будто вынырнув из пронзительной темени, Пальчиков почувствовал, что именно это, с женой, – самое страшное, а не то, что произойдет с ним впоследствии.

Он хотел понять, что теперь думают не о матери, а о нем его, их дети – дочь Лена и сын Никита. Оба были взрослые (дочь – двадцатисемилетняя, сын – двадцатипятилетний) и могли теперь быть не только эмоциональными и деликатными, прагматичными и снисходительными, но и беспристрастными, чистыми, мудрыми.

Пальчиков сказал сыну, а затем дочери то, что всегда в таких случаях говорят: что нельзя верить нашей медицине, по крайней мере – первичному заключению, что необходимо идти на обследование в другую клинику и, возможно, не в одну, что нужна информация из разных источников, что российские врачи любят преувеличивать или недооценивать, что у них не бывает золотой середины, а именно золотая середина и есть профессионализм, что многие эскулапы живут страшными диагнозами. Пальчиков вспомнил, что как раз недавно смотрел телепередачу, в которой рассказывалось, как наши онкологи едва не залечили бедную женщину. Они убеждали ее лечь под нож, потому что без хирургического вмешательства она, дескать, не протянет и двух месяцев. Пациентка не согласилась на операцию в России, продала квартиру и отправилась на лечение в Израиль. Израильские медики сообщили ей, что никакого рака у нее нет и никогда не было. Пальчиков также сказал сыну и дочери, что, если потребуется, он свою квартиру, где теперь обитает, продаст для матери. Справедливости ради Пальчиков уточнил, что и у нас в стране остались хорошие специалисты, но на поверхности – плохие, и именно они правят бал.

Анатолий Бузулукский родился в Самаре в 1962 году. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета им. А.И. Герцена. Служил в армии, учительствовал. Член Союза писателей России. Автор книг прозы «Время сержанта Николаева» (СПб, 1994), «Антипитерская проза» (СПб, 2008) и публикаций в журналах «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Нева», «Русская жизнь». Лауреат премий им. Гоголя и журнала «Звезда» за лучшую прозу. С 2008 года – постоянный автор журнала «Волга». Живет в Санкт-Петербурге.

Пальчиков знал, что сын Никита испытывал сейчас настоящее горе. Он жил с матерью и теперь боялся на нее взглянуть – и по-старому, и по-новому. Пальчиков представлял жену, как прежде, остроумной и наблюдательной. Она, вероятно, говорила сыну: «Не шарахайся от меня, я не страшная еще. Помоги мне до остановки сумки донести, я – на дачу». Телефон у сына был отключен три дня. Пальчиков понимал, что сын три дня лежал в своей комнате плашмя, в сумраке, с опущенными жалюзи, в духоте, в наушниках с электронной музыкой. Пальчикову казалось, что первое горе Никита пережил, когда отец с матерью развелись. Но тогда сын был подростком, и горе было открытым и горе было не таким.

Пальчиков собрался поехать к сыну, но сообразил, что сын дверь не откроет, хоть и услышит звонок. Пальчиков знал, что сын научится отводить глаза от отца. И мать произнесет: «На меня не смотрит – понятно. А на отца чего не смотришь? Телефон почему не берешь?» «Беру я, мама, смотрю я», – с детскими слезами взглянет на мать сын. Отец помнил эти сыновьи слезы – не требовательные, не умоляющие, а призывные, окликающие. Катя говорила мужу, когда маленький Никита плакал: «Не ругай его, он не врет. Он не умеет врать».

Пальчиков понимал, о чем думал сын: что, если бы стоял выбор, то пусть бы рак нашли у отца, а не у матери.

Пальчиков знал, что дочь Лена так не думала. Хоть мать ей и была ближе, дочь не знала, кто ей дороже. Когда разводились, дочь сочувствовала матери больше, а Никита меньше винил отца. Пальчикову казалось, что дочь никогда ничего не выбирает, не отбраковывает. Ему казалось, что он плохо знал дочь, хуже, чем сына. Дочь была похожа на отца. Ее беспокойство можно было принять за оторопь. Ее радость он принимал за досаду. Он сам был такой, как дочь, – педантичный, но рассеянный, памятливым, но не внимательный, торопливый, но не решительный. Нет, кажется, дочь не была торопливой, вспоминал Пальчиков. Дочь была как мать. Ее тревога была мужественная, житейская, разумная. А сын становился похожим на отца.

«Что теперь творится в душе Кати?» – мучился Пальчиков. Она будет шутить, рыдать, задышаться ни одну ночь. Это он может покориться судьбе мгновенно, без суда повиниться, без видимой причины посыпать голову пеплом. Поэтому он не любит сочувствия к своей персоне, а Кате трудно без утешений, она надеется на них, хоть и привыкла обходиться без постороннего тепла. Он знал, что Катя теперь обращается за поддержкой к своему прошлому: к тяжелым родам, к женским болячкам, ко всем своим прежним недугам. Через некоторое время она будет говорить: «Что поделаешь? Вот такая я: то понос, то золотуха!»

Пальчиков понимал, что не может ей теперь позвонить, не может ничего сказать через детей. Она, конечно, не допускает мысли, что он не испугался ее диагноза, вдруг остался равнодушен – бессознательно, инстинктивно, на краткий миг. Она знала, что он не такой человек. Но если он теперь позвонит, она будет считать его глупым, поглупевшим. Кроме того, она опять взмолится после разговора с ним: почему я, добропорядочная женщина, а не он, хороший, но беспутный? Нет, она даже не взмолится.

Позвони он, ей станет тошно. Она будет с ним хихикать, приbedняться, толковать о детях. Нет, она даже и о детях не будет. Ее голос, кажется, станет совершенно ровным, доброжелательным и милостивым. Ее знание, думал Пальчиков, теперь не доступно его уму, выше его. Пальчиков не знал, что она подумает.

2. Одиночество

Пальчиков начал разговаривать в одиночестве. Кто-то заметил, что если ты разговариваешь сам с собой – это не диагноз, это даже полезно, а вот если ты начинаешь разговаривать не с собой, а с мухой – вот это уже нечто.

Пальчиков спрашивал: что такое одиночество? И отвечал: одиночество (не творческое, не профессиональное, не интеллигентское) наступает при отсутствии любимого человека. Когда

любимого человека нет не только рядом, когда его нет вообще, и вдали тоже. Когда становится понятно, что его не будет вовсе.

Пальчиков спрашивал: наше одиночество, современного человека, какое-то другое? И отвечал: нет, такое же, но более уничтожительное по отношению к человеку, – тому, в кого оно вошло.

Пальчиков думал: были ли одиноки его мать, отец, дед Василий, баба Саня, старший брат? Нет, не были точно. Может быть, в отце что-то зарождалось и сквозило – тоскливое, устойчивое, отстраненное, чужое. Отец, даже когда напивался, становился не ближе, а дальше. Но отец боялся культивировать одиночество, он так и не расстался с матерью, он винулся, и мать его прощала. Она знала, что без нее отец пропадет – не образно, умрет как человек, вернее, как пес шелудивый.

Андрей Алексеевич Пальчиков знал, что он от одиночества не погибнет. Будет изнывать до глубокой старости (если таковую Бог даст), а затем, превратившись в развалину, качется, и об одиночестве забудет, и о своей участи.

Пальчиков думал, что, напротив, грядущее одиночество его спасло. Был бы не одинок, продолжал бы беспечно пить и нашел бы, в конце концов, смерть под забором. А так, помимо одиночества, ему не на что, не на кого больше опереться. Всегда в голове опасение: плохо тебе станет, а ты один, поэтому живи так, чтобы не было тебе плохо, не дури, держи себя в форме. Не быть не одиноким ты уже не сможешь, не в твоих это силах – быть не одиноким.

Одиночество вечерами становилось живым, самовластным.

Книги перестали восхищать. Мешать удрученности могут только новые книги, новые авторы. Классиков Пальчиков перечитывал в час по чайной ложке. Классики не годились для вечеров, для бессонных ночей. Классику он читал в выходные дни и в отпуске. Новых авторов не было – равных Чехову, Томасу Манну, Тютчеву. Современники были бессильные, претенциозные, не было в них ни писательской рефлексии, ни благородной нравственности, ни духовной пронзительности в слове. В книгах по истории, философии, психологии отсутствовала общительность. Только от новинок художественной литературы (только незнакомой и сдержанной) у человека просыпается интерес к обычной жизни, к текущим дням. Новое должно доноситься единым порывом – новая книга, новый фильм, новая мелодия. Новое – не слышанное, не читанное, не виденное, равное слышанному, прочитанному, известному. Но таких новинок Пальчиков не встречал уже лет двадцать. Сначала хорошие авторы перевелись у англичан, французов, немцев, теперь они перевелись и в России. Пальчикову нравились прежние дискуссии. Например: может ли плохой человек быть хорошим писателем? Всё чаще стали отвечать, что может. И принялись таких писателей, якобы могущих писать хорошо, вне зависимости от того, хорошими они были людьми или плохими, поднимать на щит. А ведь хорошая литература – это как раз и есть хороший человек.

Музыку по вечерам Пальчиков тоже не слушал. И телевизор не включал. Музыка казалась ему куда более повседневной, чем тишина. У тишины – свои альты. Пальчиков нуждался не в крепком сне, а в радости, согласии, отклике. Тишина порой охватывала его мерным покоем. Музыка всегда была близкой, но посторонней. Музыку Пальчиков слушал по утрам – то Малера, то Рахманинова, то Лемешева, то Галину Ковалеву. Когда Пальчиков что-либо делал по дому, он ловил радио с джазом. Джаз умел нестись безначально и бесконечно. Пальчиков знал, что джаз – пристрастие либералов, Пальчиков же себя причислял к консерваторам. Он думал, что либералы и консерваторы отличаются друг от друга не меньше, чем женщины от мужчин. Но джаз, если не увязывать его с либералами, не резал слух, наоборот, звучал безобидно и рассудительно, был эдаким легким в общении господином.

Фильмы перед сном иногда выручали Пальчикова. Кино было самым предметным продолжением реальности – с диалогами, характерами, жестами, телами. Кино могло заполнить гулкую комнату голосами и смехом, чужой мебелью, морем, картежниками. Правда, фильмы были так похожи друг на друга, что воображались в итоге одним нескончаемым сериалом, существованием – таким же очевидным, как и у него, у Пальчикова.

Пальчиков помнил, как он любил поначалу социальные сети, как торопился к ним. Теперь всё, что происходило в соцсетях, напоминало до мелочей знакомое и изжитое прошлое. Фейсбу-

ком Пальчиков перестал интересоваться, в Твиттере не писали, а скакали, в ЖЖ самовлюбленно потягивались. Он посещал ВКонтакте. Привык без разбору заходить на страницы случайных людей, рассматривать их фотографии, слушать их записи, смотреть их видео. Ему не хватало лишь рубрики «Запах». С запахами нужда в другой, стереоскопической жизни могла бы отпасть. Затем потребовалась бы ссылка-рубрика «Ощущения». Он пересмотрел тысячи лиц, у него скопились закладки сайтов совершенно не знакомых ему людей из разных мест, к которым он заходил регулярно, как в квартиры, следил за изменениями их карьеры, семейного положения, умственного роста, политических взглядов. Были люди среди его закладок, которые уже умерли, по сути, на его глазах, словно на его руках. Были люди, которые подозревали, что кто-то к ним навевается, как призрак. Другие пользователи кричали со стены: «Я знаю, вы шляетесь здесь, у меня. Ау! Признавайтесь! Откликнитесь, кто вы?» Многие горделиво помалкивали, ставили очередное лощенное фото на аватарку – для зависти и от взгляду. Пальчиков разглядывал своих старых приятелей – однокурсников, коллег, бывших соседей. Он просмотрел всех своих однофамильцев – Пальчиковых. Их было не много. Может быть, некоторые из них были его дальними родственниками. Пальчиковы из социальных сетей были себе на уме, не тихони и не фронтеры, шуточные мещане, внимательные провинциалы. У одного из Пальчиковых в статусе была выведена целая отповедь: «Пальчиков – это вам не пальцем сделанный!»

Иногда Пальчикова в социальной сети душили слезы. Вот он увидел сообщение, что умер некий Алексей (добродушный, лохматый бородач, который был младше Пальчикова на пять лет), что панихида по нему пройдет завтра. На стене – лесенка соболезнований: «Как жалко! Какой был хороший человек! Эх, Лешка, Лешка! Как же так?! Ведь он в этом году не баловался ни наркотой, ни алкогелем». Кто-то писал, что без героина и водки в этом мире не прожить, что без них хорошему человеку тяжело. Кто-то добавлял: «Зато без них всё понятнее». Пальчиков видел, что у покойника была собака, две кошки и двое детей – мальчишек с веселыми, нежными глазами. Пальчиков понял, что Алексей женился поздно, после затяжной рокерской молодости. Следов жены Алексея на странице не было.

Пальчиков скукожился, заплакал. Одному плакать хорошо. Ему стало горько, что об этом, похожем на него, Пальчикова, Алексея он узнал из интернета. Там же ВКонтакте он обнаружил, что скончался его школьный друг Руслан, по которому каждый день на его странице убивалась его вдова.

Пальчиков пошел к иконке в книжном шкафу. Ему важно было теперь помолиться о жене. Он не верил, что молитва получится. И вдруг, он почувствовал, что молитва получилась, когда он сказал: «Даруй Кате здоровье. Меня накажи. Из-за меня она с этим раком».

Пальчикову показалось, что тревоги не стало. Но он испугался, когда услышал свой голос: «Меня накажи». Затрепетал, потому что знал, что именно так и будет. И пусть так будет, – вдруг обрадовался Пальчиков. – Это будет правильно. И Катя будет знать, что это справедливо. Ему следует первому уйти.

Пальчиков вспомнил слова одного священника: человек умирает тогда, когда всё сделал для своего спасения или когда становится ясно, что он так ничего и не делает, чтобы спастись, что, живя дальше, он будет становиться лишь хуже.

Пальчиков с надеждой произнес: «Ведь Катя не всё еще сделала».

Пальчиков лег радостным: «Засыпать надо не одиноким. Вот как я сейчас».

3. Исповедь

Однажды Пальчиков был на исповеди. Казалось, это с ним случилось во второй раз. Первого раза Пальчиков не помнил. Первый раз мог произойти, когда Пальчиков учился в начальных классах. Пальчиков помнил, что пришел с бабушкой Саней в церковь на службу. Помнил, что долго и прилежно стоял рядом с бабушкой, помнил, что его причастили, помнил, что свет в церкви был каким-то зимним, потрескивающим. Теперь Пальчиков предполагал, что, возможно,

бабушка подводила его и к аналою, к священнику, к которому подходили люди по одному. Ему казалось, что бабушка учила его, что сказать батюшке, мол, скажи: иногда не слушаюсь, балую. Ему казалось, что священник ни о чем его и не спросил, а лишь улынулся и накрыл его голову епитрахилью. Вот это Пальчиков точно помнил – теплый, хлебный, сдобный сумрак под прохладной материей. Быть может, этот уютный сумрак был сумраком первой, мнимой, ненужной, детской исповеди.

Приятель, близкий к религии, посоветовал Пальчикову (с его кризисом, угрызениями, стыдливостью, шатким неверием, скепсисом к церковному домострою) идти на исповедь в подворье Оптиной пустыни. Приятель сказал: «Там – монахи и иеромонахи, люди сосредоточенные, по-особому пронизательные, шире, чем белое духовенство, понимающие человека, если и строгие, то по-монашески, примирительно. В них нет педагогической принципиальности, общественной презрительности, им весь мир ничпочем. Они к чужим грехам милосерднее. Поведая обо всех своих грехах, даже самых отвратительных».

Пальчиков шел пешком по набережной. Накануне он знал, что день будет серым, промозглым, что станет накрапывать дождик и временами налетать ветер. Так оно и было. Он шел по грязной обочине дороги, потому что тротуар ремонтировали, укладывали плитку. С Невы дул порывистый, мокрый ветер. Плитку укладывали таджики, они сидели низко к земле. Пальчиков был не выпавшимся и обреченным. Ночью Пальчиков часто просыпался. Последний сон был крепким при хмурой утренней заре. Во сне разыгралась какая-то неприятная производственная сценка. Пальчикова не ставили ни во что. Когда он истерично закричал подчиненному, что уволит его, тот спокойно ответил: «Не получится». Пальчиков не понимал, зачем ему нужен такой неправдоподобный сон. Ему было странно, что он шел в церковь, куда в любое мгновение может перехотеть идти, и никто его там не спохватится, а чувствовал себя так, словно идет к назначенному сроку по повестке то ли в налоговую инспекцию, то ли как призывник в военкомат.

Собор при подворье издали выглядел скалистым, суровым, закрытым, секретным. Но тяжелые двери его были старыми, захватанными и свободно открывались. На входе Пальчиков столкнулся с каким-то долговязым мужчиной, своим ровесником, по которому было видно, что он не священнослужитель и даже не староста, что он мирской, гражданский, но не последний в этом храме человек. Этому человеку почему-то не понравилось, что сюда явился Пальчиков. Выражение лица у этого человека было таким, какое бывает у какого-либо тревожного сотрудника, когда он видит только что принятого на работу новичка, который, дескать, начнет его подсиживать. У человека этого была выровненная, элегантная щетина. Пальчиков решил тоже отпустить бородку, коли уж он начал ходить в церковь.

На литургии людей было не много. Пели и читали негромко, без торжественности. Разодетых, буржуазных прихожан не было. Сначала Пальчиков распахнулся. Но увидел мех своей дубленки, увидел бордовый галстук и, несмотря на то, что в высоком и просторном храме было жарко, словно натоплено, застегнулся на все пуговицы опять. На Пальчикова никто внимания не обращал. Только коренастый, прямой, как акробат, монашек, который зачем-то стремительно сновал меж колонн, умея не касаться никого взлетающей рясой, пару раз всматривался в Пальчикова, как всматриваются официанты в шальных клиентов. У монашка-спортсмена лицо было открытым и словно врожденно смело, дерзким, как у подростка-хулигана, но спокойные глаза быстро становились мягкими.

Пальчиков нашел себе место под огромным куполом, алтарь выглядел отдаленным, неприступным, монохромным, каким-то готическим. Пальчикову казалось, что в этом соборе, где настоящая чинность не бросалась в глаза, он тоже участвует в некой работе, что ему дали какое-то дело, и он его делает – он стоит, сутулый, взопревший, с красным, самоедским лицом, крестится, просит, забывает, волнуется, надеется.

В очереди к покаянию топтались не только пожилые женщины и несколько жизнедеятельных студентов-неофитов, но и непривычный народ. Стояли две девицы в куцых платках. Одна привела другую и что-то шептала ей и разьяснительно озиралась по сторонам. Стоял парень-наркоман

с землистыми скулами, острыми зрачками, знобкий, на подламывающихся ногах, в промокших, грязных кедах. Пальчиков грустно улыбнулся: очередь к аналою была как на полотне какого-нибудь передвижника. Вдруг встал к исповеди монашек. Он утихомирился, прекратил играть сильными плечами, замер лицом. Пальчиков размышлял: в чем хотел признаться монашек? Пальчикову казалось, что монашек встал к исповеди инстинктивно, буднично, что он каждый день исповедовался. Про себя Пальчиков думал: а ты чего приперся? Струсил? Где твои сверстники, где здесь зрелые мужики? Он видел, что на исповеди все кажется словно не в своей тарелке, даже этот как заведенный кающийся монашек.

Пальчиков попал к батюшке молодому, тридцатилетнему, длинному, в очках, с суховатым лицом закоренелого технаря, компьютерщика, админа. Борода у молодого батюшки была старая, простая, не густая, сквозистая, монашеская.

Пальчиков подошел к аналою, стал повествовать о себе. Он сказал, что был тем-то и тем-то, а мог бы стать другим, что, наверное, был талантлив, перспективен. Он думал, что таинство исповеди – это исповедь пройденного пути. Батюшка разглядел его последнюю, мятую, презренную, осознаваемую вальяжность. Пальчиков услышал от батюшки: «Кхе, кхе». Батюшка сказал: в чем хотите покаяться. Пальчиков продолжал с тем же артистизмом: «Покаяться? Во всей своей жизни». Батюшка опять покхекнул. Пальчикову нравилось, что молодой священник кхекнул по-стариковски, по-старинному, милостиво. Батюшка не улыбался. Пальчиков думал, что хорошие монахи не улыбаются направо и налево. Пальчиков начал перечислять все свои грехи. Он сказал о блуде, об изменах жене (теперь уже бывшей), о пьянстве, о гордости (ведь об этом принято говорить в первую очередь). В конце Пальчиков почему-то назвал раздражительность. Он вымолвил: «Я даже не знаю, простит ли мне Господь». Пальчиков видел, что пару раз батюшка, слушая исповедующегося, будто покачал головой. Кажется, батюшке понравилось, что Пальчиков произнес не Бог, а Господь. Господь звучит тише, обыденней. Батюшке стало понятно, что мужчина не столько притворяется, сколько мучается, что он искренне не ведает, простит ли ему Господь, что он не обманывает, но приbedняется по привычке плутовато. Батюшка надеялся, что этот мужчина-грешник не только Бога, но и его, батюшку, не обманет. Надеялся, но знал, что все равно обманет вскорости, но, вероятно, не обманет в конце. Священник кхекхекнул, наклонил голову Пальчикову к кресту, накрыл Пальчикова и прочитал разрешительную молитву с сочувствием в голосе, с придыханием.

Когда Пальчиков выпрямился, батюшка, ставший радостным, легким, словно не у Пальчикова, а у него камень с плеч свалился, изрек: «А от раздражения есть такое средство. Если чувствуете, что сейчас сорветесь и начнете ругаться, досчитайте до четырех. Помогает». Батюшка простодушно улыбнулся.

Пальчиков покинул церковь. Он забыл, что нужно причаститься, но не стал возвращаться. Ничего, говорил он себе, главное – покаяться, главное – простили.

Воздух потеплел, сквозь тучи лучилось солнце. Пальчиков думал: почему до четырех надо считать? Понятно, что не «Господи, помилуй» произносить, но почему до четырех считать, именно до четырех, а не до трех, например? Он думал, что этот прием батюшка почерпнул, видимо, еще учаь в семинарии, – уж очень это все выглядело как-то по-детски.

Пальчиков вспомнил, что под епитрахилью теперь, в этот раз, ему было темно, но казалось, что он был открыт всем ветрам, что стоит на берегу вечернего моря и вдыхает его.

Пальчиков распахнул дубленку, шел, размышлял: церкви навязывают социальную функцию и обвиняют ее же в этой социальной функции. А церковь – молодец, и батюшка – молодец, гнет свою линию, без социальности, без гражданственности, гнет и сердечно кхекхекает.

4. Сын

Сын Никита, уже двадцатипятилетний, еще не работал. Вначале он пытался учиться, объявлял, что его не захватывает, и бросал.

Пальчиков видел, что неприкаянность сына была следствием смутного времени в их семье. Период юношеской социализации Никиты совпал с бракоразводной порой, растянувшейся на годы: даже став чужими, Пальчиков с Катей продолжали обитать под одной крышей, медлили с расторжением брака, не сразу Пальчиков и после официального развода переехал в другую квартиру. Пограничное состояние длилось десяток лет. Катя говорила, что пятнадцать. Сын стал замкнутым, неорганизованным, сиротливым, уповающим на случай и самотек. Слово Никита надеялся в законсервированном виде пережить эту долгую размолвку родителей, не меняясь сам и не меняя ничего вокруг себя. Слово уснуть и спать до того момента, когда отец и мать опять будут вместе. Вот почему Никита так любит валяться в кровати – подолгу, вымученно, фатально, – думал Пальчиков. Пальчиков твердил сыну: «Ты как будто не можешь проститься со своим счастливым детством. А в это время мимо прошла твоя юность и уже мимо проносится молодость». «Да, – улыбался сын. – Мне было хорошо в детстве». «Но уже и молодость на исходе», – кричал отец. «Я понимаю», – соглашался сын. «Странно, – думал Пальчиков, – дочь ответственный, взрослый человек. У меня у самого был такой же раздрай между отцом и матерью, но я окончил университет, начал зарабатывать. Наоборот, я хотел быстрее стать самостоятельным – от этого бесконечного дискомфорта в семье. Может быть, у меня не было такого счастливого детства, какое было у моего сына, вообще никакого счастливого детства у меня не было».

Пальчиков видел, что свою нелюдимость Никита начал эксплуатировать, прикрывать ею элементарную лень, безделье, элементарное иждивенчество. «Неужели Никита стал подлым, неужели он не считает зазорным сидеть на шее у отца? Неужели он стал полагать, что отец настолько провинился перед ним, что теперь обязан жертвовать собой? Провинился, потому что никогда не занимался воспитанием сына, ничему его не учил, никогда не готовил с ним уроки, никогда не ходил с детьми ни в театр, ни в зоопарк, ни на футбол. Мол, пусть теперь кормит меня, пусть нянчится теперь со мной, если не делал этого раньше, как другие отцы, пусть пожинает теперь то, что посеял, вернее, чего так и не посеял. Я, мол, такой непутевый потому, что у меня отец такой непутевый, что у меня отец никакой. Я, мол, такой дикарь потому, что отец заботился не о моем будущем, а о своем настоящем. Неужели Никита так может думать? Вероятно, он так думает иногда – сгоряча и когда ему так выгодно думать. Но он гонит эти мысли, он вспоминает о лучшем, о счастливом. Я вижу, сын все-таки хороший человек», – размышлял Пальчиков.

Пальчиков считал, что у него с женой был негласный договор: я обеспечиваю семью, ты воспитываешь детей. Пальчикову казалось, что так и было сначала. Но к совершеннолетию детей вышло, что дочь Лена вполне приспособленный к жизни человек, а сын Никита – нет. Жена стала упрекать: я воспитала дочь женщиной, а ты сына мужчиной – нет. Пальчиков хотел возражать: но я же не делил, я обеспечивал и дочь, и сына, и тебя. Он знал, что ответит жена: сыну, чтобы вырасти мужчиной, одной матери мало. Разве ты этого не знал и не знаешь? Пальчиков знал, что когда начались неурядицы, Катя опустила руки, что могла, делала – сквозь апатию, глухое страдание, внутреннюю усталость. Дочь вместе с матерью набиралась терпеливого опыта, сын жаждал согласия, семейных праздников, феерического примирения. Пальчиков думал, что теперь дочь больше понимает отца, чем Никита.

Иногда Пальчиков звонил жене: «Никита не наркоман?» «Нет», – говорила жена. «Тогда что с ним происходит? Это какое-то заболевание: человек ничего не делает восемь лет». «У него даже девушки нет», – отзывалась жена.

Сын остался жить с матерью. Пальчиков ежемесячно продолжал давать ему деньги на питание, словно платил алименты, покупал одежду, летом ездил с ним отдыхать в Египет, Турцию – приобщал к людям. Он говорил Никите: «Тебя все устраивает». – «Нет, – сопротивлялся Никита. – Не устраивает». – «Тогда в чем дело? Почему ты не хочешь работать?» – «Я хочу работать». – «Почему опять не поехал на собеседование?» – «Я себя плохо чувствовал. У меня болела голова». Пальчиков вспоминал слова жены: «Никита не умеет врать». Быть может, – думал Пальчиков, – Никита, действительно, болен? Сына признали не годным к службе в армии. Три года он уклонялся от призыва. Отец думал, что именно в эти три года Никита намертво отгородился от

общества – своими выжиданиями, опрокинутым распорядком дня, своим личным томительным хронометражем, угрюмой праздностью, скрытыми пристрастиями, извечными грезами, растерянностью, щепетильностью, самолюбием, обидой. Пальчиков молился, чтобы не забрали. Он думал, что Никита там не выживет: либо он что-то сделает, либо с ним что-то сделают. У Никиты обнаружили гипертензию. И каким-то чудесным образом Никита получил военный билет. Пальчиков думал, что именно чудесным образом. Никита на это морщился, давая понять, что у него действительно гипертензия, что он не симулирует, что действительно часто бывают головные боли, действительно надоела депрессия и мука видеть яркий свет. Никита понимал: отец не верит, что у молодого сына могут быть такие проблемы со здоровьем. Пальчиков убеждал сына: надо поменять образ жизни, начать трудиться, общаться, планировать и достигать. «Повышенное давление лечится физкультурой, свежим воздухом, любимой работой, востребованностью и увлеченностью, – настаивал отец. – У меня тоже повышенное давление. У нас оно с тобой врожденное».

Сын вбил себе в голову, что он музыкант, что он сочинитель электронных треков. Отец слушал его музыку, чтобы хвалить, воодушевлять, поддерживать. Некоторые вещи сына отцу казались слаженными. Ему нравилось, что сын упорствует в своем увлечении, что новые композиции звучат чище. Они были минорными, барабанов в них было мало, преобладали духовые, клавишные. Отец придумывал мелодиям сына названия, которые сын принимал. Сыну льстило, как отец анализировал его сочинения – с памятьливостью, верной критикой, призывами добиться страстного звучания. Отец однажды дал диск с записями сына знакомому композитору, тот утешил, видимо, не слушая: «Миленко, но, разумеется, ученичество». Так всегда говорят профессионалы. Сын сказал, что это были ранние записи, написанные в девятнадцатилетнем возрасте, что они – ужасны, грязны, глупы. Отец порадовался, что композитор их не слушал. Новые записи отец композитору не показывал. Отец советовал Никите предлагать свои треки различным музыкальным компаниям, продюсерским центрам. Никита, кажется, неохотно и тщетно посылал, выкладывал записи на специализированных сайтах. Отца успокаивало, что сын уже теперь не гнушался безответностью, непризнанностью. «Я никогда не брошу музыку», – говорил Никита, как будто отец сомневался в долгосрочности его хобби, как будто думал, что Никитина музыка – это лазейка, самооправдание. Никита, казалось, приготовился довольствоваться тем, что у него будет один единственный слушатель – например, отец. Отца-слушателя Никите теперь было достаточно. От Никиты было не скрыть, что ничего особенного пока отец в нем не видел. Отец оправдывался: «Я вообще ни в ком теперь ничего особенного не вижу». «Жаль, что вы меня не отдали в музыкальную школу, – улыбался Никита. – Хотя я вряд ли бы там стал учиться». Пальчиков говорил Никите: «Ты вот о чем должен думать: если меня не будет, как ты будешь жить? Мать тебя не прокормит». «Я знаю», – со слезами досадовал Никита. В детстве в подобных случаях Никита праведно сердился: «Не говори так, папа». «Что ты сегодня делал?» – спрашивал отец. «Я писал музыку», – говорил Никита. «Не сияние?» – допытывался отец. Речь шла о симуляции творческого процесса в фильме «Сияние». Этот фильм был любимым у Пальчикова и сына. «Ну, папа, не сияние». Мне кажется, думал Пальчиков, я тоже живу с задержками. А в сыне эта отсроченность возведена в квадрат. «Никита, ну не Илья же ты Муромец, чтобы на печи лежать до тридцати трех лет, томиться, вызреть? Для каких таких подвиг?»

Теперь Пальчиков боялся наседать на сына, по сути, загонять его в угол – взрослого, инфантильного, вконец обескураженного человека. Пальчиков не только себе, но и сыну твердил: «Я тебя не брошу, я тебя буду поддерживать, пока у меня есть силы – кормить, одевать. Но ты действуй. Делай что-нибудь ежедневно. Не надо многих начинаний, не надо рывков, одно дело в день. Ищи работу, ходи на собеседования, пиши музыку, смотри познавательные фильмы, читай Чехова. Все это есть дело». Пусть он лучше живет за мой счет худо-бедно, чем вдруг пропадет по-дурачки, – смирялся Пальчиков. – Есть ход жизни, подчинимся ему, подчинимся невольным встречам, непредумышленным знакомствам, сильным чувствам. Пусть полюбит, пусть обманется, начнет грешить, вновь полюбит.

Отец с сыном никогда не говорили о взаимоотношении полов. Пальчиков считал такое общение натужным, чересчур фрейдистским. Пальчиков мучился, что его сын, вероятно, девственник, но никогда не интересовался у сына его сексуальным опытом. Пальчикову казалось, что людям, принадлежащим к разным поколениям, о таких вещах беседовать неприлично. О таких вещах говорят сверстники на одном для них языке. Никита, казалось Пальчикову, был благодарен отцу за тактичность, но иногда надеялся на полную доверительность. Однажды Никита спросил отца, видел ли тот ролики в ютуб об Оккупай-педофилиях. Отец сказал, что видел это омерзительное зрелище, что ему омерзительны и педофилы, и борец с ними – некий Тесак. Причем этот Тесак омерзительнее, чем словленные и сломленные им педофилы, потому что вся его борьба – это самореклама, глумливый садизм и коммерция. Когда летели в Турцию, Никита между делом вдруг спросил, а в Турции тоже судят за педофилию? Отец ответил: «Конечно, судят». Потом не удержался и уточнил: «Почему ты этим интересуешься? Ты что, педофил?» – «Ну, папа! Просто любопытствовал». – «Что значит просто? Ничего в этом мире не происходит просто. Как что, так сразу просто. Нет, не просто, совсем не просто». Никита хмыкнул. Отец посмотрел на сына и ничего, кроме оскорбленного любопытства обывателя-мальчишки, не увидел.

В Турции же во время морской прогулки на корабле сын разговорился с юной блондинкой. Она была миниатюрная, крепкая, с невинной миловидностью. Сын подошел к отцу, радостный и даже развязный, и сообщил, что обменялся с блондинкой телефонами. «Она из Пскова, – сказал Никита. – А Псков далеко от нас?» – «Никита, ты совершенно не знаешь географию». – «Причем здесь география?» – огрызнулся сын. Отец скривился. «А что, ведь она красивая», – продолжал Никита. Отец промолчал. Сын отошел от отца, поднялся на палубу. Никиту обидела надменность отца. Никита, вероятно, догадался, о чем думал отец: о том, что Никита со своим дикарством и даже неотесанностью теперь не пара этой рафинированной блондинке, что ей, в конце концов, теперь может быть в большей мере интересен культурный отец, нежели его неуклюжий сын.

Пальчикову стало стыдно, потому что на людях он начал испытывать неловкость за своего сына. Отец должен гордиться сыном, между тем он его стесняется. Позволительно сыну перед друзьями сторониться бедного родителя, но никак не наоборот. «Так нельзя любить сына, – мучился Пальчиков. – Так вообще нельзя любить. Это не любовь. Это предательство. Ты раздражителен с ним, ты брезглив, ты высокомерен. Тебе неприятно видеть, что сын стал полнеть, что он не умеет одеваться, что у него резкий голос. Но ведь это ты виноват. Не он, а ты. Он твоя вина. Но он не вина. Он хороший человек, у него твердый, горестный взгляд».

5. Сыпь

Никита по телефону сказал отцу, что не поедет этим летом с ним к морю.

– Ты не хочешь в Грецию? – удивился Пальчиков.

– Я очень хочу в Грецию. Но я не могу. У меня проблемы.

– Какие?

– У меня сыпь. На груди, на плечах.

– Какая сыпь?

– Ну, прыщички, красненькие. Они появились год назад, несколько штук. А теперь их все больше и больше.

– Они чешутся, зудят?

– Нет, просто некрасиво.

– Почему ты вчера не сказал, не показал, когда был у меня?

– Не знаю.

Вчера Никита разрыдался. Он бормотал и вскрикивал: «У меня ничего не получается... Двадцать пять лет... И ты на меня все время раздражаешься». Пальчиков обнял Никиту. Видеть слезы взрослого сына нестерпимее слез ребенка. Пальчикову было странно обнимать большие плечи

зрелого, плачущего человека. Никита был крупнее отца. Пальчиков увидел вблизи, что сын краснеет такими же разливами, какими раньше покрывался сам Пальчиков, подростком, юношей, – от обиды, несправедливости. Он увидел, что у сына такая же мягковатая, как и у него, шея, такой же овальный профиль, такой же плавный наклон спины.

Вчера они говорили о том, как рождается душа. Отец сказал, что все души рождаются добрыми. Сын возразил: все души рождаются одинаково никакими, не злыми и не добрыми, а пустыми. И только среда и обстоятельства делают из души то, чем она становится. Нет, говорил отец, душа не *tabula rasa*. Душа появляется на свет с талантом, с божьей искрой и отличительной чертой. Люди сразу рождаются либо смелыми, либо опасливыми. Жизнь может превратить смельчака в героя или бандита. «У меня свое мировоззрение», – заметил сын. А старший Пальчиков почему-то вспыхнул.

Пальчиков подозревал: не из-за сыпи ли сын такой домосед, такой недотрога, не из-за этой ли сыпи у сына нет любимой девушки? А может быть, из-за девушки и сыпь? Может быть, это что-то венерическое? Может быть, сын не такой уж и девственник? – невольно обрадовался отец.

А вдруг это сифилис? – испугался Пальчиков. Он стал лазать по интернету, рассматривать отвратительные фотографии с сифилитиками. Пальчиков вспоминал свои тревоги десятилетней давности: тогда у него высыпали розеола. Он спал с проститутками и мог заразиться. Но тогда обошлось, сыпь прошла сама собой. Он вспомнил, что не сама собой, а от мази. Мазь, кажется, называлась «Тридерм». Он прочитал, что сифилис бессимптомно способен пребывать в человеческом организме долгие годы, что сифилис может передаваться не только через интимную близость, но и через контакты в быту. Пальчиков начал мучиться, не мог ли он (если в нем была и сохранялась «дурная болезнь») инфицировать его сына, например, в отеле, когда они могли пользоваться одной бритвой или перепутать зубные щетки?

Отец не сдержался и спросил у Никиты напрямую:

– Не сифилитическая ли это сыпь?

– Вряд ли, – спокойно ответил сын.

Отец продолжал:

– Действительно, откуда может быть сифилис? Должны быть основания. Он передается половым путем. Ведь таких оснований не было, – неохотно допытывался отец. – Не было ведь?

– Нет, конечно, – усмехнулся сын после какой-то нарочитой паузы.

– И твердого шанкра у тебя не было. Ты бы его заметил. Ты ведь читал в интернете о первичных признаках сифилиса, об этом твердом чертовом шанкре.

– Читал, – улыбался Никита. – Нет, у меня не было ничего.

Пальчиков купил в аптеке мазь «Тридерм», привез сыну, посмотрел на его оголенную грудь, утешил сына:

– Ну, какая это сыпь! Ее и не видно почти. Это совсем не то, совсем не сифилис. Это аллергическое. Скорее – нервное. От твоих тревог, от этой вечной твоей тревожности. Я думаю, мазь поможет. Если нет, надо – к дерматологу.

Вечером Пальчиков звонил сыну. Никита сказал:

– А не от крестика ли у меня эта сыпь? Я помню, что она появилась в то время, когда я начал носить крестик, который ты мне подарил.

– Нет, – сопротивлялся отец. – Все-таки это серебряный крестик.

– Я намазался мазью и на всякий случай крестик пока снял.

– Не думаю, что это крестик виноват, – говорил отец с огорчением. – Ты хотя бы носи пока крестик в кармане.

– Я положил его в портмоне.

– Я, правда, тоже не ношу свой серебряный крест, ношу деревянный на шнурке. Когда я стал надевать серебряный на серебряной цепочке, у меня сильно начал пачкаться воротник рубашки. Быть может, наши кресты не из чистого серебра, а с какой-нибудь примесью сделаны, – искал оправдания старший Пальчиков.

Сыну он не стал сообщать, что, дескать, серебро, как он прочел на одном из сайтов, способно сигнализировать человеку, пачкая его одежду и кожу, о серьезном недуге. С серебром неясно, – думал Пальчиков, – противоречиво: у меня одно, у сына другое. А может быть, и не в серебре дело, тем более – не в крестике.

– Что мама говорит? – поинтересовался отец.

– Не подходи, говорит, ко мне. Своих болячек хватает, – ответил Никита.

Пальчиков попрощался с сыном до завтра, но через несколько минут перезвонил. Пальчиков старался говорить стойким, контрастным голосом:

– Вы, пожалуйста, Никита, с матерью не думайте про меня, что это я тебя заразил, что это от меня твоя сыпь. Крестик этот до тебя я не носил. Вспомни, этот крестик мы покупали вместе, ты сам его выбрал. И ничем другим я тебя заразить тоже не мог.

– Ну что ты, папа! – взмолился Никита. – Ни я, ни мама о тебе так не думаем. И вообще, я уверен, крестик здесь ни при чем. И ты, конечно, ни при чем. У меня и мысли такой не было. И у мамы. Мне кажется, мазь уже начала помогать.

– Дай Бог! – сказал Пальчиков.

– Да, дай Бог! – впервые так сказал Никита.

Пальчиков вспомнил, как лет десять назад, Катя ставила почти уже бывшему мужу после его запоя капельницу и укололась шприцем. Она тогда произнесла: «У тебя, надеюсь, нет СПИДа. А то я после тебя укололась». Жена всегда высказывала свои испуги с шутиливой, мужественной тональностью.

Пальчиков думал, что если мазь поможет, то Никита с матерью поневоле будут грешить и на крестик: мол, сыпь прошла не только от воздействия мази, но и, кто знает, потому еще, что крестик сняли – серебряный или мнимо серебряный.

Пальчиков почему-то верил, что «Тридерм» поможет, и для Пальчикова теперь самым важным было, чтобы кожа сына очистилась, чтобы сын почувствовал себя привлекательным, уверенным, любимым. Но при этом к Пальчикову закрадывалась мысль, что ради крестика, ради его оправдания, было бы правильным, чтобы мазь не помогла, чтобы крестик, который теперь был снят, отлучен, остался бы не виновным в злосчастной сыпи сына. А сыпь, какой бы серьезной она ни была, мы вылечим другими средствами, другими мазями, – не сомневался Пальчиков.

Пальчиков думал, что сын на всякий пожарный долгое время будет опасаться носить нагрудный крест. Пальчикову было обидно за Никитин крестик. Не может это быть крест. А если и крест – то тоже с пользой, с целесообразностью, с дальним прицелом.

На следующий день радостный Никита повестил отца, что пупырышки побледнели, что их стало меньше.

6. Дочь

Дочь позвонила, когда Пальчиков заснул. Пальчикова пугали имена детей на дисплее телефона в неурочное время. Несколько секунд он слушал напористую мелодию и смотрел на высветившийся контакт словно с предгибельной истомой.

Дочь Лена звонила сама редко – только по житейской необходимости. Обычно раз в неделю делал это отец. Когда не дозванивался, обязательная Лена вскоре перезванивала, спрашивала с виноватой ласковостью: «Ты звонил? Я укладывала Сережку. Сережка засыпал». Пальчикову казалось, что неотступной материнской заботливостью Лена, понимая, что эта заботливость явно чрезмерная, обезоруживала тревогу мужа Олега, который боялся недодать сыну умиления, безопасности, развития.

– Папа, – сказала дочь, – у мамы пока всё нормально. Злокачественная опухоль не подтвердилась.

– Господи! А что?

- Что-то есть, но не страшное.
- Главное – не злокачественное.
- Да, главное – не злокачественное, – подтвердила дочь.
- Господи, у матери, наверно, камень с плеч свалился.
- Да, она очень радостная.
- Еще бы. Слава Богу!
- Да.
- А у вас как? Как поживаете? Как Сережка?
- Завтра пойдем в поликлинику делать манту.
- О, бедненький. Плакать будет.
- Нет. Он у врачей не плачет. Он потом закатывает нам истерику.
- Деликатный мальчик.
- Да уж.
- Спасибо, Лена, что ты мне позвонила о матери.
- Ты же волновался тоже.

Закончив разговор, Пальчиков вскочил с кровати, включил свет и, глядя издали на полку, где стояли иконки, как-то невольно широко, шире самой груди, перекрестился:

– Спасибо тебе, Господи!

Вспомнил:

– Спасибо тебе, Богородица наша!

Ему понравилось, что он добавил «наша».

Пальчиков знал, что дети снисходительно относились к его изменившейся речи – к его частым «Слава Богу» и «Господи».

Почему-то Пальчиков представлял теперь не Катю, а дочь. Лена была похожа на мать твердой, ироничной женственностью, но он видел в дочери и себя (свое лицо, свои волосы), и свою мать – ее минутную, беспричинную, кроткую скорбность.

Пальчиков не знал, помнит ли дочь себя двухлетней. Ему очень хотелось, чтобы Лена не помнила себя двухлетней. Например, сам Пальчиков помнил себя лишь трехлетним, никак не раньше. Но он знает людей, которые помнят себя чуть ли не грудничками.

Пальчиков помнил тот день (Лена была крохотная, ей было два с небольшим годика), когда он кричал на нее как на взрослую, он тряс ее тельце, он требовал, чтобы она прекратила рыдать. Лена стояла в потемках у шкафа и в голос, захлебываясь, плакала непонятно почему. Может быть, она ревновала своих родителей к Никите, ее братику, может быть, она думала, что ее меньше, чем этого младшего ребенка, любят. Пальчикову помогала кричать на маленькую Лену Катя. Известно, чем в тот день и в те дни были раздражены супруги, вероятно, они мечтали выспаться, вероятно, они устали жить вместе с Катинной матерью, тещей Пальчикова, вероятно, Лена своим плачем мешала заснуть новорожденному Никите. На Ленин плач прибежала теща с сожителем. «Вы что издеваетесь над девочкой, изверги, – начала выговаривать теща. – Убирайтесь отсюда, из моей квартиры вместе со своим Никиткой. Живите отдельно. А Леночка будет жить со мной. Я ее воспитаю. Вы все равно не умеете воспитывать. Вы ее не любите». Лена зарыдала громче, глубже, с очистительными всхлипами. «Пойдем ко мне, девочка», – потянулась теща к Лене, но Лена отпрянула и уткнулась к матери в ноги. Здесь она затихла, замерла.

Пальчиков хотел, чтобы дочь помнила свои первые полгода. Тогда он был с ней, он ее купал, он с ней гулял, она засыпала на его руках. Она стала близкой душой, любимым комочком. Потом Пальчикова забрали в армию, и вернулся он из армии к двухлетней, тещиной, похолодевшей к нему Лене. Он думал, что теща говорила при маленькой Лене про него плохо, но дочь и самостоятельно могла разлюбить отца. Быть может, она догадывалась, что любовь и отцовское чувство это не одно и то же.

Лишь однажды Лена, уже подросток, школьница, забралась к отцу на спину, и он побежал с ней по высокому берегу реки. Лена счастливая хохотала. Никитка семенял рядом и не знал, то ли

ему радоваться от отца с сестрой, то ли хныкать. Восторженная мама Катя издалека, от костра, махала семейству обеими руками. Лена, держась за отца, смеялась крикливо, непринужденно, как бабушка, как теща. Больше так безудержно дочь никогда не надрывала животик. Пальчикову его давний, азартный бег с дочерью по июльскому обрыву напоминал кинематографическую картинку, киношное лирическое отступление ради прилипчивого саундтрека.

Лена выросла ироничной девушкой. Она понимала отцовский юмор, как его понимала и Катя. Теперь дочь смеялась неслышно, терпеливо, даже с неким высокомерием, приправленным смутной обидчивостью.

Иногда Лена отзывалась о бабушке-теще с недоверием, брезгливо. Тогда Пальчиков говорил: «Бабушка у нас, конечно, еще та, но теперь ты не права. Если кого бабушка и любит, то только тебя, Лена. Тебя она действительно любит и всегда любила». Лена конфузливо пожимала плечами, шмыгала носом, терла его, словно нивелируя довольство на лице. Она, вероятно, понимала, что, если бы папа ее не любил, он бы не говорил так о любви бабушки к ней. Лена знала, что не только бабушка ее любит, но и мама, но и отец любит, начинает любить заново, по-новому.

Теперь Пальчиков хотел предостеречь и себя, и детей – не почитать на лаврах. Страшный диагноз у матери не подтвердился, но нельзя торжествовать, нельзя праздновать. Нельзя вовсе не из суеверия – нельзя из-за признательности холодному, презирающему восторги и проклятья ходу жизни, его закономерным превратностям, его внезапному сочувствию, трогательному благорасположению к нам.

Накануне Пальчиков видел сон, в котором жена сошлась с Мельником, давним и полузабытым приятелем Пальчикова. Кате никогда не нравился Мельник, ей претила его необязательность, за которую он извинялся усмешками. Во сне жена ходила с Мельником в торговый центр покупать тому летний костюм. В финале Пальчиков уходил из квартиры, тушил везде свет. В дальней комнате света не было. Пальчиков пошел на выход. Он понимал, что в дальней комнате могли таиться жена и дочь. Пальчиков закрыл за собой входную дверь на все замки. У него было ощущение, что он уходит навсегда, а у запертых жены и дочери ключей от дома не осталось. Почему-то этот сон говорил Пальчикову не о его силе, а о силе жены.

Все равно Пальчиков боялся, что Катя могла возвестить о неподтвержденном диагнозе, лишь щадя детей. Заодно щадя и его. Только Катя разговаривала с врачами. Только она одна знала о своих недугах правду. Катя была таинственной, строгой, самокритичной, некокетливой женщиной, которой нравилась машинальность, текучесть, неизбыточность. Катя могла нас обмануть, – думал Пальчиков. – Это может быть ненужной святой ложью.

7. Профессор Маратов

С профессором Маратовым говорили не столько о Тютчеве, сколько о литературоведении. Профессор Маратов наконец высказался раздраженно. Раздражение у интеллигентных людей выглядит особенным – словно обдуманное, окончательное, вызванным смертельной усталостью не от конкретного собеседника, а от самого вида неумелых, внеконтекстных собеседников. «Вы меня извините, – отводил глаза профессор Маратов от Пальчикова, – но это уже не смешно. Это не неправда, это дилетантизм. Как вы не поймете этого, Андрей Алексеевич? Вы ведь лучше меня это должны знать, вы современнее меня».

Профессор Маратов говорил, что в науке, в частности, в литературоведении надо идти не от творца и не от его шедевров, а от последних исследований об этом авторе. Исследователь должен встать в хвост очереди, а не в начало. Он должен плясать от пещки, а не от пламени в ней. Исследование не может начинаться с чистого листа. Исследователь – продолжатель, а не родоначальник. Отталкивайтесь не от Тютчева, а от последних работ о нем. Поймите, никто из серьезных ученых этого не делает ради пиетета к коллегам. Это делается ради объективной истины, с позиций современного знания, ради выдержанности научного стиля, который, по сути, и есть профессиона-

лизм. Новое в старом нужно открывать в деталях. Ибо что можно в классике открыть в целом?.. Пальчиково казалось, что на языке у профессора Маратова вертелось: «И вообще, кому нужен Тютчев? Пожалуй, мне да вам иногда. Живым людям нужны современники. По-настоящему интересны только современники. Живым нужны живые, пусть плохонькие, но свои, живые. Не Тютчев, а современный тютчевовед. Все остальное – сочувствие, благородство, томительность».

Пальчиков не мог понять доктора филологических наук Маратова, когда тот объявлял, что суть поэзии меняется, что теперь он признает фактом поэзии и Шевчука, и Гребенщикова, весь наш рок, а не только метафористов, не только Цветаеву с Пастернаком. Маратов даже восклицал: «У нас в городе нет памятника Цою. Я не о надгробном камне говорю. А я бы поставил памятник Цою, поэту Цою. Это нужно не мне, это нужно моим студентам. Они же пишут на стенах: Цой жив. Не Заболоцкий жив, не Давид Самойлов, а Цой. Вы скажете, это вульгарно. Но только это жизнь».

Пальчиков понимал, что ни Шевчука, ни Гребенщикова, ни Цоя профессор Маратов, конечно же, никакими поэтами не считал. Революционером, народником, позитивистом он стал на миг, одолев долгий тяжелый недуг, боясь, что мировая культура отнимет у него последние дни, молодые лица. Пальчикову казалось, что прежним эстетом Маратов не станет, не вернется на круги своя, словно намеренно поглупеет, даже лекции о своем любимом некогда Набокове будет приправлять натурфилософским скепсисом, а для души, для остроты в ней советовать читать Сашу Черного.

Пальчиков познакомился с профессором Маратовым в доме общих знакомых, поведал ему, что любит Тютчева и хочет написать о Тютчеве нечто вроде эссе. Благожелательный Маратов тогда Пальчикова обнадежил: «Я не сомневаюсь, у вас получится любопытно». Пальчиков думал, что раздосадовал Маратова, когда уточнил, что если уж что-либо писать, то не любопытно, а с жизненной необходимостью. Раздосадовал, ибо с жизненной необходимостью должны писать специалисты, а не любители.

С жизненной необходимостью у Пальчикова не получалось. Он хотел сказать о пронзительной связи в поэзии, о том, что живой Пушкин успел застать, прочесть зрелого Тютчева, что эта связь закономерна, что Пушкин должен был узнать Тютчева, а Тютчев быть узнан Пушкиным, что на таких встречах держится поэзия, такими встречами продолжается мир. Такие встречи можно называть мистическими, но они происходят как по расписанию, неукоснительно.

Пальчиков хотел сказать о другой связи в поэзии Тютчева – о связи недоумения и ясности. Пальчиков думал, что требовательному и счастливому Тютчеву мир открывался так, как Фоме неверующему открывался Христос. «Как опрокинутое небо, Под нами море трепетало». Поэтому в единой жизни, жизни-шаре возникал оправданный возглас: «Ангел мой, где б души ни витали, Ангел мой, ты видишь ли меня?» Тютчев был в недоумении от жизни, в недоумении от любви. Он любил со всей своей жадной и не понимал, за что его любят. Странился днем, винился ночью. После кончины Денисьевой его любовь к ней стала прозрачной, без житейских оговорок, без противодействия, без необходимости ответа. Смертная память наполнилась любовью. Недоумение кричало: «О Господи! И это пережить». В недоумении была сила, недоумение было сильнее себя. И ничего другого не надо человеку – лишь недоумение. От недоумения белый свет становится ясным и вечным. «Могу дышать, но жить уж не могу».

О Тютчеве Пальчикову теперь писать не требовалось. Не требовалось думать о самоосуществлении, задаваться вопросом: куда плыть? в какую сторону жить? Теоретически Пальчиков знал, куда жить. Но ему скучно еще было так жить – молить об усталости, о скудости телесных сил. Пусть наступит произвольно – ни любви, ни творчества, ни пороков, ни святости. Мир хорош своей ясной, недоуменной улыбкой:

Ущерб, изнеможенье – и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

Надо кому-то и так жить, – думал Пальчиков о себе. – Видите ли: зачем такой человек живет на земле?

Он думал, что Маратов мог бы написать интересную книгу (и о Саше Черном, и о Набокове), но для этого ему надо остаться одному – без его жены, строгой и заботливой, вдали от детей, без публичных лекций, без телевизионной, мягкой, профессорской, респектабельной популярности. Ему, Пальчикову, не поможет написать интересную книгу и одиночество. А вот профессору Маратову, доброму человеку, думал Пальчиков, одиночество и сиротливость помогли бы. Пальчикову не нравились книги современных философов, культурологов. Ему казалось, что даже тогда, когда в этих книгах было много религиозного, в них не было главного, связанного с религиозным.

«Тебе не написать о Тютчеве. Тебе ни о чем не написать. В тебе нет их ученого языка. Нет дискурса, – смеялся Пальчиков. – Писать можно только дискурсом. Я смеюсь, а этот дискурс позволяет выговориться. Для книги именно это и нужно – выговориться. А у тебя ком в горле».

8. Отче наш

С утра Пальчиков произносил вслух «Отче наш».

Перед тем как начать молиться, Пальчиков проверял, есть ли на нем крест, словно молитва без креста может получиться ветреной, как холостой выстрел. Если оказывалось, что крест с вечера по какой-либо причине был снят, Пальчиков перед молитвой не вешал его на шею, а зажимал в левый кулак и прислонял этот заполненный нателным крестом кулак к своей груди и так крестился. Дело в том, что перед душем, помолившись, Пальчиков в любом случае снимал крест, чтобы тот не мешал мыться, а после молитвы с крестом в кулаке этого лишнего движения делать было не надо. Пальчиков успокаивал себя, что молитва с крестом в кулаке ему кажется по-особенному, физически крепкой, хоть и неуклюжей, но неуклюжей не от лености, а от намеренного неудобства.

Пальчиков понимал, что его отношение к молитве все еще наивно. Он полагал, что духовная целомудренность такая же, что и телесная. Он не позволял себе осеняться крестным знаменем, будучи голышом, и даже в трусах он старался не стоять перед иконами, а надевал халат или, когда халата не оказывалось рядом, запахивался в одеяло. Обвязавшись как-то покрывалом, Пальчиков вдруг всмотрелся в иконку Андрея Юродивого и увидел, что у того ребристая фигура тоже заматана в кусок ткани, напоминающей тогу, в толстых изумрудных складках, с золотистой подбойкой.

Молился Пальчиков на ряд разномастных (на полке в книжном шкафу), каких-то сувенирных иконок, где были Спас Вседержитель, на которого больше всего и озирался Пальчиков, две Богородицы, одна из которых, конечно, «Неупиваемая Чаша», Николай-угодник, Андрей Юродивый и целитель Пантелеймон, юный, большеглазый, с тенью на щеке. Он держал ложечку, на дне которой колыхалась лечебная капля.

Хотя «Отче наш», главным образом, обращен к Отцу, молился Пальчиков, получается, больше Сыну. Про Отца Пальчиков думал, что Тот никогда его не простит, а Сын, может быть, и простит. При этом Пальчиков понимал, что просить чего-то существенного, денег, например, или удачи, надо только у Отца. Сын материальными вещами старается не ведать, Сын – всё больше, как теперь говорят, по гуманитарной части. Если у Сына и нужно чего просить, то только прощения.

Нравилось Пальчикову чеканить «Да святится имя Твое», как будто включать иллюминацию. Пальчиков даже оборачивался к окну, к нагромождению стен и крыш, как будто надеялся увидеть поверх них эти вспыхнувшие электричеством литеры. Обычно незаметно Пальчиков проговаривал «Да придет царствие Твое», словно оставляя про запас, для обдумывания, напирая больше не на «царствие», а на «Твое», на это старинное «е», а не модное «ё» на конце. Неловко всегда Пальчикову было выдыхать «Да будет воля Твоя».

Как ни заставлял себя Пальчиков думать только о сегодняшнем хлебе насущном, когда он доходил до «Хлеба нашего насущного», грезил он в этот момент все равно о повышении зарплаты, премии по итогам года и поездке в Крым летом.

Что касается баланса между «долгами нашими» и «должником нашим» (понимаемыми не как грехи вообще, а в прямом значении), у него, как полагал Пальчиков, такой баланс не складывался всю жизнь. Иногда Пальчикову казалось, что ему должны были больше, чем он, иногда казалось наоборот, что он всем задолжал, а ему никто ничего не должен. Иногда, молясь, Пальчиков считал себя должником бывшего своего начальника Мирошниченко, то ли еще живого старика, то ли уже покойного, который в начале девяностых помог ему, молодому специалисту, оформить от фирмы эту квартирку (в ней теперь Пальчиков обитал) и которому он лет десять назад не дал займа пятьсот долларов. Пальчикову казалось, что эти пятьсот долларов Мирошниченко просит из старческой фронды, как запоздалую награду за «все хорошее», просит как у неблагодарного человека, не надеясь на отзывчивость, может быть, ожидая эту неотзывчивость. Пальчиков уже решил дать эти пятьсот долларов, но Мирошниченко не перезвонил, а Пальчиков не стал настаивать. Пальчиков тогда еще легко отрезал воспоминания. Зато он дал займа четыре тысячи долларов некому Авдееву, бывшему прокурору. Именно Мирошниченко познакомил Пальчикова с Авдеевым. Этот, несмотря на расписку, денег не вернул и уже не вернет, как бы слезно он поначалу не убеждал Пальчикова в обратном. Пальчикову даже мнилось, что Мирошниченко подсунул ему Авдеева из вредности.

На словах «И не введи нас во искушение» Пальчиков по привычке думал не обо всех возможных искушениях, а только о традиционных, сексуальных. Пальчиков думал, что вороватого разврата в его жизни было все же немного и женщин было хоть и не одна, но немного, может быть, даже и недостаточно для его жизни было у него женщин. Пальчиков помнил, что поначалу следующее место «Избави нас от лукавого» он произносил без «нас». Когда же услышал, как другие люди произносятся с «нас», и узнал, что именно так и должно быть, обрадовался, зная, что молиться надо и за себя, и за других, что не один слаб перед этим самым лукавым, а со всеми вместе.

Пальчиков поглядывал на Андрея Юродивого и вспоминал, что эту иконку купил по ошибке. Просил Андрея Первозванного, а продавщица в церковной лавке, то ли не расслышала, то ли как-то невольно продала ему другого Андрея, Юродивого. Дома он заметил подмену и даже расстроился, потому что хотел молиться Первозванному, а не Юродивому. Но теперь привык к нему, к Юродивому.

Пальчиков думал, что никак не может научиться молиться о близком обобщенно, что не столько молится, сколько пыгается хоть как-то упорядочить свою разрозненную повседнежность.

«Какая-то нелепая у меня молитва и трусливая! – думал Пальчиков. – Я чересчур зависим от людей, от их внимания и невнимания, от их свободы, чинности, ума, красоты, смелости».

Как-то Пальчикову пришла мысль, что, если Бога несмотря ни на что нет, то ему, Пальчикову, это будет, вероятно, не так страшно и не так обидно, как это будет невыносимо страшно и невыносимо обидно для какого-нибудь по-настоящему верующего человека. Вот умирает этот по-настоящему верующий человек, и оказывается, что Бога нет. Что же будет в тот миг с этим по-настоящему верующим человеком? А с Андреем Юродивым, а с Достоевским, а с Паскалем, а с Аверинцевым? Ладно я, – думал Пальчиков, – но они, но их мука! Разве допустимо, чтобы хороший человек опять обманулся, а прокурор Авдеев опять вышел сухим из воды, похохатывая: «Надо было быть атеистом»?

Иногда Пальчиков после молитвы играл в странную, приятную и отвратительную игру в ванной перед зеркалом. Он, как заведенный, воображал на своем лице, будто перемолвившись, очертания креста. Слово настоящего, деревянного. Ниспадающий желоб рассекал низ лба, сливался с ошкуренной спинкой носа, прорисовывался снова бороздкой разошедшего водостока над верхней губой, вырезал на подбородке продольную выемку, как вырезают из картофелины глазок. Так появлялась секущая, осевая вертикаль. На нее ложились три исковерканные возрастом поперечины – спил бровей, перекладина глаз, наклонная подпорка-рот в зубуринках. Пальчиков видел, как правый угол его рта стремился быть более высоким, чем левый, опущенный для скепсиса, с мелко пузырящейся известью.

9. Воспоминание: жених

Пальчиков знал, что Катя ждала другого жениха, а встретила его. Катю отговаривали: Андрюша – мимолетно перспективен, гневлив и угодлив, гиблая партия, из депрессивной глубинки, из непонятной семьи.

За неделю до свадьбы, как это бывает в человеческом мире, Андрюша Пальчиков пропал. Его не убили, он не заболел, его видели пьяненьким. Катю утешали: у мальчика – затяжной мальчишник с хрупкой удалью.

Школьная Катина подруга Жанка ликовала: «Андрюша правильно сделал, что струсил. Я его предупредила, чтобы он забыл о тебе, он тебе не пара, пусть держится от тебя подальше, пусть катится к себе в Урюпинск, пока руки-ноги целы. Он на тебе из-за прописки женится».

Жанка была толстобокой, безгрудой, гладкоголовой, судила с вкрадчивым холодом, как подбирает очевидной лесбиянке-мужику. Только не из-за нее пропал Андрюша, – это Катя знала.

Мать Кати Нина Васильевна, настороженная к Андрюше, успокаивала дочь: «Объявится жених, в загс не опоздает».

Андрюша не нравился матери не только как чуждый мужской тип (якобы интеллигентик, якобы ранимый, якобы с задатками), а как молодой плут, который с удовольствием превратится в безвольного, неорганизованного, страдающего, но властолюбивого супруга-иждивенца.

Нину Васильевну угнетало не то, что его подарок будущей теще на день рождения, пластмассовая игрушка, выглядел трогательно дешевым, а то, что Андрюша этого не заметил. По мнению тещи, подарку совсем не обязательно быть дорогим, но самим желанием делать дорогие подарки муж ее дочери отличаться должен.

Мать Кати считала себя современной городской женщиной, понимала, что дочь нужно не только любить, но и уважать, щадить ее права и выбор. В этом случае, догадывалась Нина Васильевна, постаревшая мать вправе будет ожидать от дочери не только приличествующей благодарности, но и жалости.

Матери оставалось уповать на очевидную черту в Катином женихе, – на его неразвитую, смутную, честную, кокетливую, обидчивую хитрость. Катина мать надеялась, что эта хитрость, как инстинкт, станет вполне прагматичной, будет самозащитой для Андрюши и оборонительным средством для его семьи, его Кати.

Нина Васильевна видела его взгляд подобострастно хитрым, а хотела бы видеть благосклонно хитрым – расчетливым, терпеливым, вразумляющим, обаятельным, хищным. Для победного взгляда глаза у жениха были подходящими – чистыми, молчаливыми. Нине Васильевне не нравилось, что взирал он на нее иногда примирительно – с усталой кичливостью, с жалким высокомерием. «Вы подумайте, какое дерьмо! Ему уже меня трудно выносить! – заключала будущая теща. – Мужиком он будет слабым, изворотливым, хмурым». Она замечала, как улыбочиво кривился Андрюша от ее любимой позы – примоститься на боковом валике дивана в распахнутом халате с голыми коленями. Жанка, та, наоборот, восхищалась: какие у вас красивые ноги, как вы женственно восседаете. «Эх, Жанка, – думала Нина Васильевна, – хороший ты мужик, жаль, что не мужчина».

Катя, вероятно, воображала, как по-дурацки Жанка в последнем, душищепательном разговоре с Андрюшей, требуя от него забыть о бракосочетании, нажимала на Андрюшин провинциализм, плебейскую корысть, на мезальянс. Жанка любила прямоту. Если бы Жанка обвинила Андрюшу в том, что у него отсутствует подлинное чувство к Кате, Андрюша бы не вернулся, надорвался, зачах. А так, с уязвленным самолюбием, – думала тогда Катя, – он вернется к ней, не опоздает на свадьбу – влюбленный, любящий, незапятнанный.

«Он даже на меня не разозлился, – говорила Жанка. – Он не может поставить на место женщину. Не потому что она женщина, а потому что он никого не может поставить на место».

Кате казалось, что Андрюшу не коробил флирт лесбиянки с его невестой. Андрюша знал, что переигрывает ее одноклассников и одноклассниц, какими бы напористыми, ленинградскими, правдолюбивыми они ни были.

Разговор у Андриюши с Жанкой состоялся на морозе, среди ночи, на ходу. Жанка произносила заклятья в спину Андриюши отчетливым, ледяным шепотом. Андриюша думал, что и жар у Жанки, наверное, был вкрадчивым.

Андриюша вспоминал, что уже при первой встрече, при знакомстве, они с Катей смотрели друг на друга одинаково виновато: он – с будущей виной, она – словно с прошлой. Кто знает, быть может, в финале всё поменяется: она будет смотреть с будущей, он – с прошлой.

Катя признавалась, что ей нравились костистые плечи Андриюши, детская испарина, безразличный ум, ситуативные остроты, первенство на факультете, другая, старомодная, без секса, с книгами, богемность, длинные пальцы, неслышное дыхание, тонкий, горестный нос. Катя была похожа на Андриюшу – худобой, матовыми скулами, стеснительной походкой, смешливостью, доверчивостью, напрасной трепетностью.

Он думал, что она так и не поняла, был ли он до нее девственником. Для нее оставалось загадкой, была ли его интимная неторопливость, сдержанность, отсутствие горячности и при этом стыдливость проявлением целомудрия или психофизическим своеобычием, или признаком эротической искусности. В любом случае в постели с ним она чувствовала себя малоопытной, не знающей, чего пожелать. Поначалу Андриюша не любил целоваться. Она говорила ему, что тоже не любит целоваться. Она думала, что именно девственники не любят целоваться. На улице, на публике он не только стеснялся целоваться, но даже любезничать стеснялся, злился, отстранялся. Она помнила, как однажды за городом они повалились в сугроб, искрящийся от солнца, пахнущий чистотой, и здесь, в снегу, он впервые начал жадно целоваться – без смеха, без комплиментов, без улыбок. С того дня он очень любил целоваться, и она любила целоваться.

Пальчиков вспоминал, что первый послесвадебный год был радостным, долгим, теплым, словно вечным. Следующие десять лет были двойственными, щемящими, с перепадами – от нечаянного счастья до неминуемого несчастья. Родились дети. Андриюша к научным изысканиям охладел, диссертацию бросил на полуслове, подался в коммерческую фирму. Катя рукоплескала. Первое время, как в рулетку новичкам, ему везло, он начал зарабатывать, швыряться деньгами, гордиться друзьями-компаньонами, привыкать к алкоголю. Он начал изменять ей. Ее отчаяние походило на растерянность. Он же считал, что своим растерянным видом она прощает его, смиряется с его распушенностью. Он не разглядел ее мучительную обиду. Андриюша опоздал – Катя наполнилась презрением. Он привык быть насмешливо виноватым и раздраженно лживым. Для нее это была пора утомительного терпения.

Во второе десятилетие Пальчиков выглядел виновато молчащим, будто безвинным. Катя начала ему изменять. Ему не к кому было от нее уходить. Дети росли наблюдательными и деликатными: любили маму, жалели отца, боялись бабушки. В эти годы Катя начала тосковать по молодости, молодиться, прощаться с молодостью, бояться последней надежды.

После разъезда у каждого было скорбное, спокойное, комфортное понимание, что жизнь прошла. Катя перестала думать о невосполнимости и безвозвратности, о бесконечной беде, о роковой ошибке. Пальчиков ходил с виной, с любовью-расплатой. Катя о нем шутила: «Вина хороша, она ему к лицу».

10. Загубленная жизнь

Пальчиков думал о Кате: как она может простить, если память ужасает?! И, видя, что не может простить его, досадует на собственную черствость. Простить не добротой, не мудростью, не пониманием – так она уже простила. А вот простить всем смыслом существования, словно судьбой, любовью, не сможет.

Катя всех могла простить. Но вот простить бывшего мужа было выше ее сил. Она и Пальчиков будет просить, чтобы он простил ее за это. Он простит, а она будет молчать.

Если бы у нее была вторая молодость, равная первой (не вторая жизнь, а вторая молодость), разве тогда она бы не простила Андрея?! Конечно же, простила – с благодарностью, как неспра-

ведливого учителя. Он загубил ее молодость – всю, от двадцати до тридцати пяти лет. Он все это время находился бок о бок с ней и губил ее – вежливо, без рукоприкладства, отчужденно, ненамеренно, беспричинно. «Нет-нет, – говорила Катя, – ты заботлив, ответствен, чувствителен. Ты мучился мной, ты тосковал по мне, как ребенок. Я доверилась тебе. А ты ничего не сделал в ответ. Ты даже не полюбил меня. Я зывала к тебе: скажи, что любишь меня. А ты шутил, что не любишь это слово «люблю» из-за улюлюканья. Я не знаю, догадывался ты или нет, что обманываешь меня. И когда я очнулась, у меня и позади, и впереди была одна загубленная жизнь. Ты ничего не можешь сказать, ты не в состоянии даже оправдываться. Ты улыбаешься, ты полагаешь, что не бывает такого, чтобы и позади, и впереди была одна загубленная жизнь».

Именно Андрей поправил Катю: «Не загубленная жизнь, а загубленная молодость». «О, да, – осенило Катю, – загубленная молодость».

Если бы Катя чувствовала себя виноватой, она бы простила Андрея. Но она не могла найти своей вины, потому что ее не могло быть. Вслух она признавалась: «Я виновата. Я была душой. Я изо дня в день ждала. Я верила». Подруги поддерживали ее: «Ты рождена для семейного счастья». Она твердила: «Семейного счастья не бывает, если семейного счастья не было в молодости».

Вновь Пальчиков с Катей встретились на крестинах внука. И Катя, и Андрей Алексеевич были удивлены (на их лицах удивление было одинаковым – горделивым, с надеждой), насколько уравновешенным, выдержанным, ясным был их младенец-внук. Другие дети во время обряда крещения в церкви плакали, беспокоились, тряслись в руках священника, внук терпел и поглядывал по сторонам.

Катя перешептывалась с Андреем: «Как малыш похож на Николая Иваныча, особенно носиком, ноздрями! Вылитый Николай Иваныч!» (Николай Иваныч был сватом, отцом Олега-зятя). «Да, – согласился Андрей Алексеевич, – не наша линия». «У маленьких все меняется», – сказала Катя. – «Да, кардинально». – «А взгляд иногда бывает твой, насупленный. Вот как теперь», – засмеялась Катя. «Не дай Бог», – сказал Пальчиков. «Нет, когда насупленный, то неплохо», – сказала Катя.

В сердцах она предполагала, что Андрей всегда был готов идти по головам, но не шел ни по чьим головам, ни через кого не переступал. А через нее, выходило, переступил. Через нее одну. Он считал, что другие, чужие, его не вправе прощать, а Катя простит. Получилось наоборот. Он думал, что теперь будет всегда так, путаница с глагольными формами: она прощает, но не простит.

«Теперь внук у нас христианин», – сказал Андрей Алексеевич и, прощаясь, от суеты, шума, лихорадки дотронулся до руки Кати. От ветра и ее, и его пальцы были холодны. Его кожа была твердой, ее обветренной. Кати показалось, что это прикосновение выражало не только приветливость, но и последнюю просьбу. Больше у него сил не будет.

Катя, вероятно, думала о его вечерах. Он, видимо, надеялся на эстетское общение, на флирт, на интимную теплоту. Он был одинок. Он становился девственным от одиночества. Только он мог говорить, вспоминала Катя, что некоторых людей, в особенности незнакомых, хочется целовать бесконечно. Он забыл, как это быть любимым. И ему теперь странно видеть, преимущественно вечерами, в какой простодушной зависимости друг от друга находятся любящие люди. Она помнила, как он высказывался: «Зато несчастная любовь делает лицо человека замечательным – иссушенным, крохким, детским, обманутым».

В конце обряда крещения батюшка, рослый, как бывший десантник, и строгий, дал каждому из собравшихся приложиться к кресту. Только Андрею Алексеевичу не дал – случайно, в запарке, от усталости. Андрей Алексеевич стоял последним в полукруге и еще отступил на полшага назад, поэтому священник его невольно проигнорировал. Андрею Алексеевичу было удивительно это, потому что священник успел все-таки окинуть взглядом Андрея Алексеевича и успел, кажется, сообразить, что лишил Андрея Алексеевича креста.

Пальчиков видел, что никто в церкви казуса с ним и крестом не заметил. Пальчиков думал, что если бы это заметила Катя, ей было бы неприятно, как и ему, и она бы подумала, как и он, что этот курьез симптоматичен. Вот и батюшка-десантник, могла бы догадаться Катя, не на твоей, Андрей, стороне.

II. Пораженческий сон

Пальчиков хотел теперь себе маленькую кровать, диванчик. Нынешняя постель казалась ему большой, будто чужой. Он думал о противоречии: днем ему не хватало габаритов его комнаты, ночью, чтобы крепче спать, комнату хотелось сузить. Комната среди ночи виделась открытой, сырой, сквозистой, не знавшей ни музыки, ни добрых гостей.

Пальчиков во сне порой видел своего начальника Иргизова. Последний раз тот выглядел не столько валяжным и пьяненьким, сколько вероломным и беспокойным, как будто был уже не в фаворе, а в опале, не бессменным боссом, а кандидатом на вылет.

Как Пальчиков оказался с Иргизовым за одним столом в ресторане в каком-то арабском курортном отеле, понять было невозможно. Наяву начаться все могло с корпоративного банкета. Иргизов любил закатывать рауты в разных местах, с избранными и зваными, с эклектичными тостами, полными сердечных ужимок и торжественной правды, отретированных фривольностей и плебейских ляпсусов, панегириков фирме и плохо запрещенных Иргизовым славословий в свой адрес. Если и бывал Пальчиков иногда на таких мероприятиях, то сидел на задворках, ел только то, что умел есть, пил, боясь захмелеть, жаждал, чтобы забыли про него, маленького менеджера, не предложили вдруг высказаться, оставили в покое – нелюбопытным, неконтактным, немедоточивым.

Пальчиков привык испытывать к Иргизову священный трепет. В той или иной вариации такой же трепет вызывал Иргизов и у других своих приближенных подчиненных. Странно, думал Пальчиков, что Иргизов любил этот доморощенный священный трепет, зная, что любить такое несовременно. Иргизову, однако, нравилось, чтобы этот трепет проявлялся не откровенно, а завуалированно. Кто-то умел это делать непринужденно, Пальчиков же терялся. Он завидовал госпоже Вишняк, которая перед Иргизовым свой священный трепет нивелировала ухоженной усталостью. Он завидовал пожилому Грачу, который свой священный трепет выворачивал наизнанку, безобразничал по-стариковски, двигался мелкими шажками, вслух просил босса разрешить ему, Грачу, хоть на старости лет побыть самим собой. Он завидовал братьям Дубовым Петру и Максиму, у которых были одинаковые, какие-то перекрученные, улиткообразные, с безволосыми, шероховатыми ноздрями, носы – начальника эти носы забавляли, он утихомиривался, гогоча, глядя на эти носы.

Пальчикову мерещилось, что вначале в ресторане было много народу. Примостился за столом даже сомнамбулический телохранитель Иргизова, то и дело на террасу вваливался верзила-пес Иргизова, бесцеремонный не от простодушной наглости, а от неги. Вид из ресторана, пока не стемнело, был словно видом не на блеклое Мертвое море, а на сочное Черное, сочинское.

Наконец в потьмах они остались одни – Пальчиков, Иргизов, его новая молодая жена Ольга и официанты. У Иргизова глаза теперь были хорошие, но режущие. Одет он был теперь просто – обладатель сотни костюмов. Он бросал руки на стол с легким стуком. Ольга отличалась сумеречной, юной улыбочностью. В темноте ее теплая сухая ляжка приближалась к коленке Пальчикова. Так невозмутимо, колебался Пальчиков, не заманивают на любовные свидания, так безразлично куда не заманивают, даже на заклятие. Ольга продолжала боготворить дуэт ножа и вилки: видимо, она даже воздух при дыхании готова была придерживать и отрезать крохотными порциями. С ее впалыми щеками она, тем не менее, умела придавать лицу такое выражение, как будто у нее был полный рот воды. Волосы у Ольги были монгольскими, прямыми, черными, беспощадно промытыми, будто стерилизованными, жестяными, как грива жеребенка. Пальчиков любил такие волосы и вообще помнил одну незнакомую азиатку с ангельски чистым, но плотным лицом, низенькую, но кровь с молоком. Он помнил, что почему-то хотел, чтобы эта сильная азиатская девушка от него забеременела. Он знал, что всегда будет чужд ей и всегда будет чужда ему ее родня. Зато ребенок будет общим любимцем, чудесным метисом.

Бровь у пьяного Иргизова красовалась изящно приподнятой, точно ее поддерживал незримый монокль. Иногда монокль падал, и у каждого глаза образовывалось по вееру морщин. Ирги-

зов шутил с арабами-официантами: «Мало того, что вы не русские, так еще и русофобы». Пальчиков думал, что Иргизов давно утомлен своим служебным положением – генерального директора, но не собственника, всевластного, но не правомочного хозяина. Моя свобода – мое одиночество, приосанивался Пальчиков, а у Иргизова нет одиночества.

Вдруг обслуживать иргизовскую компанию принялась официантка русского происхождения, правда, уже разучившаяся понимать русских. Пальчиков видел, что этой официанткой была его покойная мать, еще не замужняя, еще не рожавшая, еще стыдливая, но уже не свободная девушка. Пальчиков думал, что он тоже выглядит жалким на людях, несвободным, заискивающим, как мать. Но мать могла смотреть с сочувственным презрением, когда Пальчиков несправедливо принимал не ее сторону, а отца. Мать любила с опасливым вызовом покусывать стебелек. Теперь на извечно конопатом лице матери осталось так мало веснушек, было баснословно дорогое. Она смотрела на Иргизова с девическим ужасом. Жалобно она стала смотреть на Пальчикова. Иргизов произнес: «Не смотри на него так, это бесполезно. У него нет денег, он не может платить». У матери-официантки были плачущими молодые уголки губ. Пальчиков чувствовал, что ему нужно было сделать трудный, трогательный шаг. Но куда? Он не мог. Он слышал последние слова Иргизова издали: «А что мы? Мы тоже люди, только выглядим богами».

Пальчиков вослед пропавшим спутникам твердил: «О, как я жду такую встречу! Ведь в моей жизни не было важной встречи».

Пальчиков шел по остывшей, чистой, ночной пыли. Улочки были старые, неизвестные, мусульманские, освещенные луной. Ему мнилось, что во мраке вдоль дувалов на корточках сидят худые субъекты и наблюдают за ним. Он забрел на глухую, нетуристическую территорию и казался отважным. Он думал, что здешние могут пустить его на органы. Он думал, что некоторые органы у него ещегодились для пересадки. Он помнил, что всегда любил жертвенность, – любил как культуру, как человеческие отношения, как красоту. Мать считала, что со временем ее женская жертвенность в нем, в сыне, может стать по-мужски развитой, не слезливой, не страдальческой, твердой, благородной.

В конце сна в расцветном мареве он прятался от матери. Он был с блестящими, ироничными, перспективными друзьями. Они были высокомерно деликатными. Он смотрелся как равный им. Он стеснялся матери, ее простодушного голоса, провинциального выговора, бедной одежды, нескрываемой гордости за сына. Она семила за сыном и вскрикивала: «Сынок, сынок, Андрюша, погоди. Я не успеваю за тобой. Ты вон какой у меня длинноногий». Друзья спрашивали, весело удивляясь: «Это твоя мать?» Он молчал, пританцовывал, не отвечал – не говорить же было им, что это его мать. Он вскочил к кому-то в машину и умчался, оторвался от матери. Он не знал, что теперь будет с ним. Он думал, что мать любила его ответственно, но не безоговорочно. Он стал одиноким, но и одиноким надо жить достойно.

Ему снилась чья-то улыбочивость. Он ломал голову: чья? матери или иргизовской Ольги? Какая не привычная для молодости, умиротворенная улыбочивость. Знакомый улыбочивый взгляд.

Он интересовался напоследок у неторопливых бандитов, у шантрапы, неизвестно у кого: «Вы меня убьете?» Они чистосердечно смеялись, не хохотали – смеялись.

12. Заявление

На этот раз, чтобы прервать дурную бесконечность, Пальчиков заявление набрал на компьютере. Прежние заявления (после очередного нервного срыва) он подавал написанными от руки.

Ему не хватало терпения столь свободолюбивый текст печатать – Пальчиков строчил по бумаге размашисто: «Прошу уволить меня по собственному желанию». Примерно раз в полгода на протяжении десятилетия лет, что он работал в фирме Иргизова, Пальчиков выстреливал подобными психопатическими бумагами. Заявления эти казались заведомо мнимыми, но писались Пальчиковым честно, отчаянно, безоглядно. Возможно, именно из-за того, что в них чувствовалась решимость мягкого человека, этим заявлениям не давали ход. Пальчикова успокаивали, отговаривали, хвалили – и замша Иргизова Хмелева, и главный кадровик, и сам гендиректор Иргизов. Никто не называл пальчиковские заявления шантажом, только некоторые завистники-коллеги. Если в этих писульках и было что-то театральное, недостойное, то лишь наивный самообман их слабохарактерного автора. Недоброжелатели удивлялись не демаршам Пальчикова, а реакции генерального. Они не понимали, почему Иргизов миндальничал с Пальчиковым, зачем держал его, что ценил в нем. Иргизов, который увольнял пачками, который не любил разговоры о справедливости, который на дух не переносил амикошество, который оппонирование со стороны подчиненного считал дерзостью, а обиду на начальство хамством, – этот педантично властный Иргизов в случае с Пальчиковым шел против своих правил, он заигрался с Пальчиковым. Недоброжелатели шептались: видимо, расставание с Пальчиковым готовится как особенно беспощадное, особенно необъективное: сколько написал заявлений – столько всего и отгребет. Вытурят с позором, дадут под зад коленом – причем в прямом смысле, на видеокамеру запишут, в Youtube выложат. Генеральный, мол, не прощает: когда сразу бьет, когда копит и бьет. Считали, что генеральный порой нуждался в исключении из правил. Вероятно, и Пальчиков ему пригождался для этого – чтобы сказали: смотрите, я могу думать не только о работе, не только о прибыли, но и о человеке. Я могу ради человека пренебречь порядком. Я могу ради человека уступить.

Сослуживец заметил Пальчикову: «Ты один такой, кто разбрасывается заявлениями налево и направо». «Это некрасиво. Что за моду взяли?!» – стала говорить Пальчикову Хмелева. Первые три пальчиковских заявления ей нравились. В них виделся маневр. Дальше был перебор, карикатура.

Пальчиков думал, что всегда хотел уволиться от Иргизова, каждый день. Уволиться в никуда, в свободу на краю с бездной. Кроме того, Пальчикову было важно опередить Иргизова, уйти самому, а не быть вышвырнутым – после десятка напрасных заявлений, мелких побед. Пальчиков чувствовал, что не угадает, не успеет, что Иргизов его унизит, Иргизов знает, когда поберечь. В лучшем случае, думал Пальчиков, генеральный подпишет ему заявление тогда, когда ему, Пальчикову, это будет меньше всего нужно.

Пальчикову стало казаться, что его отдел Иргизов хочет закрыть. Дела в фирме шли со скрипом. Иргизов мужественно капризничал. Он любил быть капризным. Сначала Иргизов был капризным, потому что бизнес рос, – тогда Иргизов был капризно величавым, величаво недовольным. Теперь Иргизов был капризным от спада, кризиса, экономии. Теперь Иргизов был судорожно недовольным.

На вчерашнем совещании Иргизов заявил, что ему надоели тупые менеджеры Пальчикова, что одного из них, Писемского, надо уволить безотлагательно. Иргизов не уточнил, за что. Он сказал, что тупость видна без уточнений.

Пальчиков покинул совещание в приподнятом настроении. Он знал, что напишет заявление. И чтобы его решение казалось обдуманным и выстраданным, а заявление последним и окончательным, он подаст его не сейчас, а завтра утром, после бессонной ночи.

Пальчиков ничего не сказал Писемскому. Но Писемский все понял. Глаза у него стали жалкими. Писемский увидел, что Пальчиков был взвинчен, и эта взвинченность начальника представлялась Писемскому единственной надеждой. Он думал, что если Пальчиков подаст заявление, а генеральный его опять не подпишет, Пальчиков тем самым спасет не только себя, но и его, менеджера Писемского, потому что уволиться Пальчиков пожелает как бы из-за него, из-за своего подчиненного. Писемский думал и по-другому, что заявление Пальчикова на этот раз будет жертвенным, он думал, что генеральный это поймет и воспользуется жертвенностью в своих

интересах: Пальчикову заявление подмахнет, а его, Писемского, оставит и, может быть, повысит. Это будет принятая и смешная жертва. После чего Пальчиков обидится не на генерального, а на него, Писемского. Пальчиков будет жаждать от Писемского ответного благородства и, если не дождется, если Писемский не решится уволиться вслед за Пальчиковым, Пальчиков в конечном счете обрадуется этому больше, чем если бы Писемский пошел по его стопам. Если же генеральный, думал Пальчиков, попросит его остаться, как всегда, но при этом не согласится оставлять Писемского, Пальчиков будет настаивать на своем увольнении.

Пальчиков чувствовал, что генеральному не терпится получить от него очередное заявление: генеральный любил игриво задумываться: подписывать или опять отложить, продолжить ломать комедию или финита ля комедия?

Спустя пару часов после того, как заявление было передано Хмелевой («Я так и знала», – вздохнула она), Пальчиков позвонил в кадры. Он просил не откладывать заявление в долгий ящик, дать ему ход сегодня же. Главный кадровик сказала, что генеральный уже оповещен, и добавила (не брезгливо, не отчужденно, педагогически): «Андрей Алексеевич, зачем вы себя так ведете?» Пальчиков вспомнил, как смотрела на него Хмелева – без жалости, без презрения, без недоумения, с абсолютным пониманием Пальчикова, что он прав и не прав, что он так же, как и все мы, безысходен. Ей не нравилась в Пальчикове мелочь – его нетерпеливость и связанная с этой нетерпеливостью черствость. Хмелевой не нравилось, что Пальчиков не борется со своей черствостью, что не видит жизненные обстоятельства других людей, ее, Хмелевой, тревоги, противоречия генерального. Хмелева думала, что и ей пора уходить, и директору пора диверсифицировать риски.

Пальчиков обновил свои резюме на рекрутинговых сайтах, добавил фотографию, на которой он получился улыбчивым, молодежавым, интеллигентно уважаемым. Он думал, что откликов может и не быть – будет пугать его солидность, возраст, опыт, знания, якобы априори требующие особой уважительности. Кому это надо? Мальчишкам-директорам? Пальчиков думал, что в России теперь нет кадровой политики, что при назначении на крупные должности, в какие-нибудь госкорпорации, по-прежнему руководствуются кумовством. В кадровой политике, размышлял Пальчиков, должны действовать принципы. И основополагающими должны стать не деловая хватка и не административный запал, а вещи якобы эфемерные – убеждения и доброта, скромность и твердость. Не говорите, что они не определимы. Они хорошо видны в человеке. Пальчиков замечал, что кадровые службы теперь заполнялись по остаточному принципу, что кадровиками работали буквоеды и новоиспеченные психологи-девушки. Он думал, что если и пригласят откуда-либо на собеседование, то из каких-нибудь страховых шарашек, от мошенников или от едва зарегистрировавшихся или, наоборот, дышащих на ладан конторок.

Пальчиков прикинул, на какой срок ему хватит сбережений. Он посчитал, что целый год сможет прожить равномерно, с терпением, без излишеств.

Не успел он так умиротворенно подумать, как позвонила дочь и попросила выручить: им с мужем не хватает на новый автомобиль. Дочь обращалась за помощью редко. Пальчиков не мог даже припомнить, была ли у дочери ранее такая счастливая надежда на отца, какая теперь ему послышалась в ее голосе. Он ответил, что поможет. Стало ясно, что не год, а полгода ему отводится на поиск работы. Он знал, что увольнение от Иргизова близко, не за горами – не сегодня, так через месяц, через два. Недовольство Иргизова без кровопускания не проходит.

В конце рабочего дня кадровик сообщила Пальчикову, что Писемского генеральный решил не увольнять, лишь уменьшил зарплату на четверть. Если Писемский не согласен – до свидания, если не возражает – пусть старается, директор пояснил, что за рвение в любой момент готов поднять зарплату до прежнего уровня. «Разве такое когда-нибудь было?» – усмехнулся Пальчиков. «Было», – обидчиво ответила кадровик. О заявлении самого Пальчикова она не произнесла ни слова.

Писемский, выслушав Пальчикова, сказал, что до конца месяца дотянет на унижительном окладе и будет уходить. Пальчиков попросил Писемского не стесняться направлять к нему, к

Пальчикову, за положительными рекомендациями потенциальных работодателей Писемского. «Я тоже буду уходить, – сказал Пальчиков. – Сегодня вам понизил зарплату, завтра – мне». Пальчиков думал, что глаза у Писемского умные, грустные, оскорбленные. Он думал, что Писемский в свою очередь видит его глаза усталыми и бессильными.

Генеральный вызвал Пальчикова. В кабинете сидела и замша. Говорили о новом стратегическом заказчике. О заявлении Пальчикова генеральный не обмолвился. Замша вдруг воскликнула, что гордится Пальчиковым. Генеральный засмеялся. Он произнес: «Если даже все подразделения закроем и всех сократим, Пальчиков пусть сидит. У вашего Пальчикова дурной характер, злитесь на меня». Генеральный опять засмеялся.

13. Слабый Андрюша

Еще два десятка лет назад Пальчиков понял, что он слабый. Он помнил тот вечер стыда и какого-то примирения с собственной идентичностью, со своей неизменяемой слабостью.

Андрюша Пальчиков избегал этих людей, но иногда поддавать с ними любил – с Митрохиным и Брагинским. Жили они с Андрюшей по соседству и работали на одном предприятии: Андрюша в офисе, а Митрохин с Брагинским – мелкими хозяйственниками. Оба были старше Андрюши лет на двадцать, у обоих дело шло к полтиннику. Ему с ними было интересно выпивать, потому что пьяненькими они становились лучше, нежели были трезвыми. Ему казалось, что и он пьяненьким был лучше – умиленным, благодарным, безыскусным, виноватым. Трезвым Пальчиков еще старался выглядеть приспособленным к жизни, неприступным, бдительным, в подпитии его доверчивость и слабость брали верх.

Ему казалось, что пьяненькими они и внешне были лучше: Митрохин снимал очки, лицо его делалось вялым и большеносым, Брагинский зализывал волосы назад (на работе он ходил с волосами на бок). Перед выпивкой оба Андрюшиных старших приятеля смотрелись как после бани – чистыми, спокойными и веселыми. Они были пьющими, но не алкашами. Брагинский не был даже пьющим, он любил не выпивать, а беседовать. Его жена иногда приходила смотреть на него – не столько на пьющего, сколько на говорящего. Она знала, что лишнего он не выпьет, а вот сказать может. Обычно выпивали у Митрохина в выходные дни. Тот обитал холостяком. Его любовница жила ниже этажом. К мужским пирушкам он ее не допускал. Митрохин любил уикэнды – ритуал, традицию, компанию, периодичность застолий. Он любил, чтобы к водке были домашние закуски – маринады, соленья, зелень. Пения за столом он не любил. Он любил оставлять гостей ночевать. Если же не оставались, провожал их долго, до квартиры, до остановки, по ночному воздуху, с громкими возгласами. Андрюша недоумевал: как Митрохин видит пьяненький без очков, а если видит, зачем трезвый носит очки?

Митрохин любил говорить о прошлом, Брагинский – о настоящем. Митрохин любил говорить о своем прошлом, Брагинский – о настоящем общественном. Андрюша конфузился и прыскал со смеху. Его смешили не анекдоты Митрохина и не филиппики Брагинского, ему казались смешными нос Митрохина и брови Брагинского. Нос Митрохина был особенно большим без очков, сиротливым и тоскующим, как собака. Андрюша думал, что Митрохин боится дотрагиваться до своего носа, потому что тот может упасть или съехать на бок от прикосновения. Нос Митрохина словно предупреждал, что он хоть и внушительный с виду, но совсем не нужный и скоро начнет червиветь от жизни и алкоголя. Брови Брагинского были седеющими, кучерявыми и всклокоченными. Они старили Брагинского. Но было понятно, что Брагинский никогда не пройдет по ним ножницами. Брагинскому его брови виделись красивыми, гневными, правильными, отцовскими.

Митрохин говорил о бандитах, о бандитском бригадире, которому он однажды завязал галстук, потому что бригадиру нужно было ехать в мэрию, значит – в галстук, а галстуков ни один бандит в то время завязывать не мог. Брагинский говорил, что он, Брагинский, вслед за своим сыном уехал бы из такой страны, если бы не был бывшим подводником. А как бывший подво-

дник он уехать не в силах, он прикован не к мировому океану, не к воде, а к земле, к стране. «Не уедешь ты никуда», – отмахивался Митрохин. «Почему?» – обижался Брагинский. «Тебе и здесь хорошо», – напоминал Митрохин.

Андрюше нравилось, что, выпивая, они говорили о политике, но о женщинах молчали.

За полночь явился Гриня. Этот начал трепаться о женщинах. Гриня – это шофер Григорьев. Гриня не нравился Пальчикову. Ему казалось, что у Гринино лица существовало только одно выражение – размягченной, завистливой, подростковой обиженности. Гриня был костлявым, каким-то перекрученным, в широких, развевающихся джинсах, в которых ноги словно отсутствовали. Гриню раздражало, что молодой Андрюша весь рабочий день сидел в конторе, в креслице, с телефончиком. Чаще всего у Грини что-нибудь ломалось, когда по производственной необходимости именно к нему как к водителю обращался Андрюша. Жена Грини была полнотелая, приветливая, работала уборщицей. Два Грининых сына-школьника белесостью напоминали отца, стеснительностью мать.

Выпивая, пошатываясь, Гриня подначивал Андрюшу. Андрюша искренне недоумевал, озираясь. Тогда язвительная ласковость Грини сменилась (от Андрюшиной растерянности) зловещими, слюнявыми, вкрадчивыми намеками, тихими, пренебрежительными насмешками. Андрюша думал, что в любом сообществе обиды можно забывать, только в уголовном мире надо помнить. Сначала Гриня улыбочиво говорил Андрюше: какая у тебя жена красавица! Затем он начал говорить: какая она горделивая красотка! Затем говорил: какие у нее формы! Затем сказал: так бы и облапил ее! Он смеялся – маленькими глазами, сухими щечками.

Андрюша понимал, что Гриня для того и пошатывался, чтобы Андрюша увидел в нем хилого человека, но смелого провокатора, чтобы Андрюша ударил его, чтобы решился справиться с ним. Но Андрюша Пальчиков был в замешательстве. Ему хотелось не ударить, а расплакаться тяжелыми, как удары, слезами. Он знал, что удар у него сильный, но нанести его он не мог. Он думал, что когда будет бить, то бить будет как во сне, что удары будут выходить ватными, призрачными. Он знал, для того чтобы бить, нужна не сила и не навык, а безразличие и пароксизм.

Андрюша видел, что Митрохин с Брагинским не испытывали неловкости от Грининой дерзости и его, Андрюши, нерешительности, немужского поведения. С конфликтами, фрондерством, самолюбием, человеческой слабостью они сталкивались каждый день. Митрохин рассказывал новый анекдот, резал помидор большим ножом в толстых красных пальцах. Брагинский скучно улыбался, смотрел на Андрюшу, Брагинскому было интересно наблюдать за противостоянием людей. Андрюше казалось, что Брагинский поддерживал его слабость, что для Андрюши это правильнее, чем пускать в ход кулаки, что сила Андрюши будет хуже его слабости. Андрюша думал, что Брагинский будет улыбаться лишь до некоторой черты, а затем вспыхнет, займет сторону Андрюши. Наконец Митрохин произнес: «Хватит, Гриня!»

Андрюша не помнил, как исчез Гриня. Брагинского тоже не стало. Может быть, Андрюша уснул, когда они уходили.

Митрохин провожал Андрюшу домой, на параллельную улицу. Андрюшино сознание было контрастным, униженным, ясным, немолчным. Они шли по холодной, но сухой дороге. Кажется, и Митрохин любил ночной мартовский морозец. Андрюша не всхлипывал, но икал и вздыхал. Вздыхал, чтобы победить икоту. Митрохин не сочувствовал и не разговаривал, а только напевал себе под нос. Он был опять без очков, но ни разу не оступился в темноте. Быть может, Митрохин теперь думал, что Андрюша признателен ему.

Андрюша думал о ревности интеллигента. Он знал, что не все интеллигенты слабаки. Он понимал, что назвать себя интеллигентом (не интеллигентом, а интеллигентиком) – значит найти последнее прикрытие для своей постыдной слабости.

Он понимал, что драться с Гриней было бессмысленно: физически он, Пальчиков, был сильнее Грини, но Гриня был хитрее. Не страшно быть битым, не страшна боль, не страшен позор – страшна бесполезность поражения и горделивость победы. Если бы я набил морду Грини, то стал бы таким, как Митрохин и Брагинский, думал Пальчиков. Поражение лучше победы, оп-

портунизм лучше поражения. Не драться, но убить. Но как убить? Лишь – в состоянии аффекта, помутнения рассудка. Без аффекта у меня не будет зла на Грину. Защищать надо не честь, а жену, Катю. Тогда будет аффект. Что же мне теперь не жить, если я такой? Если у меня нет чувства достоинства. Я не люблю доблесть. Я не люблю угрозы, которые можно вытерпеть. Я люблю то, что вытерпеть нельзя. Что же мне теперь не жить? Что же мне теперь не любить жену?

У Кати была преданность хорошего, сильного человека. Ее улыбку можно было понять по-разному. Разные люди, разные мужчины по-разному ее понимали. Она улыбалась сердечно, догадливо, мечтательно. Мужчины замечали ее мечтательность. Пальчиков знал, что его жена совсем не мечтательна, что мечтательной она лишь мерещится, что ее мечтательность – от ее красоты, неторопливой походки, высокой шеи.

Пальчиков знал, что и жена обнимет его своей верностью. «Андрюша, – скажет она. – Ты не слабый, ты сильный. Странно, что они видят тебя слабым, что не видят сильным». Пальчиков думал, что у жены были глаза как глаза его собственной души.

Пальчикову нравилось, что его жена не умела кокетничать. Это ее неумение только раздражало мужчин.

Пальчиков вспомнил, что ревновал жену к своему прошлому начальнику. Тот однажды увидел Катю и, разговаривая с ней, стал неприятно прятать глаза и поднял их нетерпеливо только тогда, когда Катя повернулась к нему спиной. Этот пальчиковский начальник потом не смотрел и Пальчикову в глаза и старался давать ему указания через подчиненных.

Пальчиков тогда боялся, что его ревность со временем станет болезненной, гласной, банальной, дурацкой. Ему казалось странным, что некоторых людей он мог ревновать к жене, а других нет.

Ему казалось, что даже грубые мужики бывают деликатными. Вот Митрохин деликатен, и Брагинский деликатен. А, например, коллега Романов, вопреки своей робости, не деликатен.

Пальчиков не хотел ни тайной, ни открытой ненависти. Пальчиков думал, пусть они будут зубоскалами, аферистами, невеждами, коррупционерами, пусть они презирают его, пусть третируют его, но не мучают его Катю.

14. Дочка плачет

Когда Пальчиков звонил дочери, та разговаривала с ним сдержанно, как в прошлом, как маленькая, послушная, боязливая. Она видела, что отец не заслуживает дистанции, что он стал податливым, безрадостным, не приглубленным. Видела, но прежней робости преодолеть не могла. Отца она поняла, она понимала, что он хороший человек, хороший отец. Поэтому недоумения больше не было, а робость осталась.

Отец звонил раз в неделю – спросить, как они живут, как растет внук Сережка, передавал привет зятю Олегу. Лена думала, что отец звонил бы и чаще, если бы не стеснялся докучать, если бы знал, о чем говорить. Лене было бы лестно, если бы отец звонил каждый день. Но она не хотела испытывать неловкость, потому что тоже не знала, о чем говорить. Ей было приятно, что отец подобрал тактичный ритм для общения. Она думала, что отец теперь нуждался в благосклонности, в безобидной фамиллярности родной души, взрослой дочери. Когда отец за что-нибудь благодарил, Лена отвечала, как школьница: «Пожалуйста». Она не могла еще сказать: «Ну что ты, папа! О чем разговор?!» Она надеялась, что отец понимает, что это «Пожалуйста» произносит не чужая вежливая девушка, а его конфузливая дочь, еще не заматеревшая, не лишенная скованности в речи.

Пальчиков сказал Лене, что вчера в метро поскользнулся и ногой угодил между дверями вагона и платформой. Когда выкарабкивался, поезд стоял, машинист видел, что пассажир пытается влезть в вагон на руках. Вагон был в начале состава, был бы ближе к хвосту, машинист не смог бы различить застрявшего человека, закрыл бы двери и тронулся вместе с зажатым бедолагой и разможил бы его при въезде в тоннель. Так полушутливо сказал отец, и Лена воскликнула: «Как же так, папа?» Отец сказал: «Бывает. Хорошо, машинист ждал, а помочь – никто не помог».

Они попросились, Лена положила трубку и заплакала. Она давно не плакала, но теперь ей казалось, что она будет плакать ежедневно. Будет плакать, когда маленький Сережка будет спать в своей кровати, а муж будет на работе. Она боялась, что со временем начнет плакать громко и часто, что от этого шума привыкнет просыпаться ребенок и тоже плакать в ответ, что плачущей ее будет заставлять муж Олег.

Происшествие с отцом невольно напомнило Лене то, что случилось на ее глазах в метро несколько лет назад – до рождения Сережки, до замужества, до окончания университета, до того, как отец стал таким жалким.

В метро оступилась девушка и упала между вагонами. Кажется, именно после этой трагедии пространство между вагонами стали заделывать, прикрывать. Та девушка вышла из прибывшего поезда, она была вся в черном, с черной сумкой, сначала она сделала несколько шагов к выходу с платформы, потом девушку качнуло, она отшатнулась к стоящему составу, прошла несколько сомнамбулических шагов вдоль него, у нее подкосились ноги, и девушка в черном мягко свалилась на рельсы между вагонами. Поезд стоял еще восемь секунд и поехал. Про эти восемь секунд трубил интернет на другой день. Писали о двух молоденьких пассажирках-подружках (их зафиксировала видеокамера), которые находились в тот момент рядом с девушкой в черном, но не отреагировали. Интернет осуждал: эти подружки видели весь путь девушки по платформе, видели, как она упала вниз, но не закричали, не стали махать руками, не привлекли внимание ни других пассажиров, ни работников метро, ни машиниста, не вцепились в двери, чтобы их придержать. Уже когда девушка была на рельсах, подружки три секунды стояли замертво, затем отпрянули от поезда, словно боялись, что и их затянет под него. Они отошли от поезда, вернулись, когда поезд тронулся, а когда поезд исчез совсем, одна из подружек подошла к краю платформы и вперла взгляд вниз. После этого подружки (без какой бы то ни было мученической жестикуляции) развернулись и покинули платформу. Официальные органы заявили, что виновата сама погибшая, что, возможно, это был суицид. Молоденьких пассажирок интернет клеймил как безнравственных дур. Говорили о бесчувственности, твердокожести, инфантилизме, любострастном цинизме современной молодежи. Следствие сообщало, что по закону странных подружек невозможно привлечь к ответственности, ибо самостоятельно они никак не могли помочь девушке в черном и лично не причинили ей вреда. Интернет клеймил: могли успеть спасти, но повели себя как идиотки.

Блогеры писали, что девушка в черном всегда была склонна жить безрадостно, что есть прослойка врожденных самоубийц, что девушка увлеклась эзотерикой, любила несчастную любовь, писала стихи на своей страничке в соцсети о любимом человеке, но все знали, что такого человека у нее нет.

В тот день дочь Пальчикова ехала в одном вагоне с девушкой в черном. На злополучной станции девушка в черном вышла, а Лена осталась в вагоне – ей нужно было выходить на следующей остановке. Девушка в черном всю дорогу прикрывала свое лицо длинными каштановыми прядями, сквозь которые сочилась дальновидная улыбка.

Лена не видела, как девушка в черном упала под вагон. Лена узнала об этом на следующий день из интернета. Лена стала думать, что не только поезд, но и она, Лена, находясь в этом поезде, проехала по девушке в черном, раздавила ее. Лене казалось, что она помнила то содрогание, которое испытало ее тело, когда колеса внизу разорвали девушку в черном. Лена думала о тех двух подружках на платформе, что им теперь легче, нежели ей, потому что они стояли поодаль, а она ехала по девушке в черном. Лена думала, что те подружки стояли в оцепенении с мыслью, что всё образуется, что всё само пройдет, потому что не может не пройти, что поезд не тронется, не поедет по девушке в черном. Лена думала, что если бы и она была на платформе, то также ничего бы не смогла предпринять, закричать, что одеревенела бы, что только бы взмолилась. Лена помнила, что отец раньше порой раздражался, когда она была медлительной, когда не была расторопной. «Хорошо, что ты не мальчик, – говорил отец. – Был бы мальчик, не мог бы играть в хоккей. В хоккее важна быстрота реакции».

Муж начал спрашивать Лену, почему у нее последнее время глаза на мокром месте. «Не тревожься, Олег. Мне хорошо с тобой, я счастлива, я тебя люблю. Я лишь боюсь за вас – за тебя и

за нашего Сережку. Я сильно боюсь». Олег мучился, что жена доведет себя до ипохондрии, до безумия.

Лена плакала украдкой, закапывала глаза перед приходом мужа, смотрела по интернету комедийные номера, но муж все равно видел тень от ее плача.

На улице стало жарко. Лена говорила Олегу: «Вчера еще один маленький ребенок выпал из окна девятого этажа, двухлетний мальчик, разбился, погиб». Лена плакала свободно, не прячась. Она не говорила Олегу, что про выпавшего из окна ребенка ей сообщил отец. Олег шел проверять стеклопакеты, отвинчивать ручки – Сережка уже тянулся ко всему. Жили они на восьмом этаже. Сережка рос непоседой. Дедушка Пальчиков радовался ему: «Будет хоккеистом».

15. Женщины

Помимо жены Пальчиков вспоминал Дарью. Дарья уехала в Германию, чтобы выйти замуж. Дарья любила кричать. Пальчиков думал, что тридцатилетние приучены к этому Голливудом. Женщины во время секса всегда кричали, но современные тридцатилетние, из которых Пальчиков, правда, близко знал только Дарью, кричали по-другому, современно, с нетерпением.

Ему казалось, что физиологически кричать им было совсем не обязательно, но психологически – они не могли не кричать. Он понимал, что никогда не узнает доподлинно, от чего в действительности кричат женщины. Его мысли на сей счет были домыслами. Ему нравилось не знать тайны интимного поведения, инстинкта, подсознания, тайны тела другого человека.

Современная молодая женщина, размышлял Пальчиков, стремится выжимать из секса всё. Секс для нее важен не только как удовольствие, но и как успех. Секс ей нужен вместе с успехом. Кому нужен секс вместо успеха, отнюдь не современная женщина. Современная женщина должна кричать не только от оргазма, она должна кричать на протяжении всего полового акта. Она должна быть неслышной лишь до полового акта, а после замереть надолго, с отчуждением, по-мужски. Для крика современной женщине мачо не требуется. Предполагается, что мачо вырвет крик из любой женщины. Современной женщине для крика подойдет всякий мужчина, с которым она легла в постель. Она от всякого, с кем легла, должна закричать. Всякий должен постараться, чтобы женщина закричала. Пальчиков думал, что современная женщина кричит не от покорения и не от покорителя, а сама по себе. Если мужчина, наслушавшись криков современной женщины, более не захочет с ней встречаться, она вправе предположить, что такой мужчина способен на настоящую ночь лишь единожды. Современная женщина считает, что этот крик должен быть с нею всю жизнь. Она полагает, что только тот мужчина, который любит этот ее секретный крик, может со временем стать тонким, аристократичным, преуспевающим человеком, что такого мужчину нужно поддерживать.

Пальчиков досадовал на свою щепетильность, из-за которой он не мог привыкнуть к крику Дарьи, по сути, к единственному ее изъяну, или не изъяну, а достоинству. Он видел, что этот крик был таким отстраненным, механическим, безобидным, голым, что казался привнесенным, чуждым, не свойственным Дарье. Пальчикову думалось, что и кричит она не ради себя, а ради него, Пальчикова, что с другими она, возможно, не кричала и не кричит. Он догадывался, что своим волевым криком Дарья дисциплинирует партнера, окорачивает его возбуждение, задает ритм, отсчитывает шаг.

Прямая спина, нежные ноги, высокая шея, улыбчивое лицо с суровостью в глазах позволяли говорить о Дарье как о воспитанной и целеустремленной особе. Она была редко довольна Пальчиковым, но когда была довольна, то становилась мягкой. Ему нравилось, как она пьянела: она не выясняла отношений, не материлась, не хохотала, не начинала курить. Она становилась рафинированно предупредительной. Но эта ее предупредительность, чувствовал Пальчиков, в любой момент могла обернуться истерикой. Тем не менее, нервного срыва не было никогда. Дарья только могла ущипнуть его не больно. Он сам был виноват, увлекался беседой, собственным красноречием, рассказами о политике, искусстве. Ей больше нравилось о политике. Она кивала

ему, как будто понимала с полуслова. Она любила его рассказы о Тютчеве и Денисьевой. Когда Пальчиков однажды говорил о Цветаевой, Дарья согласилась, что тоже любит Цветаеву больше Ахматовой. Ему примерещилось, что ради него, после разговора о Чехове, Дарья стала читать Чехова. Она возила томик Чехова в своей сумке. Пальчиков воображал: быть может, она хочет понять его через героев Чехова. Пальчиков даже сказал ей, что он не чеховский герой. «А какой ты герой?», – удивилась Дарья. Ей не нравилось слово «герой». «Хотел быть толстовским, а получилось, что Достоевского или того хлеще – Островского». Он видел, что для Дарьи эти разговоры были скучны и не нужны. Он знал, что говорить об этом должно быть неловко. Он не должен казаться Дарье допотопным. Кругом шопинг, путешествия, английский язык, автомобили, айфоны – и вдруг такие дурацкие разговоры! Однажды утром он начал читать Тютчева в кровати вслух. Он знал, что декламирует красиво и осмысленно. Разбуженная Дарья сначала зарылась в одеяло с головой, а затем стала бить Пальчикова ногами, не притворно – больно, и закричала: «Замолчи!» Ее глаза уточняли: «Пойми, не я черствая, а ты дурак».

Дарья, например, ни разу не попросила его разговаривать аккуратнее, чтобы не летели слюни во все стороны. Он замечал, что после его реплик Дарья начинала тереть глаз, что всю жизнь терли уголки глаз и другие его собеседники. Его слова сопровождались брызгами. Он говорил недержанно, взволнованно. Его с детства отличало обильное слюноотделение. Тебя раздражает ее крик? Что такое ее крик по сравнению с твоими слюнями?

Его бывшая Катя не кричала. Может быть, стеснялась, может быть, кричать ей было смешно. Она была смешливой, позднее – саркастичной. Она вздыхала, постанывала, отворачивала лицо, улыбалась, иногда дышала отчетливо. Ему было важно видеть ее веселое, ее преданную робость. Ему было важно, чтобы Катя видела его благодарные взгляды, его благоговейную осторожность. Потом они с Катей начали играть в молчанку – в течение двух дней, затем – трех недель, полутора месяцев, года.

Пальчиков думал, что Катя и теперь могла быть для него желанной – теплой, вкрадчивой, извилистой, доверчивой, шуливой. Она деликатная, она мнительная, она боится, что постарела, что больна, что у нее нехорошее дыхание. Пальчиков знал, что это не так. Катя была для него как молодая. Она все время будет для него такой – с молодым лицом, с неувядающей кожей.

И Катя, и Дарья считают, казалось Пальчикову, что его возрастная сентиментальность и ностальгия – это улада эгоиста, плохого, слабого, лживого мужика, желающего быть если не сильным, то добрым. Они считают, что он еще и подлый, потому что ему, видите ли, претит крик женщины, ему, видите ли, нужна тишина.

Никого не надо разжалобивать. Видите ли, ему среди ночи во время просмотра «Путешествия в Италию» стало понятно, что вот сейчас он умрет. Он смотрел на люстру, на свет, которого не стало ни меньше, ни больше. Он думал: ведь нет теперь ни боли, ни холода, ни опасности. С чего умирать? Это – горькая надежда в сочетании с немотой, черно-белым кино, изморосью электричества. Он подумал, что ему нельзя жить без любимого человека. Многие могут так жить, а он нет. Если позвонит Дарья, он позовет ее к себе. Ему приятно будет стареть у нее на глазах. Стареть долго, как жить. Ему нравилась чинная Дарьиная доброжелательность. Когда она будет кричать, он будет зажимать ей рот, и она не будет снимать его руку со своих губ. Катя не позвонит и ни о чем не скажет через детей.

Тебе хочется страдать? – скажет и Катя, и Дарья. – Ты думаешь, что страдание и есть человек? Жди, не паясничай, молчи. Что же не умер? У тебя даже боли не было. С чего умирать? Ничтожный человек, который еще и декларирует: «И такие ведь тоже должны жить».

16. Плохие мысли

Пальчиков не знал, хороший он человек или плохой. Понятно: все мы грешные. Но одно дело – грешный, другое – плохой. Грешные – хорошие.

Пальчиков видел, что плохими у него были внезапные мысли. Плохими, страшными.

Первая плохая мысль была в детстве. Маленький Пальчиков думал: а ведь будет хорошо, если папа умрет – заболеет, попадет под машину, пристукнут его по пьяной лавочке. Папа пьяным был задирой, матерщинником. Папа пропивал зарплату, попадал в медвытрезвитель, таскал вещи из дома, мучил мать. Андрюша Пальчиков помнил, какими хорошими, чистыми, уютными были полтора года, когда папа находился за забором принудительного ЛТП – лечебно-трудового профилактория. Казалось, что и свет вечерами дома по-другому горел, приглушенно, ласково, ровно. Не нужно было тревожиться всякий день, каким сегодня придет папа – вдруг не пьяным, не безобразным. Андрюше мерещилось, что пару раз папа, будучи пьяным, был молчаливым и жалким, словно убитым. Таким, каким бывал только трезвым. Почему папа был эти два раза таким – пьяным, но тихим – Андрюша не понимал. Андрюша мечтал, чтобы и пьяный папа был бы как трезвый – стыдливым, виноватым. Но пьяным и тихим Андрюша видел папу только два вечера. А, может быть, и не был в эти вечера папа пьяным, а был счастливым и разговорчивым.

Вечерами маленький Пальчиков привык затыкать уши от брани пьяного отца. Отец ругался по-зэксовски – отчетливо, декоративно, долго, полночи. Оскорблял мать. Мать не плакала, молчала, уходила. Отец выяснял отношения с бликами, стенами, диваном, обессиливал, засыпал, велеречиво храпел.

Утром было наоборот: отца не было слышно, мать отчитывала отца звонко, методично, отцовскими оборотами. Мать уходила на работу. Отец спускался в подвал, где мастерил очередную швабру, чтобы продать ее у гастронома и на вырученные деньги похмелиться. Со временем швабры у отца-плотника стали получаться образцовыми – крепкими и филигранными, их любили окрестные домохозяйки. Матери было противно, что ни одной такой добротной швабры отец не сделал для своей семьи.

Маленький Пальчиков боялся щеки отца: она у него гноилась много лет. И казалось, щека протлела насквозь. Отец то и дело выдавливал желтоватую вязкую каплю пальцем, а палец вытирал о брючину. Перед смертью несколько месяцев отец болел, не вставал с постели, не просил спиртного, прелея язва на щеке затянулась, лицо стало сухим, словно песчаным.

Сильнее всего Пальчиков помнил до сих пор отцовский трезвый, оторванный от мира, грустный взгляд – белесых, выцветших, вытравленных глаз. Отец любил иногда произносить строчку, видимо, собственного сочинения: «Черные глаза не выцветают», – про глаза своей жены, матери Андрюши Пальчиковой. Произносить с прошлой любовью и предстарческой обидой.

От отца Андрюша позаимствовал невольную виноватость в лице, от матери – черные глаза. Чернота глаз (до странности мягкая, не кавказская, русская) отчасти изобличала мнимый характер абстрактной виноватости Андрея Алексеевича Пальчикова.

У сына Никиты глаза были дедовские, светлые, водянистые, и поэтому чувство вины, эту родовую черту Пальчиковых, ничто не обесценивало, вина на лице сына смотрелась как настоящая, не фигуральная.

Мысль о детях бывала тоже плохой. Пальчиков стал тревожиться, что с ними может произойти непоправимое, он боялся, что кто-то из детей может погибнуть. Без таких детских смертей нет мира, нет горестного баланса в нем. Порой Пальчиков ловил себя на гнусной мольбе, на выборе: если вдруг кому-то из двух моих детей все же нельзя избежать трагической участи, пусть спасется Никита. От этой отчаянной мысли Пальчиков чувствовал себя сумасшедшим. Но именно от этой мысли он начинал нежнее смотреть на дочь. Пальчиков спрашивал себя: что если будет наоборот, сможет ли он тогда любить дочь, оставшегося ребенка? Вдруг не сможет? Что тогда?

Дочь Лена иногда недоумевала: «Почему, папа, ты прощаешь Никите? Мне бы не простил». Пальчиков отвечал: «И тебя бы простил, но ты не сделаешь такого». «Нет, меня бы ты отругал», – говорила дочь. Казалось, что она рвалась уточнить: «Если я не делаю дурного, то меня и любить не обязательно?» Она выросла обидчивой, но не мстительной. Ей нравилось понимать, что никакая несправедливость по отношению к ней не подтолкнет ее к дурному поступку. Ей могло казаться, что отец любит ее за примерное поведение, а младшенького без причин. Дескать, ее он любит как дочь, а Никиту как ребенка.

Уравновешенные люди, думал Пальчиков, преодолевают плохие мысли резонами и запретами. Размышлениями: это не я плохой человек, плохие мысли приходят ко мне, именно приходят, они чужды мне, они привнесены порывом случайного ветра. Гони их, и они не причинят зла. Однако они приходят именно ко мне. Они знают, на какую почву им надо упасть, чтобы прорасти. А ты все равно гони их, гони...

И потом, рассуждал Пальчиков, разве страшные мысли – плохие? В страшных мыслях зияет мучительная стерильность. Страшные – не плохие. Плохие – это мысли о разделе имущества, угрозе качеству жизни.

Не потому ты плохой человек, думал Пальчиков, что мысль об отце у тебя плохая, что мысль о детях – страшная. Ты плохой человек, потому что стеснялся щеки отца, стеснялся простоты матери перед друзьями, стеснялся убогого родительского жилища. И теперь ты можешь вдруг устыдиться за сына и дочь, а не сына и дочери.

17. Коллеги

Коллега Писемский, когда ломали голову над производственной задачей, вдруг раздраженно сказал: «Ну, что поможет? Ну, не молитва ведь?»

Пальчиков с Писемским последнее время спорили на религиозные темы, по сути – о смерти. Писемский, казалось, и смерти не боялся. Он подчеркивал, что он не атеист, а материалист, что атеисты так или иначе размышляют о Боге, он же, как материалист, от глупостей отмахивается. Писемский говорил, что хочет жить в нормальном обществе с понятными человеческими ценностями, с честностью, умеренностью и удовольствием от окружающей среды, семьи, работы, будущего. У него была реалистичная цель – уехать из России. Он возражал против того, что рано или поздно будет тосковать без России. Он никогда не будет тосковать по абсурду, патриотизму и коррупции. Пальчиков виделся ему разумным, но старым, поэтому начавшим думать о душе. Писемский не перековывал Пальчикова, не рекомендовал нужные сайты, оппозиционные блоги.

Писемскому было понятно, что Пальчиков не меньше, чем он, видит вечную нелепость русской жизни, но отвращения она у Пальчикова почему-то не вызывала.

«Тайга горит», – говорил Писемский о несурзных пожарах в Сибири, о вселенском масштабе российской безалаберности.

«Потому что мы здесь сидим – в мегаполисе. А надо там быть – и нам, и нашим сыновьям, и нашим потомкам, шаг за шагом облагораживать просторы», – отвечал Пальчиков с необходимой иронией.

Пальчиковская шутливость, видел Писемский, была какой-то червильной. Писемского порой озадачивало, что у Пальчикова мог вызвать раздражение бытовой пустяк, а намеренное кощунство оставляло Пальчикова как христианина внешне безучастным.

Писемский помнил, как однажды сказал Пальчикову о снисходительной осведомленности иудеев о Христе, о подлинном знании Христа иудеями. Иудеи-то, дескать, знают, что это был за человек, знают, что это был сугубо еврейский тип, тип еврейского юноши. Таких достаточно среди евреев. Таких евреи нередко встречают среди соплеменников. Евреи не обманываются в евреях, они своих видят как облупленных. Другие народы целиком еврея не видят. Отсюда, собственно, и произошло христианство. «Но если нравится, – добавил Писемский, – пожалуйста, верьте».

Писемский увидел, что после этих слов Пальчиков стал мягким, мягкотелым. Он сказал лишь Писемскому: «Опять вы о своем – о толерантности».

«Да, – сказал Писемский. – Как бы сейчас не было модно кривиться от толерантности, но только цивилизованность, только терпимость, только общий закон могут позволить жить на земле спокойно и по-людски».

«Но главное не это, – произнес Пальчиков. – Главное, что среди евреев много людей, похожих на Христа. Так вы сказали».

Писемский хотел, кажется, поинтересоваться: «А не были ли вы, Андрей Алексеевич, раньше антисемитом. Я вижу, что сейчас вы не антисемит. А не были ли?»

Если бы Писемский так спросил Пальчикова, Пальчиков бы ответил: «Вы знаете, был. Но со мной произошла невероятная метаморфоза. Я стал любить евреев. Я превратился в неисправимого юдофила. Мне женщины теперь стали нравиться еврейки. Мне нравится еврейский тип красоты. Мне нравится дыхание еврейки-красавицы. Я уже не говорю о воле еврейских женщин и теплоте еврейских бесед. Мне нравится, что Богоматерь была еврейка, что евреем был Христос. Я знаю одно: без евреев нашего мира не будет. Он будет не другим, его вообще не будет. Евреи – это цемент мира». «Вы лукавите?» – спросит Писемский. «В том-то и дело, что нет, – скажет Пальчиков. – Евреи сами себя не знают. А не будет нашего мира без евреев потому, что евреями были Богоматерь и Христос».

Разговоры Пальчикова с Писемским иногда слушала Нина, тоже сотрудница из пальчиковского отдела. Она была молодая, с красивым телом и некрасивым лицом, прикрываемым прядями волос. Пальчиков не знал, союзница она ему или нет. Она не занимала чью-либо сторону. Она напряженно и участливо молчала. Пальчикову казалось, что вот-вот и Нина закричит. Пальчикову хотелось, чтобы она закричала, не закричала, а изрекла бы безапелляционно: «Писемский! – возвысила бы она голос. – Если вы человек умный, то вы увидите, что Бог есть. Если же Вы человек добрый, то вы поймете, что Бог – Христос». Писемский, конечно, тут же парирует: «Если вы человек умный, то вы увидите, что Бога нет. Если вы добрый, то поймете, что Христос не Бог».

Пальчиков думал, а действительно ли Нина родная ему душа, не родная ли она душа Писемскому? Возможно, Нина другая, возможно, она влюблена в Писемского, а Пальчиков вызывает у нее не жалость, а презрение. Когда же ее прорвет? – думал Пальчиков. Иногда Нина решительно поднимала глаза на Пальчикова, как будто от него требовалось, чтобы он ее наконец-то узнал или вспомнил, даже если ему и нечего было вспоминать. Иногда она бросала Писемскому: «А Европа не горит?»

Пальчиков думал, что с этой женщиной было бы хорошо говорить загадками. Он: «Это не любовь, это что-то другое». Она: «Что же?» Он: «Может быть, ненависть. Может быть, великодушие». Она: «Гм». Пальчиков говорил бы Нине, что ему хочется, чтобы именно Писемский увидел бы Христа наяву. У самого Пальчикова этого не получится. И у Николая, еще одного пальчиковского менеджера, сидящего тут же, в общем офисе, не получится. А Писемский может увидеть. Писемский был обычным евреем – неуверенным снаружи и уверенным внутри. Пальчиков считал, что еврею придает уверенности его еврейство. Особенно это видно в наше глобализированное время. Евреи вроде бы в авангарде современного вавилонского смешения народов, и при этом они по-прежнему самоценны. Писемский не подсчитывает грехи, не сортирует их, не просит прощения. А я прошу, – думал Пальчиков.

Однажды Пальчиков накричал на менеджера Николая – тот по понедельникам после уикэнда опаздывал на работу, являлся с похмельным амбре, а тут еще с утра включил какую-то рок-группу на полную катушку. «Еще раз опоздаете, потребуемую вашего увольнения», – сказал Пальчиков. «Я что, не человек, я что, не такой, как Писемский?» – сказал Николай обидчиво, затравленно. Пальчиков почувствовал, что Николай хотел сказать другое: «Я что, русский, поэтому вы ко мне так относитесь? Но вы ведь тоже русский, Андрей Алексеевич».

Пальчиков подумал, что Николай прав, потому что он, Пальчиков, порой подсмеивался над Николаем в присутствии Писемского и Нины, подсмеивался над его простодушием. Николай комично жаловался на жену, на дочь, на сестру, говорил о своих домочадцах с неуместной, ненужной, казалось, по-настоящему угрюмой, не театральной разоблачительностью. В который раз Пальчиков твердил себе: «Надо держаться с людьми сугубо формально. Надо опираться на деликатность, отдаленность людей друг от друга, нашу вынужденную холодность, наше одиночество. Не смей обижать Николая».

18. Шопинг

В субботу Пальчиков опять отправился по магазинам. Ему показалось, что он даже проснулся сегодня с радостью (без необходимости рано, чуть ли не выспавшись) – в предвкушении шопинга. Он тут же призвал себя к благоразумию, к стыду. Он сказал в сердцах: «Избавь меня, Господи, от расточительности». Он понимал, что шопинг – это трагикомическое занятие. Кто не знает, что не к лицу и не по летам шопинг русским мужчинам? Мужчины ли, дескать, они после шопинга? Духовною ли жаждою томимы, те ли они, головастые ли они, тонкие ли, великодушные ли – после шопинга? Если бы они покупали третий перфоратор в дом или велюровые коврики в автомобиль, это было бы еще не так симптоматично, а они ведь покупают пятую жилетку на пузо и четвертые часы на руку.

Пальчиков думал, что теперь ему не хватает (не теперь, а на будущее лето, словно без этого и будущего лета не будет) светло-серых слаксов, почти прямых, не облегающих, сдержанно-валяжного кроя, таких, какие он видел в бутике «Кашемир и шелк», пару месяцев назад. Тогда они показались ему чрезвычайно дорогими, ненужными, а теперь он готов был на них раскошелиться. Он вспоминал их плотную мягкость и другого, болотного, цвета отвороты у штанин и клапан заднего кармана. Он думал, что новые вещи ему необходимы не сами по себе, не для эстетического чувства, а для полноты мироощущения, для полноты одиночества. Для такой полноты одиночества, которая спасает от самого одиночества, словно делает это одиночество осмысленным, материальным, спелым, рельефным. Любая полнота, законченность и исполненность дышат счастьем. Пальчикову важна была одежда к месту и для места, для людей, общества, молчания, культуры. Добротная одежда, считал Пальчиков, благородно одушевляет человека. Нагота даже самого безупречного тела примитивна, низменна, лжива. Качественные вещи приравнивают человека к совершенствам мира, соотносят с цивилизацией, приглашают на пир во время чумы. У кого-то Пальчиков читал, что старик должен носить хороший твидовый пиджак.

Сначала, когда на Невском еще было свежо и пустынно, Пальчиков зашел в Гостиный двор, в Галерею высокой моды. Он надеялся на распродажный отсек. Но распродажный отсек с брендовыми вещами, где Пальчиков недавно за полцены приобрел пиджак Daks и туфли Moreschi, более не существовал, это помещение задрапировали рекламными аншлагами. Пальчиков привык покупать вещи с магическими ярлычками «sale», будто в них таилась невероятная добыча. Обидевшись на Галерею высокой моды, Пальчиков отправился к обычным отделам мужской одежды Гостиного двора. Линии Гостиного двора были длинными и какими-то прелыми. Покупателей в ранний час можно было посчитать по пальцам. Вкрадчивых, информированных, а ля бутиковских продавщиц не было вовсе. В одном из отделов виднелась пара стоек с sale – костюмы, пальто, брюки. Ни один костюм (особенно с 70-процентной скидкой) Пальчикову и близко не подошел. Из всего, что ему понравилось, он зарезервировал на часик кашемировые брюки – из-за их светло-синего цвета. Он знал, что вряд ли за ними вернется, во всяком случае, сегодня: расходовать финансовый боекомплект в начале шопинга на необязательную банальность – значило бы загубить шопинг на корню.

Он подался восвояси – в Галерею высокой моды. Здесь было безлюдно, темно, сквозисто. Женщины-продавщицы, испытующе поглядывающие из закоулков, кажется, узнавали его, узнавали в нем блуждающего завсегдатая. Пальчиков прошел мимо великолепной Smalto, мимо Ferge, мимо Yves Saint Laurent, мимо Moschino, мимо неуместного здесь Azzaro, прикасаясь к вещам, словно похлопывая по плечам старых товарищей, – к Daks. Он любил Daks после кепки, которую носил уже пять лет. Здесь он увидел переливчатые вельветовые брюки того же светло-синего цвета, что и у отложенных ранее в другом крыле Гостинки. Продавщица подыграла его интересу, согласившись, что цвет у брюк необычный, брюки недорогие, из новой коллекции придут вельветовые на следующей неделе по высокой цене. Он сказал, что ему нравится крой Daks, что он покупал у них даксовские брюки. Он померил вельветовые небесно-синие. Ткань уютно ластилась к ногам. В них было приятно садиться и покойно сидеть. Но они показались ему коротковатыми, и, главное, он не заметил в глазах продавщицы, что брюки на нем ее впечатлили, хотя она и при-

нялась уверять, что брюки ему идут, сама посадка и, конечно, цвет, только носить их нужно с другими туфлями, те, в которых он теперь, не сочетаются с этими брюками. Он попросил отвесить брюки на часик, а пока, дескать, он походит еще, присмотрится.

Внизу на первом этаже Гостинки Пальчиков чуть не купил крестик с цепочкой – золотые. На них распространялась тридцатипроцентная скидка. Пальчиков давно думал о золотом крестике с цепочкой. Теперь от покупки его остановило то, что от сегодняшнего шопинга он ожидал куда более насущного и габаритного результата. Он вспомнил о слаксах. Он направился через Невский проспект, к Пассажу. Но в Пассаж не вошел, а прошествовал в Гранд Палас. Здесь, в стеклянном атриуме, было умиротворенно, как во дворце у одинокого вельможи. Пальчиков перекинулся вежливостями с продавщицами в *Vogner*, в *Ferragamo*, в *Burberry*, уточнил в обувной *Mania Grandiosa*, есть ли туфли на подошве гудиер. Затянутый в костюмчик юноша-продавец в ответ обвел рукой с пухлой манжетой и розовой запонкой целую полку. Пальчиков почти везде вопрошал: как они помнят все эти лейблы? Тут забываешь, кто такой Моцарт, а вы помните всяких-разных Корнелиани и Кортигиани. Он думал, что кто-нибудь ему скажет, что фраза «Забываю, кто такой Моцарт» – кажется, старая кэвээновская шутка. А он поправит с удовольствием: не старая кэвээновская шутка, а шутка старого КВНа, не нынешнего танцевально-эксцентричного, а прошлого – вербального, литературного. Но продавцы-консультанты говорили, что это их работа – помнить, чем славен Корнелиани и чем Кортигиани. «Да и вы ведь их знаете», – решила раскусить жеманность мнимого покупателя строгая подросток-продавец. Пальчиков чуть не обиделся, но самокритично прикусил язык.

Он дошел до Владимирского Пассажа. В стоковом «День и ночь» резервировал еще одни штаны, третья за день, – летние, зеленоватые, какие-то низкие, что ему нравилось, опять словно куцы, но нарочито, стилистически куцы. На втором этаже Пальчиков любовался вещами *Transit*. Продавщица (кажется, из тех, которые плохо запоминают людей) видела, что ничего транзитовское он не купит, ибо чересчур любовался этими куртками и сумками, интересовался о скидках; продавщица стала нахваливать ему другой, экономичный, бренд. Из салона напротив на Пальчикова озиралась знакомая, экзальтированная продавщица. Экзальтированной она показалась ему тогда, когда он купил у нее костюм *Zilli* (конечно, контрафактный). Она всплескивала руками и качала головой и цитировала то ли Тома Форда, то ли какого-то философа. Она искренне твердила, что поражена, как сел на него костюм: ни убавить, ни прибавить. Когда Пальчиков расплатился, она стала говорить, что ее мечта, конечно, не шмотками торговать, а в воскресной школе детишкам Закон Божий преподавать. У нее лицо было с тиком, и Пальчиков ее начал бояться, уже при знакомстве сторониться. И теперь он отворачивался от ее отдела, чувствовал, что она магнетически, зазывно глядит ему в спину. Она помнила тот костюм. Она любила тот костюм на нем. Она не понимала, почему этот мужчина-покупатель не подходит к ней, почему отводит глаза. Она не могла поверить, что костюм его разочаровал. Пальчиков хотел ей объяснить: не беспокойтесь, костюм мне очень нравится, хоть и надевал я его всего лишь один раз. Но я почему-то страшусь вас, мне кажется, что следующая вещь, которую я у вас вдруг, под вашим нажимом все-таки приобрету, окажется отвратительной, бессмысленной, вследствие чего и прекрасный костюм *Zilli* потеряет для меня свою привлекательность.

По Галерее и Стокманну Пальчиков бродил утомленно. Он решил ехать домой без покупки, с приятным самоуничижением, с чаемым благоразумием. Он позвонил сыну – напомнить, что ждет его сегодня к себе. Никита сказал спросонья: «Папа, давай я приеду завтра». Пальчиков ответил: «Хорошо», не понимая, сказал с досадой или с обновленной радостью. Он решил: если с сыном не нужно сегодня встречаться, добыть шопинг до конца. Он перекусил чизкейком с эспрессо и поехал по Старо-Невскому. Он заглянул в *Bally*, заглянул в «Кашемир и шелк». Здесь ему сообщили, что теперь не время для летней коллекции, а памятные слаксы он может еще попытаться застать в их стоковом магазине на Литейном. Он зашел в *JeansOnly*, зашел в *Сerуti*. Здесь уже не помнили, что на прошлой неделе он приобрел у них ремень вполцены. Он думал, что продавцы вообще не помнят тех, кто покупает у них что-либо за полцены.

Он поднялся по ступенькам в Corneliani и, преодолевая смущение от итальянского шика, еще раз громко посетовал о Моцарте, о котором, дескать, забывает. Изысканная девушка, кажется, даже поверила его словам, а молодой человек, видимо, старший продавец, в узком пиджачке остался вежливым и равнодушным. Пальчиков попросил вельветовые брюки крупного рубца. Вельветовые брюки девушка откуда-то принесла, но не крупного рубца. Пальчиков засеменил к выходу, стараясь не семенить, покинуть, а не ретироваться.

Усталость, раздражительность, презрение к своим потугам вернулись. Пальчиков хотел купить хоть что-то. Купить, чтобы достичь нелепой цели, закрыть тему дня. Вкусить-таки глупости сполна, выдать тщеславие за упрямство.

В «Пакторе» на Суворовском вельветовых брюк крупного, зимнего рубца тоже не оказалось. Продавщицы были в замешательстве по поводу крупного рубца. Они не понимали, какой именно крупный рубец нужен клиенту. Они думали, не шутит ли он: говорит о крупном рубце, как о соли крупного помола. Они считали, что крупный вельветовый рубец вообще-то смотрится не презентабельно, по-плебейски. Быть может, в последнее время изобрели какой-нибудь изящный крупный рубец, но они о таком пока не слышали. Пальчиков померил толстые замшевые перчатки на меху темно-синего, почти черного цвета. Пальчиков вспомнил, что у него мерзли пальцы зимой в перчатках на шерстяной подкладке. Он думал, что на меховой подкладке от холода пальцы постанывать не будут. Перчатки он тоже не купил и отправился на Литейный. Он шел по Литейному уже в сумерках и никак не мог дойти до стокового «Кашемира и шелка». Он ощущал свою измочаленность как исчерпанность. Наконец он нашел утлый магазинчик «Кашемира и шелка». Летних слаксов там не было. Цены кусались. Пальчикову приглянулась лишь кепка Prada. Он выглядел в ней молодежьим европейцем, но не французом и не англичанином, а каким-то восточным европейцем, скорее, поляком. Кепка стоила баснословных денег. Но у Пальчикова уже чесались руки, деньги жгли ляжку. Он уже полез за портмоне – с отчаянием и выморочной, какой-то остатней радостью, как вдруг чем-то больно укололся, уколел мизинец. Он увидел, что укололся плохо закрепленной магнитной биркой с кепки. Он пожаловался продавщице, показал ей палец с капелькой крови. Но засмеялся, вспомнив чеховского «Хамелеона», укушенный собачонкой палец золотых дел мастера Хрюкина, поднятый им для всеобщего обозрения.

В темноте из последних сил Пальчиков добрал до Сенной. Здесь в торговом центре располагался еще один магазин сети «Пактор». Пальчиков попросил выложить перед ним перчатки. Продавец сделал это с удовольствием, потому что увидел покупателя измотанного, обреченного, готового на всё. Пальчиков нашел точно такие же перчатки, как и на Суворовском, замшевые, на овчине. Он померил их, ощутил их тесную теплоту, сказал: вот то, что я искал к моей дубленке. Парень-продавец подтвердил: хороший выбор, перчатки качественные, финские, известной марки Sauso. «У вас какого цвета дубленка?» – поинтересовался продавец. «Черного». – «А мех?» – «Светло-коричневый». – «Темно-синие перчатки прекрасно подойдут». – «Действительно, не должно же быть все одного тона, как в армии». – «Вы правы», – продавец заулыбался.

Пальчиков старался быстрее, бочком покинуть торговый центр. Он вспомнил, что именно здесь несколько лет назад столкнулся лицом к лицу с Катей. Они тогда еще жили в одной квартире и не разговаривали друг с другом. В торговом центре они встретились глазами и, не кивнув друг другу, разошлись в разные стороны – угрюмые, враждебные, чужие, чуждые. Пальчикову было неловко, что Катя застучала его за шопингом. Ему было стыдно, что он не нашел в себе силы сказать ей «Здравствуй». Ему было стыдно и теперь, потому что Катя теперь болела, была одна, а он шлялся по магазинам. Несчастный шмоточник, – тосковал Пальчиков. – Неужели это твое сокровище? Неужели здесь твое сердце? Сейчас и здесь ты себя утолил. А что будет потом, не здесь? Как же ты будешь справляться с самим собой, чем будешь утолять жажду?

19. Соседи

Володя, сосед, оказывается, умер. И умер давно. Пальчиков узнал об этом от старшей по подъезду. Та пришла с напоминанием о трубах: трубы будут менять. Он спросил: все ли жильцы будут

менять? «Все согласны, – сказала старшая. – Вас не могу заставить». Пальчикову не хотелось менять трубы, он спросил: «А Володя тоже будет?» – «Какой Володя?» – «Сосед». – «Вы что?» – произнесла старшая с насмешливым изумлением. «А что такое?» Старшая поняла, что Пальчиков не юродствует. Ее изумление пропало, насмешливость стала досадливой, гадливой. «Володю похоронили полгода назад», – старшая с праведной пристальностью оглядела Пальчикова. Она закачала головой – с судорожным бессилием. Она и он думали об одном и том же – о разрозненности современных людей, о том, что они не знают, с кем поблизости живут и кто рядом с ними умирает.

Пальчиков предполагал, что Володю сыновья отправили в дом престарелых, а квартиру отца начали сдавать. В последнее время сквозь стену из квартиры Володи доносились иные, не Володины шумы. У Володи лаяла его сумасбродная такса. Других звуков от Володи не было. Такса многих не любила, она не любила и Пальчикова. Она бросалась к его ногам, цепляла лапами брюки, жаждала цапнуть, но не решалась. Может быть, потому, что Володя приговаривал: она не укусит. Володя ее не стыдил, не ругал, не стеснялся ее агрессивности. Казалось, он был доволен псиной, казалось, он думал, что люди должны считаться с дурным характером его собаки. Пальчиков слышал, что такса обозлилась на окружающий Володю мир после смерти своей хозяйки, жены Володи, что при хозяйке она была другой, сонливой и безразличной. Когда Володя оставлял ее дома и уходил, собака лаяла безостановочно. Однажды она пролаяла три дня и три ночи. Потом Володю Пальчиков видел, а собаку уже не слышал. Пальчиков подумал, что Володины сыновья усыпили собаку – Володя не мог за ней ухаживать, Володю парализовало, и он, скрюченный, еле двигался, опираясь локтем на костыль. Иногда Володя падал и лежал с открытыми, мутными, тяжелыми глазами – у парадной, у лифта, на лестничной площадке. От него пахло слабоалкогольным баночным джин-тоником. На водку, вино и даже пиво у Володи сил не осталось. Володя прекратил здороваться с Пальчиковым, когда Пальчиков отказал Володе в очередных ста рублях. Пальчиков сказал Володе, что тот и так задолжал ему больше тысячи. Даже когда Пальчиков порой поднимал валявшегося Володю, Володя сердито молчал. Володя жаловался новым знакомым, когда кляничил у них на выпивку: «Я полковник и военный летчик и даже катапультировался, но пенсии мне с собакой не хватает». Володя говорил, что один из его сыновей – наркоман. Пальчиков встречал Володиных сыновей, но не мог определить, кто из них наркоман. Оба были тихие и хмурые, один, высокий и белесый, ездил на машине, второй, коренастый и лысоватый, степенно прихрамывал.

Однажды Пальчиков вынул из своего почтового ящика письмо от матери Володи с Украины. Письмо было так и адресовано: «соседям Володи». Мать просила Володиных соседей сообщить ей, жив ли ее сын, потому что три года ни от него, ни от его детей, ее внуков, она не получала вестей. Пальчиков понял, что мать не верит, что Володя умер, знает, что Володя жив, что его не убили черные риэлторы. Мать лишь хочет, чтобы Володя устыдился и написал ей, хочет, чтобы Володе передали, что она, его старая мать, еще коптит белый свет, что Володеньке, ее первенцу, есть к кому прижаться, есть еще мать, которая его приголубит. Пальчиков тогда вручил письмо низенькому сыну Володи. Пальчиков поинтересовался: «А Володя дома?» и услышал Володин голос из дальней комнаты: «Дома». Пальчиков говорил о письме без недоумения, напротив, с радостью. И Володин отзыв был радостным, прощающим. Сын Володи, принимая письмо, осведомленно покряхтел, сказал: «Спасибо, понятно».

Пальчикову было стыдно от другого письма. От письма соседки своей покойной матери. Соседка писала вежливо, извиняясь. У нее был ровный, школьный, крепкий почерк. Она писала, что часто заходит на могилку тети Гали, матери Пальчикова, что поправляет, поднимает могильный холмик, не дает ему оседать, что весной посадила на холмик у креста красные и белые бегонии, что цвели они до осени. Она писала Пальчикову, что все хорошо на могилке его матери, жаль только, нет оградки. Теперь у всех оградки, а у тети Гали нет. И стоит-то оградка теперь не так дорого, все теперь ставят. Если бы он выслал деньги на оградку, она, эта сердобольная соседка, дескать, поставила бы оградку. Чтобы всё было у тети Гали как у людей. Потому что тетя Галя была хорошая. Пальчиков хотел ответить, что скоро выберется на родину в отпуск и обязательно поставит оградку. Но так и не написал и конверт с адресом соседки потерял.

Он помнил, как ездил хоронить мать. Он напился, как получил сообщение о кончине матери. Он продолжил пить в аэропорту. Рейс задержали. Он пил в ресторане аэропорта с каким-то цыганом. Сквозь скорбное, пьяное воодушевление Пальчиков боялся, что цыган его обчистит, что заберет деньги, приготовленные на похороны матери. Цыган засмеялся: «Я тебя не ограблю, не переживай. Ведь тебе мать хоронить». В самолете Пальчиков спал, прилетел трезвым, трясущимся, горестным, сосредоточенным. Похоронили мать быстро, машинально, в солнечный, свежий день. Люди были довольны – сын успел на похороны, привезенных им денег хватило на всё, на щедрые поминки в кафе. Не хватило на оградку, но оградку ставят позже. Улетал Пальчиков из родного города с непониманием будущего, напрасным, словно досужим позором. Через год Пальчиков вернулся продавать материнскую квартиру. Квартиру продал, кровно обидел племянников, которые рассчитывали на эту жилплощадь, а получили лишь часть вырученных за квартиру денег. Они убеждали его: «Тебе ведь не нужна эта квартира». Он говорил: «Моим детям на жизнь теперь деньги нужны. Брату бы оставил...» Он недоговаривал, но племянники понимали недоговоренное: «Брату бы оставил. А вы его не уберегли». Он видел их немое сомнение: «И брату бы не оставил. Хотя...» Он слышал, как племянники, не таясь, возмущались дядей не из-за квартиры (будто бы), а из-за того, что квартиру-то он продал, а у матери на могиле так и не побывал, не нашел минутку...

Теперь из Володиной квартиры среди ночи доносились отголоски семейного неблагополучия, отчаяния, неприязни. Крики были истеричными, надрывными. Ругань возникала неожиданно и длилась недолго. Мужские крики были сильнее и мучительнее женских. Иногда Володе казалось, что женских криков вообще не было, что кричали мужчины и жили там только мужчины. Иногда рушились какие-то предметы, хлопала хилая дверь. «Они переубивают друг друга, – думал Волода о новых соседях. – Пусть дольше, ненасытнее, душераздирающе кричат, иначе действительно схватятся за ножи». Сначала Пальчиков закрывал голову подушкой, а потом стал прислушиваться к крикам, ждать их. Иногда все-таки кричала женщина – осудительно, но как ребенок. Кажется, эту женщину однажды утром Пальчиков встретил в общем коридоре и ехал с ней в лифте. Пальчиков слышал мужской возглас: «Юля!» Эта Юля, закрывая дверь квартиры, отозвалась: «Я опаздываю». У Юли были немые волосы и припухшие пальцы. В лифте на не знакомого ей Пальчикова она почему-то взглянула мстительно, с чувством реванша. Пальчиков подозревал, что потом именно Юля как-то перед рассветом звонила по домофону в его квартиру. Это была целая серия издевательских, неотступных звонков. Он не брал трубку домофона, а Юля сладострастно продолжала натягивать номер его квартиры, только его. Пальчикову казалось, что она не перепутала его квартиру со своей, что набирала намеренно его номер. Чтобы попасть в дом, ей достаточно было позвонить в любую квартиру, сразу в несколько квартир, но она раз за разом звонила ему. Ранее его квартиру, бывало, путали многочисленные таджики со съемной квартирой своих земляков, живущих справа от Пальчикова. Но таджики звонили коротко и робко и не позднее часа ночи. А здесь – на рассвете. И звонки такие злонамеренные, конфронтационные, захватнические. Что этой Юле было нужно? Почему она решила досаждать ему, незнакомому человеку, соседу своего сожителя?

Однажды Пальчиков проснулся от нового застенного голоса. Пальчиков отчетливо услышал всю фразу, хотя говорили, вероятно, негромко. Говорила женщина: «Слезы не идут. Звала потом ее всю ночь. Думала, что вот сейчас встанет и придет». Дальше Пальчиков не расслышал: встала ли, пришла? Неужели это опять о Юле говорили, от нее ждали, что встанет и придет? И кто эта новая женщина и что случилось с Юлей?

Пальчиков думал о самоубийственной разобщенности современных горожан. Соседи жили отчужденно и не говорили друг с другом. Они уставали встречать одних и тех же примелькавшихся незнакомых людей, живущих у себя под боком. Как это тяжело – сталкиваться с людьми, которым ты ничем не обязан! Если ты ничем им не обязан, ты не обязан их видеть и слышать. Ты вправе не терпеть хоть кого-то в этой жизни – хотя бы незнакомых людей. Любезность, дескать, странна, подозрительна, не нужна.

Пальчиков видел, что и таджики как соседи научились вести себя по-русски. Хотя – не здороваясь, отворачиваясь, напряженно помалкивая – испытывали большую, чем русские соседи, неловкость. Сразу после очередного русского бунта, показанного по телевидению, мигранты-соседи проявляли почтительность, пропускали вперед в лифт. Оказавшись в чуждой среде, далеко от родины, молодой таджик чувствовал отчаяние как свободу. На сырой питерской улице он чувствовал себя в центре враждебного мироздания. Он иногда не мог, думал Пальчиков, уступить тебе дорогу, если ты сталкивался с ним лоб в лоб, не мог, хотя и помнил о благоразумии и уважительности, не мог, потому что из двух людей ему теперь было хуже, а тебе лучше. Терпеть должен тот, кому лучше.

Соседи, думал Пальчиков, не любят его, не улыбочивого и необходимого, не любят больше, чем таджиков. Не любят, что он хорошо одевается, а живет бирюком, без жены и без любовницы, ходит с портфелем, а машины не имеет. Не любила Пальчикова дворничиха Валя, которую в силу ее прямодушного мещанского нрава народ остерегался. Пальчиков же перестал с ней здороваться. Год он с ней здоровался чуть ли не лстыиво, а она ему отвечала по привычке сквозь зубы. Перестал он с ней здороваться, когда она трижды не ответила на его приветствие. Сначала он подумал, что Валя не расслышала его «Здрасьте» или не захотела расслышать (может быть, он буркнул). На второе утро он поздоровался с Валей громче. Опять ответа не последовало. И на третье утро Валя промолчала. Пальчиков перестал с ней здороваться, вскоре Валя это заметила. Она стала поглядывать на него исподлобья с каким-то смешанным, слащаво-подобострастным и угрожающим любопытством. Кажется, она не связывала его неприветливость со своей неотзывчивостью. Кажется, она не помнила, что трижды не прореагировала на его обращение. Кажется, ей хотелось выставить Пальчикова неприятным человеком, невежей. Кажется, она думала (и теперь уже сплетничала на сей счет), что все странные умники, все одинокие мужики, все женоненавистники только выглядят культурными, а на самом деле – хамы. Не умеют перекинуться с соседями двумя словами. Он думал, что если бы была жива его мать, она бы стала заискивать перед Валей, она бы стыдила сына и просила повиниться перед дворничихой. Мама бы говорила, что Валя труженица, что она внуков поднимает, что она грязную работу для людей делает, что на ней мусоропровод. «Валя считает, что ты с ней не здороваешься, потому что она дворничиха, потому что от нее плохо пахнет». Пальчиков бы возразил матери: «Я не потому с Валей не здороваюсь, что от нее плохо пахнет. Я уважаю ее труд. Это она со мной не здороваётся. Ей важно, чтобы каждый ей кланялся – ведь она в нашем дворе копаётся, словно в нашей подноготной». Пальчиков удивлялся, что дворничиха Валя, по всей видимости, ни разу не застала его идущим с Дарьей. Хотя ничего удивительного в этом нет: шли они с Дарьей вдоль дома вместе лишь пару раз глубокой ночью.

И теперешний его дом, и прежний, где Пальчиков жил с Катей, как бы долго он в них ни обитал, не вызывали в нем чувства родного места. Это чувство осталось в детстве. Он думал, что надо продать квартиру и уехать в деревню; там, в деревне, деревенское пристанище, быть может, станет родным. Пальчиков помнил, что запахи жилища были хорошими, теплыми, вкусными, какими-то целомудренными, рождественскими лишь в квартире у тетки, у бабушки Сани, иногда в материнской квартире, когда там отсутствовал пьяный отец. Такой трогательный, чистый домашний запах теперь нараждался в квартире дочери.

Пальчиков думал, что когда начнет продавать свою квартиру, нарвется и на черного риелтора. Однако сразу распознает в нем черного, улыбнется этому черному пронизательно, и черный риелтор, усмехнувшись Пальчикову в ответ тоже понятно, как равному, медоточиво ретируется. Пальчиков видел однажды черного риелтора по телевизору, плешивого, простецкого. Тот на следственном эксперименте рассказывал, как убивал своих несчастных клиентов. Он убивал их ударом кухонного молотка для отбивания мяса. Он то и дело вставлял в свою речь: «Всё». Он боялся договаривать: «Всё, конец! Конец не только убитым мною, конец и мне, конец жизни. Всё!» Он рассказывал: «Я подошел к нему. Всё. Ударил по голове. Всё. Не дышит, не живой. Всё».

Пальчиков помнил, как умер недавно пятидесятилетний одинокий мужчина. Он пригласил домой проститутку с сайта знакомств. Между ним и ею произошла ссора. Проститутка лукаво

примирилась с одиноким. Иди, – говорит проститутка, – залезай в ванну, сейчас и я приду, наполни ванну, чтобы нам согреться. Проститутка была из юных, из новых, горделивых, обидчивых и обиженных. Когда одинокий лег в ванну, она опустила в воду оголенный провод, воткнутый в электророзетку, провод от фена, который она срезала. Она не убила одинокого током, она добила одинокого ножом.

Пальчиков думал о своей смерти: когда он умрет, то кто-нибудь из соседей, жильцов дома, памятью понурость и нелюдимость Пальчикова, скажет: «Жалкий он был человек, этот наш сосед Пальчиков. Жалко его». Пальчикову хотелось, чтобы этому жалостливому соседу было жалко его, умершего Пальчикова, не только как конкретного, странного, никчемного соседа-Пальчикова, но и как человека вообще, как одного из нас, как каждого из нас.

20. Любовь

Пальчиков так и не решил, любит он или не любит, любил он или не любил. Он убеждал себя: не надо идентифицировать любовь, не надо сомневаться в чувствах, надо знать, что это любовь, что ты любишь. Не надо высот любви, безумия, угара. Надо довольствоваться тихой любовью, слабой любовью. Слабая любовь ничем не отличается от бурной. Надо признаваться в любви, как бы смешно ни звучали эти признания из уст пятидесятилетнего, путанного субъекта. Без этой любовной экспрессии, без изреченного «люблю» можно обходиться в молодые годы. Пятидесятилетнему не обойтись – пятидесятилетний задохнется. Смотри: многие твердят о любви во всеулышание, честно и не сгорают со стыда. Я должен твердо говорить, что люблю сына, дочь, бывшую жену, внука, люблю моих умерших: мать, старшего брата, тетю, отца, бабу Саню. Я любил Дарью. За кого молюсь, того люблю. Я не доверял слову «любовь», потому что во время интимной близости инстинктивно восклицал: «Моя любимая». Я полагал, что эти восклицания произносились похотью, я называл в порыве страсти моей любимой не только Катю, я называл во хмелю, оплошно, легковесно, по инерции «моими любимыми» безвестных партнерш, безымянных проституток.

Дарья любила говорить о любви. Она говорила о любви обыденно, зато не говорила о погоде, сериалах, фитнесе, шмотках. Дарья говорила о любви так, как будто видела ее повсеместно и каждодневно. Дарья говорила о любви для себя, она не нуждалась в собеседнике, не нуждалась в слушателе. Ей интересно было, когда Пальчиков говорил о Тютчеве и политике – тоже для себя.

Напротив, жена Катя изредка, от восторженности, спрашивала его: «Ты меня любишь?» Пальчиков говорил: «Обожаю». «Нет, ты меня любишь?» – повторяла она. Иногда у него получалось беззвучно, полупшепотом, как у больного: «Люблю». Катя улыбалась, слыша правду. «Вот, не обожаю, люблю», – радовалась Катя.

Последняя встреча Дарье нужна была, чтобы сказать ему: «Наша история закончилась. Прощай». Он видел, Дарье теперь было безразлично, любит он ее или не любит. Ей, кажется, было безразлично, любит ее теперь вообще кто-либо или не любит. Она искренне уклонялась от его поцелуев, она говорила, что целуется он теперь как-то не так, она говорила, что неужели она ему по-прежнему дорога, что она теперь не такая молодая, что у нее диатез. Он сказал, что любит ее диатез. Быть может, думал Пальчиков, Дарья запомнит от последней встречи не только свое «Прощай», но и его «Я люблю твой диатез». Он выпалил эти слова впопыхах, произвольно, хватаясь за воздух.

Он как-то говорил Дарье: «Есть люди, которые любят целоваться. Мы с тобой любим целоваться. Ты выглядишь девочкой от поцелуев». «Да, мы с тобой любим целоваться, – соглашалась Дарья и хохотала. – Мы с тобой, как Брежнев, любим целоваться». «Да, Брежнев любил целоваться. Есть такая порода людей – любителей целоваться. Это настоящая радость – целоваться с хорошими, умными, веселыми людьми. Только целоваться. Ничего более». Дарья поясняла: «Поцелуи рождаются у двоих. Если человек трахается как прежде, а целуется уже по-другому, значит, человек тебе изменил». У Пальчикова с Дарьей отношения были без обязательств – он не имел

права на ревность. Он сам предложил жанр нерегулярных свиданий. Он не хотел нового брака, даже гражданского. И Дарье был не нужен брак с ним, в особенности гражданский. Он хотел было оскорбиться Дарьиной реплике о другом целующемся человеке, но закусил язык. У Дарьи были смешливые глаза. Этим глазам было тесно в разрезах, поэтому они то и дело неизбежно лучились. Какое отчаяние – не иметь права на ревность!

Пальчиков твердил себе: «Я больше никого не в силах любить. Мне достаточно моих любимых родных людей. Я перед ними в долгу. С телесной любовью покончено. Этот этап жизни завершен. Будет настигать желание новой любви – гони его прочь. Желание любви – не любовь».

Пальчиков был рад, что у него не оставалось сил для крепкой, зрелой, тютчевской, чувственной любви. Он был рад, что у него не было сил для горделивой любви. Он был рад становиться ранним стариком, жить стариком долго. Он смотрел на свои руки, и они, наконец, ему начали нравиться. Он считал, что самые красивые руки у стариков и старух – руки у них просты, умны, добры. Молодые руки часто лживы. Их и целуешь лживо.

Пальчиков перестал добавлять друзей ВКонтакте. Он перестал грезить о сообществах.

Однажды он пригласил домой молодую проститутку, с которой он был на удивление хорош, силен. Второй раз она явилась сама с податливой улыбкой. Но теперь он оказался слаб. Она не скрывала недоумения: «Что с тобой?» Она говорила, что его движения неумелы, что в комнате пыль, что в его борще не то мясо, что так не «накрывают поляну». Он хотел вытолкнуть ее вон за этот идиотский сленг. Она опять понравилась ему в дверях при прощании: она грустно засопела, положила голову ему на плечо, поцеловала его плечо.

Пальчиков думал, что сможет полюбить проститутку. Проститутками становятся хорошие девушки. И хотя проститутки, во избежание теплоты, не принято целовать, он бы целовал проститутку. И проститутка, когда паче чаяния захотела бы его убить, возможно, вспомнила бы об этих его простодушных поцелуях, их общем поцелуе.

21. Старожил

Иргизов командировал Пальчикова на юбилей Петра Ивановича. Иргизов иногда поручал Пальчикову представлять фирму на необязательных, негламурных, нешиковых приемах – ради общего приличия, благожелательности и репрезентативной отзывчивости. Петр Иванович с советских времен был известным человеком и до сих пор служил советником в важной для Иргизова госкорпорации. Иргизов и сам бы пошел, но оказался в отъезде. Пальчикова он делегировал на такие классические, старорежимные мероприятия из-за его интеллигентской малоприметности, могущей казаться уместной и своей.

Петру Ивановичу исполнилось девяносто. Пальчикова радовало, что в старинном зале приветственные речи перемежались выступлениями артистов в сопровождении камерного оркестра. Ничего говорить со сцены Пальчикову не требовалось в силу его общественной незначительности, требовалось лишь присутствовать от фирмы Иргизова, а подарок Петру Ивановичу Иргизов направил накануне с курьером. Пальчиков наслаждался лицеизрением, удобным костюмом и музыкальными номерами. Пальчиков сто лет не был на концертах, забыл, как звучит живая музыка, и теперь без шепетильности слушал и молодые голоса, и мастеровито надтреснутое, искусно ослабевшее, душевное сопрано старой примадонны.

Пальчиков восхищался простой, стеснительной, бодрой свободой девяностолетнего Петра Ивановича. Тот помнил гостей по именам и отчествам, с тихой, лишенной лукавства самоиронией говорил о своих прожитых годах и с благодарным вниманием осматривал зал. Пальчикову показалось, что Петр Иванович и ему улыбнулся. Пальчиков кивнул, и Петр Иванович ему кивнул. Бабочка на Петре Ивановиче сидела по-домашнему, как на мхатовском патриархе, лучше, покойнее, чем на оркестрантах. Петр Иванович не раскраснелся. Петр Иванович был бледен возрастной, усталой бледностью. Он все время стоял и держал руки, взяв их в замок, перед грудью.

Пальчикову казалось, что собравшиеся в зале думают только об одном: как хорошо, когда так долго живут такие по-настоящему хорошие люди, как Петр Иванович, как хорошо и справедливо, что долгий век такого хорошего человека, как Петр Иванович, словно восполняет собой короткие жизни других хороших людей. Гости думали, что Петр Иванович теперь может умереть в любой момент. Это читалось на лицах поздравлявших, когда они желали Петру Ивановичу еще многие лета. Пальчиков боялся, что найдется любитель благостных гипербола, который произнесет пожелание прожить Петру Ивановичу еще столько же. Это неумеренно добрая ложь могла бы смутить не только зал, но и виновника торжества, подпортить праздник.

Петр Иванович продолжал смотреть в зал на все лица с одинаковой добротой. Пальчиков считал, что успешные люди обычно озирают со вниманием лишь себе подобных – таких же, как они, успешных или в перспективе успешных, или даже бывших успешных людей, но при всей своей похвальной толерантности не в силах замечать извечных неудачников. Пальчикову казалось, что Петр Иванович теперь со сцены искал прежде всего извечных неудачников, именно им он хотел улыбнуться в первую очередь.

Пальчикову показалось, что неожиданно Петр Иванович сказал в микрофон: «Мы выглядим несовершенными, когда поступаем дурно. Мы выглядим, как нашкодившие дети, когда на пути к совершенству творим зло. Поэтому нас и хочется простить, как несмышленных детей, совершающих безрассудные, детские, неприглядные проступки». Пальчикову показалось, что Петр Иванович добавил: «Ничего страшного. И апокалипсис должен вызреть. Не надо ничего форсировать, ничего подгонять и призывать, всё созревает вовремя».

Пальчиков думал, что Петр Иванович однажды, будучи уже на девятом десятке, поставил перед собой задачу преодолеть девяностолетний рубеж. Петр Иванович так и жил всегда – ставя задачи, как опоры. Ему было жизненно важно дожить до девяноста лет. Прожить до ста – такую задачу он перед собой ставить не будет. Потому что это мальчишество, это гордость, это бунт. Дальше, после девяноста, он будет жить со словами: «Сколько Бог даст». Он полагал, что до девяноста прожить ему было необходимо, потому что некоторые его друзья, как и он, фронтовики, достигли девяностолетнего возраста. Теперь, включая его, все вместе, всей своей последней куцей шеренгой, девяностолетние, они вышли на финишную прямую, а здесь – как Бог даст.

Пальчикову казалось, что ирония Петра Ивановича по отношению к себе, к своим талантам, достижениям, репутации, наградам, доброму нраву проистекала не из силы человека, а от человеческой слабости, от понимания, что слабость человека и есть его, человека, сила.

Пальчиков размышлял, что теперь, после девяностолетия, Петр Иванович позволит себе вслух вспоминать о вещах эфемерных, трогательных, насущных. Он будет, пошучивая, говорить собеседнику: «Мне советуют: причастись, Петр Иванович, а то опоздаешь, не успеешь. Неизвестно ведь ничего. Так, мол, без причастия, можешь попасть не туда, куда надо». Петр Иванович словно нарочито неграмотно теперь будет думать о будущей жизни. Он не будет произносить слово «покаяние», а будет больше жестами показывать: а вдруг не туда угодит в будущей жизни, куда надо. А о смерти Петр Иванович и вовсе не станет думать, как будто смерть – уже пройденный этап. Он с веселым недоумением будет говорить: «Видишь, это мой сын Иван Петрович, а ему семьдесят. А вот мой внук Петр, а ему, внуку, господи, пятьдесят. А вот мой правнук Ваня, а ему, удивительно, правнуку тридцать. А эта моя праправнучка, самая любимая, Надюша».

В зале среди гостей Пальчиков вдруг увидел Куликова, с которым был знаком лет пятнадцать назад и с того времени больше ни разу не встречался. Пальчиков слышал, что у Куликова умерла жена от рака, властная и сердечная женщина, единственный сын Куликова уехал в Америку. Самому Куликову теперь было к восьмидесяти. Пальчиков думал, жива ли еще миниатюрная собачка Куликова, собирает ли Куликов по-прежнему свою коллекцию свистулек, колокольчиков и бубнов? Пальчиков помнил, как Куликов показывал ему фотографии, на которых он был запечатлен то с поэтом Вознесенским, то с композитором Петровым, то с художником Глазуновым, то даже с Борисом Ельциным на балконе Белого дома. Куликов объяснял Пальчикову, что со всеми с ними он на дружеской ноге, что каждому из них чем-то помог. Пальчиков помнил, что Куликов,

действительно, любил помогать людям, и ему, Пальчикову, помогал. Но на фотографиях Куликов прижимался к знаменитостям как-то показательно по-приятельски. Знаменитостям оставалось лишь снисходительно улыбаться фотографу, щелкавшему их в обнимку с чудаковатым незнакомцем.

Теперь вид у Куликова в зале был величавый. Пальчикову казалось, что Куликов сидел и грезил о своем подобном юбилейном торжестве. Примостился Куликов каким-то чудом за спиной у губернатора. Пальчиков думал, что Куликов последнее время, видимо, бродит, как неприкаянный, по различным чествованиям, с одного на другое, как самозабвенный мечтатель, как невинный самозванец, как одинокий безумец, забытый Богом и людьми. Охрана везде уже к нему привыкла, пропускает как своего, странного старика, не смирившегося со своей безвестностью.

Пальчиков боялся, что Куликов, наконец, может вскочить и прокричать: «Прославляете за возраст, за долголетие. Я тоже так могу, я тоже могу дожить до девяноста!»

Пальчиков думал, как хорошо быть городским сумасшедшим. Юродивость – счастье, неутомность и покой в одно и то же мгновение.

Пальчиков помнил, как однажды зимой в перестройку на Красной площади в Москве кричал экзальтированный прохожий с белой гривой волос. Он показывал рукой на бюсты политических деятелей у кремлевской стены, залепленные метелью лишь с одного бока. «Смотрите, – хохотал он. – Их головы теперь наполовину в снегу. Только наполовину у всех как на подбор. Вот вам и маршалы». «Люди, – продолжал он, – поймите, всё – божье, только божье, только божья любовь. Смотрите, от этой мысли весь мир – сразу хорош, замечателен. Ничто не может омрачить мир после этой мысли. Вот эта мысль: всё, буквально всё – божья любовь. И тогда и страдания хороши, педагогичны, и смерть хороша, ничтожна. А другим, не божьим, мир не бывает».

22. В церкви

Пальчиков не понимал, почему он и теперь ленится ходить в церковь. Он не понимал, нужно ли ему на остаток лет сообщество или не нужно. Он видел, что теперь самые хорошие люди – верующие люди. Он видел, что священники – хорошие люди.

Он думал, что теперь в церкви его ничто не может коробить, теперь он знал, что церковь в своей основе хороша, верна, права, а некие шероховатости и перегибы лишь подтверждают естественный характер ее истинности. И у совершенства детали могут казаться несовершенными. Теперь его не смущало, что целые пласты человеческого знания и богоискания, целые религии, научные школы, почти вся философия находятся вне церкви. Он знал, что вне церкви в любом случае не остались муки творчества, честность, одухотворенность, жертвенность всех язычников и атеистов, всех ученых, мыслителей, мистиков, дервишей, буддистов.

Он знал, что теперь его не смутит странная невежливость отдельных прихожан. Он не к прихожанам приходит в церковь. Если и к прихожанам тоже – то за терпением, братством и кротостью. Как хорошо это терпение в церкви по отношению к ревностно молящемуся, который отвлекается от своей молитвы, чтобы зыркнуть на тебя с укором: вот пришел в собор, а не читаешь вместе со всеми вслух ни «Символ веры», ни «Отче наш»! Неужели трудно заучить? Пальчиков, действительно, иногда терялся и забывал давно известные слова, не мог спеть в церкви за людьми, у которых священные тексты отскакивали от зубов. Пальчикову было неловко перед ревностными верующими: он никак не мог приучить себя к поясным поклонам и коленопреклонениям. Пальчикову было неловко, что он по своему усмотрению пользуется предоставленной православием свободой.

Пальчиков помнил, как однажды для преодоления своего пьянства он по рекомендации какого-то знакомого отправился в церковь к старенькому батюшке Иоанну. Пальчикову сказали, что именно отцу Иоанну удается отваживать людей от спиртного. Он пришел, когда в церкви уже томился народ. Церковь была церковкой, церквушкой, маленькой. Пальчиков поинтересовался

у женщины в лавке, к кому ему обратиться по вопросу против пьянства – так он казенно и как бы насмешливо выразился. Продавщица показала на высокого бородача, только что вошедшего в храм: «Вот, к дьякону». Дьякон еще не облачился в рясу, был в клетчатой рубашке, застегнутой на все пуговицы, до горла. Дьякон выглядел суровым и подвижным. Он несся вдоль стен церкви и целовал иконы. Чтобы достать висевшие высоко, он вставал на табуретку. Видимо, поцелуями он здоровался с иконами, здоровался с церковью. Пальчиков объяснил ему свое дело. Еще несколько беспокойных посетителей объяснили то же самое. Дьякон записал в тетрадь фамилии и имена, собрал деньги с грешников-пьяниц и велел подходить по одному за соответствующей бумагой минут через десять к узкой дверце поодаль от алтаря.

Появился старец Иоанн, белый, растрепанный, в очках с толстыми линзами. Образовался почтительный коридор. Женщины завздохали, неразборчиво запричитали, батюшка радостно благословлял. Очки у батюшки сползали с носа, и он их то и дело водружал на место. Батюшку под руки вели два крупных мужика, еще один шел сзади. Один прокладывал путь. Вид мужиков был странный, какой-то бандитский: сильные шеи, насупленные взоры, кожаные куртки. Вероятно, прошлое у них было спортивным и криминальным, а теперь они почему-то подвизались при церкви охранниками, а при батюшке помощниками.

В церкви было светло и солнечно, как на летней веранде дачного домика, в разных углах продавались православные газеты и аудиозаписи. Пальчиков не любил православные газеты: в них больше было от газет, чем от православия. Аудио – Осипова, Кураева, отца Даниила Сысоева – он иногда слушал «ВКонтакте».

Батюшка с помощниками скрылся за дверцей у алтаря. Через несколько минут раздраженный Пальчиков тоже открыл эту дверь. Он очутился в сумеречной камерке с неким возвышением. Внизу за маленьким столиком сидел суровый дьякон. На помосте был батюшка Иоанн с двумя крепышами-помощниками. Один помощник считал денежные купюры, другой, улыбаясь, показывал отцу Иоанну бутылку красного вина, видимо, купленного для причастия. А отец Иоанн кивал ему головой. Отец Иоанн заметил Пальчикова и словно смутился. Батюшка видел, что Пальчиков смотрит на деньги в руках помощника. Помощник с бутылкой задернул шторку, и Пальчиков мог наблюдать теперь только за суровым дьяконом. Казалось, сквозь шторку нельзя было не только никого увидеть, но и ничего расслышать. Пальчикову показалось, что дьякон ничуть не был расстроен вторжением неизвестного мужчины в служебное помещение. Дьякон спросил Пальчикова, как того фамилия, и уже со смягченным лицом подал ему бумагу. На четвертинке листа было выведено, что Пальчикову с этого дня целый год запрещалось прикасаться к алкоголю.

Службу вел молодежавый батюшка, с густыми, невероятно промытыми и словно взбитыми, словно слегка подкрашенными волосами. Его борода была толстой, холеной, как-то по-особому, для пухлости, причесанной. Какой-то шик был в этом батюшке! Его взгляды были исполнены какой-то отсроченной истомы, как у respectableного и педантичного модника.

Народ в церкви знал друг друга. Каждый, казалось, стоял на своем любимом месте, и Пальчикову даже пришлось отодвинуться на шаг назад, чтобы уступить место крохотной бабушке, которая словно украдкой, но методично теснила Пальчикова, пока не встала туда, куда хотела. Пальчиков почувствовал, что после этого она запела тоньше и яснее, согласно с другими. Казалось, даже она вздохнула с облегчением.

Иногда на Пальчикова оценивающе поглядывал respectableный батюшка. Когда он вполне уразумел, что собой представляет Пальчиков, он начал смотреть на него, как на других, – машинально, печально, забывчиво.

В конце службы Пальчиков увидел отца Иоанна. Отец Иоанн произнес проповедь. Он стоял один, без помощников. Пальчикову казалось, что отец Иоанн не спускает с него глаз. Пальчикову нравилось, как говорил и как смотрел отец Иоанн. Пальчикову казалось, что у отца Иоанна был вид виноватого человека. Пальчиков был уверен, что такой вид у отца Иоанна был всегда. Он всегда выглядел перед кем-то виноватым. Но сегодня отец Иоанн казался виноватым именно перед ним, перед новым незнакомцем, перед Пальчиковым. И сегодня у отца Иоанна был вид не

без вины виноватого, а словно по-настоящему виноватого. Кажется, глаза отца Иоанна говорили Пальчикову: «Нет-нет, это не то, что вы думаете». Кажется, он оправдывался перед Пальчиковым за деньги, которые тот видел в комнатке у алтаря, и за бутылку с церковным вином, и за черствый, будто эзковский облик своих прислужников. Кажется, он хотел сказать Пальчикову: «Нет-нет, это не то, что вы думаете. Это хорошие, нужные для церкви деньги, это нужное вино, для богослужения, это хорошие помощники, христиане». Пальчикову хотелось спросить у отца Иоанна: «Тогда почему у ваших помощников явно бандитская внешность? Если они теперь не бандиты, если теперь они изменились, переродились, воцерковились, то почему не преобразились их лица, глаза, осанка?» Пальчиков боялся, что его подозрения станут явными для отца Иоанна, – подозрения, что уголовники приставлены к отцу Иоанну не как охранники, а как надсмотрщики, что они спекулируют на церкви, что обдирают церковь. Пальчиков боялся своими домыслами, лежащими тенью на лице, опечалить сердце отца Иоанна. Отец Иоанн был похож на другого отца Иоанна – Крестьянкина.

Пальчикову казалось, что суровый дьякон теперь поглядывал в его сторону союзнически, словно говорил: «А вы что думаете, я ведь иконы перецеловываю каждый божий день, словно чищу их от этой грязи, от этих помощничков, от дурных людей в храме».

Ближе к причастию народ в церкви начал переминаясь с ноги на ногу, придвигаться к алтарю. Пальчиков пошел на выход. Он увидел, что его побег перед причащением заметил отец Иоанн. Пальчикову мнилось, что отец Иоанн приговаривал уходившему: «Ничего, ничего, не переживай, потом причастишься, сегодня тебе не надо, сегодня не то получится, сегодня иди со спокойной душой». Пальчиков чувствовал, что этот прощальный, оправдательный взгляд отца Иоанна теперь для него, для Пальчикова, был полезнее причастия. Слово отца Иоанн ему сказал: «Ты не смотри на людей, ты учишь верить сам. А в церковь приходи. Приходи, когда сможешь. В церкви тебе будет хорошо, вот увидишь. И не пей, не пей этот год».

Пальчиков шел по улице обрадованный и благодарный отцу Иоанну. Вспоминал его понятливые, добрые глаза. Таких мягких глаз, ясности которых не мешали даже слезы, Пальчиков ни у кого не видел.

23. Дюков

Иргизов поручил Пальчикову выпуск рекламного буклета.

Пальчиков вспомнил о Дюкове. У Дюкова была собственная типография, и он называл Пальчикову все чаще и чаще, предлагал свои услуги. Видимо, бизнес у Дюкова угасал или уже угас. Пальчикову хотелось надежного подрядчика, но и Дюкову хотелось помочь. Дюков был шутником. Но шутливость Дюкова перемежалась лирическими отступлениями, что и придавало веселому дюковскому нраву внушающую доверие законченность.

Пальчиков вспомнил, что любимым словечком у Дюкова была «хиромантия». «Хиромантией» он называл то или иное блюдо, погоду, одежду, местность и даже собственную печатную продукцию. Когда люди удивлялись его лексическим кривляниям, он пояснял: «Но не называть же это порнографией. На порнографию сие не тянет. А вот хиромантией – самый раз».

У Пальчикова оставались сомнения: обращаться ли к Дюкову. Одно дело – весельчак на вечеринке, и другое – когда ему заказ доверяешь. С обаятельного приятеля разве можно спросить? С человека, с которым вам было так смешно? Пальчикова настораживала праздность Дюкова. Но что-то тянуло именно к Дюкову. Пальчиков вспоминал дюковскую внезапную хандру – признак дельного человека. Хотя, быть может, и не хандра это вовсе была, а банальный похмельный синдром. Сквозь тоску у Дюкова просвечивала сосредоточенность. Пальчиков помнил, как Дюков рассказывал о том, как он обычно стрижется. Посидев в кабаке, он идет стричься, потому что запах хорошего виски подчеркивает новизну прически. На следующее утро, опять под мухой, он является в тот же парикмахерский салон и просит освежить себя легкими движениями ножниц.

«Вы же вчера стриглись», – говорят ему. «Ну что вам, жалко?» Пальчиков думал, что Дюков чудит безысходно.

Пальчиков вспоминал, каким Дюков был в паломническом туре по Европе. Пальчиков там с Дюковым и познакомился – во время туристической поездки. Дюков выпивал и угощал в Риме, Венеции, Салониках, Афинах, Софии. Только в одном городе он был трезвым, молчаливым, сгорбленным, в белом пиджаке с поднятым воротом, часто с закрытыми глазами – в Бари. Здесь Дюков в одиночестве, вне группы поднимался и спускался по улочкам, долго стоял на камнях у Адриатического моря – задумчиво, недвижимо, на ветру, поэтически. Ни Пальчиков, никто другой не спрашивал у Дюкова, что с ним случилось. В следующем населенном пункте Дюков опять начал выпивать, угощать, беседовать и подтрунивать.

Вопреки всем опасениям Пальчиков решил-таки поехать к Дюкову с фотографиями и текстами для будущего буклета. Офис Дюкова показался Пальчикову затаренным, с множеством перегородок. Работники выглядели свободолюбивыми, нелюбезными, готовыми к дерзости. Дюков сидел в отдельном отсеке. Там пахло сырой пылью давнего запустения. До визита Пальчиков воображал рабочее место Дюкова в двух вариантах: либо неухоженным углом, что и обнаружил, либо шикарными апартаментами. Середины у Дюкова быть, казалось, не могло.

В турпоездке Дюков производил впечатление человека не только простодушного, но и богатого. Глядя на Дюкова, можно было сделать вывод, что в России везет бизнесменам жизнерадостным и намеренно нерасчетливым. Что искушение гранью для этих людей тем менее опасно, чем более желанно. Как-то в старинном готическом отеле Дюков размашисто вышел на балкончик, и если бы Дюкова не придержали, энергии его шага хватило бы, чтобы проскочить балкончик и рухнуть с высоты на бульжную мостовую. Лихость этого шага не была притворной, а вот то, что Дюков не предвидел, что балкончик может быть миниатюрным, было, конечно, притворством.

Дюков теперь встретил Пальчикова странно – заискивающе. От образцов дюковской печатной продукции веяло прошлогодним снегом. Дюков сказал, что дизайнер подумает над концепцией буклета, шрифтами, мультиками. Как-то так получилось, что Пальчиков пригласил Дюкова пообедать. Не торчать же двум товарищам в офисе. «Ты меня угощаешь?» – удивился Дюков. «Конечно, – ответил Пальчиков. – Начинаем делать буклет». Пальчиков неуклюже хохотнул, потому что произнес последние слова зачем-то покровительственно.

Пальчиков видел, что со времени совместного путешествия Дюков сдал: скулы у него начали плавиться, подбородок размякать, шея становилась ниже. Прежде ситуативная хандра назлектривывала худобу Дюкова. Теперь тонкими выглядели лишь ноги. Тот же насмешник Дюков говаривал: «Никого не минует чаша сия – сия одутловатость». Пальчиков видел, что без него Дюков весь день заставлял бы себя томиться перед компьютером.

В ресторане лихорадочность сменилась в Дюкове радостью, и эта деликатная радость не топилась становиться вальяжной. Дюков шутил, признавался, что он, как всякий неуверенный человек, любит парадоксы, что он жизнелюб, хотя и мизантроп. Они говорили о кризисах в жизни мужчины, о том, что оба начали толстеть. Дюков сострил, что есть калории, а есть килокалории. Он сказал, что на тело надеяться нет смысла, в теле обитает возраст. А вот лицо, вслед за душой, может оставаться молодым до глубокой старости и при этом кротким, интеллигентным, что бываю морщины глубокие, но молодые. Приятели говорили об одиночестве. Дюков сказал, что некоторые на свою свадьбу так не торопятся, как он торопится на чужие. Он сказал, что его порода не состоялась, что его сын духовно не близок ему, так же как он, Дюков, в свою очередь не был близок своему отцу. В нашем саду яблоко падает далеко от яблони. Мы сами по себе. Таких людей невозможно признать богатыми или талантливыми, даже если такие люди действительно богаты или талантливы. О таких людях отзываются скептически: «И вы хотите, чтобы его причисляли к богатым? Полноте вам!» или «И вы хотите, чтобы его считали гением? Окститесь!» Дюков признался Пальчикову: «Я уже не буду никогда богатым. А как хотел, как верил!»

Пальчикову нравилось быть задушевым с Дюковым. «Я, – признавался Пальчиков, – когда думаю о себе, думаю не о жизни, а о смерти». «Это хорошие думы, – восклицал Дюков. – А вот

гламурные люди думают о том, что скоро технологии дадут нам бессмертное тело. Только нужно до него успеть дожить. А пока гламурные люди сокрушаются: мы такие изысканные, гигиеничные, экологичные, такие совершенные, однако одно архаичное “но” нам отравляет красивую жизнь: мы по-прежнему не можем не ходить в туалет, по-прежнему не можем не испражняться, по-прежнему не можем не вонять. Это, мол, крайне несправедливо и несовременно. Хочется им сказать: так в чем проблема? Становитесь людьми духовными. Нет, не хотят быть духовными, по-настоящему чистыми. Лишь телесно чистыми хотят. Нет ничего более скоропортящегося, чем так называемый современный человек. У современного человека во все века был только один вопрос к Богу: почему в мире так много несправедливого? Не вопрос, а упрек: почему Ты не хочешь устранить несправедливость?» Пальчиков добавил: «Кажется, Богу и самому интересно, что из человека в итоге получится». «В каждом человеке, – отозвался Дюков, – даже самом законченном злодее есть последнее хорошее – человеческая слабость, слабость к миру, слабость перед правдой мира. Эта слабость ведет к покорности, раскаянию, покаянию. Покаяние дает силу. Новую, добрую, светлую. Меня радует, что в современном мире есть шаги к духовному, технократичные шаги, но к духовному. Воистину дух веет, где хочет. Материальное стремительно оцифровывается в нематериальное, осязаемое в неосязаемое, громадное в призрачное. Может быть, электронное – это подобие духовного, движение к нему, а не подмена его. Смешно, когда мы развелись с женой, я оставил ей все свои книги, собрания сочинений. Мне их было совершенно не жаль. Зачем? Все есть в интернете. А в двадцать пять лет я думал, как я буду жить без своей библиотеки, если с ней что-то случится?» Пальчиков спросил Дюкова: «А ты тоже развелся?» «Да», – усмехнулся Дюков.

Пальчиков знал, что Дюков подведет его с буклетом. Не нарочно, невольно. Пальчиков думал, что Дюков теперь не боится быть обманщиком – нелепым, обреченным. Говорил напоследок, что сделает буклет недорого, по дружбе. Значит, не сделает как нужно. Сделает какую-нибудь хиромантию. Каким, грустил Дюков, у мошенника должно быть лицо? Лицом располагающего к себе человека.

Пальчиков вспоминал других обманщиков. Они не были похожи на Дюкова, при обмане у них на лицах вилял хвостик от обмана. К дюковскому лицу было не подкопаться: оно выглядело сердечным и замкнутым.

«Много в мире обманщиков. Втюхать хиромантию, схватить деньги, пожелать хорошего дня – и поминай как звали. Я тоже обманщик. Разве нет? – думал Пальчиков. – Важно в последний момент взглядом сказать о лжи, понимании обмана. Важно, чтобы сиганувший в кусты увидел этот взгляд. Важно, чтобы понимание мерзости стало взаимным».

Пальчиков думал, что верит Дюкову как родственной душе, Дюкову-банкроту. Пусть обманет или найдет в себе силы не обмануть.

24. Однокашники

Если тебя считают неприятным человеком однокашники, значит ты, действительно, неприятный человек. Почему тебя не любят люди, надо спрашивать не у твоих родителей, детей, бывшей жены, об этом надо спросить у друзей юности.

Пальчикову казалось, что однокашники не любят его до сих пор. Помнят, но не любят. Пальчиков не виделся с ними двадцать пять лет. Он знал, что все эти годы Макс, Побудилин, Генкин периодически встречались, и когда речь заходила о нем, теплоты для него не отыскивалось. Считалось, что он не нуждается в теплоте. Почему-то однокашникам он казался непопулярным – слабым, но везучим. Он казался им нелюбезным притворщиком, интровертом-прощельгой. Этот выкрутится, с этим ничего не произойдет, этого почему-то не жалко. Если этому будет плохо, так ли плохо ему будет на самом деле? Вот когда с ним случится что-то стоящее, вот тогда мы его и пожалеем. Пальчиков знал, что не любили они его сообща, а как относился к нему каждый отдельно, он не знал. Только Беседин его любил, только Беседина он однажды встретил лет пять назад. Но

Беседин был спившимся и просил на похмелье. Пальчиков не знал, жив ли теперь Беседин. И еще Пальчиков как-то столкнулся с Шафраном на Невском, но Шафран сделал вид, что Пальчикова не узнал. Быть может, он его по-настоящему не узнал. Шафран был не из тех, кто будет отворачиваться нарочито. Шафран скажет прямо: «Рад тебя видеть, старик. Но сейчас, извини, тороплюсь». Шафран даже не добавит: «Как-нибудь в другой раз».

Пальчиков почему-то свылся с мыслью, полагали однокашники, что все его насмешки, эскапады, издержки нелепого карьеризма должны сходить ему с рук, нужно, мол, почитать за честь, что он идет по вашим головам. Пальчиков недоумевал, неужели он действительно выглядел в их глазах столь пренебрежительным и априори прощаемым, неужели он действительно шел по головам? Он хотел им сказать: во мне – не самодовольство, а самонадеянность, не пренебрежительность, а беспечность. Вероятно, бывает чувство – хорошее, но не видимое, как неразвитая данти. Ведь бывает любовь никакая, но в своей сути она тоже любовь.

Пальчиков помнил, что поначалу Макс, Побудилин, Генкин (каждый на свой лад) пытались переиначить его, внушить ему, что он с ними одного поля ягода, внушить ему то, что они почему-то понимали давно, а он нет: что он, как и они, – никто. Говорить об этом, что ты никто, не нужно, но знать нужно. Говорить о себе плохо так же некрасиво, как и говорить о себе хорошо.

Макс приучал его к современным зарубежным авторам – Ивлину Во, Кортасару, Беллю, Бахман, Воннегуту, Беккету, отучал от советских – Проскурина, Бондарева, Анатолия Иванова, Тендрякова, Трифонова. Генкин водил Пальчикова в рок-клуб и на Жанну Бичевскую. Побудилин знакомил Пальчикова с подружками своих любовниц. Даже Шафран однажды предложил Пальчикову выступить с докладом о гностицизме Тютчева на тайной квартирной конференции. Пальчиков полюбил Ивлину Во, но Трифонова не разлюбил, Пальчиков полюбил Жанну Бичевскую, а к Константину Кинчеву остался равнодушным. Ни с кем из побудилинских девчонок Пальчиков не переспал. Доклад о Тютчеве подготовил, но диссидентскому заседанию предпочел пикник на Заливе.

Однажды Макс выгнал Пальчикова из своей коммуналки. Выгнал в три часа ночи на улицу. Макс любил дремать в уголке, в двух шагах от застолья. Макс показалось, что пьяный Пальчиков провел ладошкой по ляжке Татьяны, его, Максовой, невесты. Макс решил, что плебейский цинизм Пальчикова перешел все границы. С невоспитанностью Пальчикова можно было смиряться, если он не вступал на чужую территорию. Ухаживания, адюльтер, сексуальные отношения, по мнению Макса, были совершенно противопоказаны Пальчикову. Поэтому дело даже не в том, что Пальчиков осмелился заигрывать с Максовой невестой, Макс противен был сам факт непристойного флирта в исполнении Пальчикова. По мнению Макса, это было не его, не Пальчикова. Также как не его, не Пальчикова, были богемность, религиозность и богатство. «Знай свое место!» – вот что крикнул Макс уходящему Пальчикову. Пальчиков не помнил, чтобы он проводил рукой по ляжке Максовой невесты. Пальчиков подозревал, что Макс это пригрезилось или Макс об этом зачем-то нашептал Побудилин. Побудилин успокаивал бушевавшего Макса, удерживал Макса, чтобы тот не набил морду Пальчикову. Пальчикову казалось, что взгляд у Побудилина в этот момент был не азартным и не торжествующим, а испуганным и виноватым.

Пальчиков думал, что Побудилин не желал рассорить Макса с Пальчиковым, что наговор на Пальчикова у Побудилина получился произвольным, инстинктивным, шутивным. Пальчиков думал, что Побудилин так коряво мог отреагировать на другое проникновение Пальчикова на чужую территорию, – проникновение подлинное, нефигуральное. Был случай, когда пьяный Пальчиков, оставшись неприкаянным из-за разведенных мостов, влез в комнату Побудилина в студенческой общаге и там заночевал. Побудилина и его новой пассии дома не было. На следующий день Пальчиков извинился за свое поведение. Пассия и Побудилин простили его скрепя сердца, пассия, вероятно, выговаривала мягкотелому Побудилину, что его дружок Пальчиков обесчестил их брачное ложе, разорил семейное гнездышко.

Пальчиков допускал, что Побудилин не соврал Макс о приставаниях Пальчикова к Татьяне. Пальчиков в тот вечер был сильно пьян, мало что помнил, но в его памяти откуда-то взялся образ белого, гладкого, крепкого женского бедра. Возможно, это и была Танькина ляжка...

Почему к Пальчикову потерял интерес Генкин? Потому что Макс раздружился с Пальчиковым. Генкин благоволил к Пальчикову, пока к Пальчикову благоволил Макс.

Пальчиков хотел заглядить перед однокашниками свою неясную вину. Он боялся, что его жертвенность и покаянность покажутся им вымученными. Заглаживать фантомную вину – лишь усугублять ее.

Спустя несколько лет после выпуска из университета Пальчиков встретил Макса на Невском. Было это на пасху. Пальчиков издали крикнул: «Макс, Христос воскрес». Макс не успел отпрянуть. Они обнялись. А Пальчиков даже прикоснулся губами к щеке Макса. В глазах Макса копотливая тревожность сменилась благодарностью. Это выглядело чересчур по-простонародному, чего не обязательно делать в большом городе, в Питере, на Невском проспекте. Однокашники зашли в кафе. Через некоторое время в кафе, видимо, вызволенный Максом, появился Побудилин. Весь вечер Побудилин очень улыбался: то ли любовался, как помирились Макс с Пальчиковым, то ли ожидал метаморфозы этого скорого мира. Вместо метаморфозы Пальчиков, захмелев, начал с театральной напористостью говорить о некой породе людей, которые всюду диктуют свою волю. Было понятно, что он говорил в том числе и о Максе. Макс помалкивал с досадливостью, но как провинившийся. А Побудилин улыбался все сильнее и сильнее.

Больше Пальчиков с однокашниками не виделся. Иногда в соцсетях он следил за их жизнью. Он понял, что и Макс, и Побудилин с женами развелись, что у Генкина есть дочь, которой он гордился, но состоял ли он в браке, из статусов и фотографий было неясно.

«Почему они сохранили дружбу, а у него нет друзей? – размышлял Пальчиков. – Почему по отношению ко мне у них главенствовал вопрос: что он себе позволяет? Они считают, что я нарушаю некую иерархию симпатий, привязанностей и отчуждений, которая держит этот мир. Человек должен быть достоин одного и не достоин другого. Я не знаю, так ли уж я им отвратителен? Я хочу, чтобы они высказались определенно, что я собой представляю, чего я стою, кто я есть?»

Пальчиков видел, что он и Макс идеологически разные люди. Пальчикова, например, всегда удивляло, почему нравственно чистый Макс не любил сильные стороны России, что такого непоправимого и непростительного он замечал в России, чего не замечал Пальчиков?

Пальчиков помнил, как однажды сказал, что ни на ком и никогда нельзя ставить крест. Помнил, как и Побудилин с ним согласился, кивая головой. Помнил, как встрепенулся Макс: «Можно ставить крест, и кресты такие ставят, и кресты такие стоят». Помнил, как Побудилин смутился.

Пальчиков не знал, зачем Макс пригласил его на лекцию Аверинцева, – его, явно не достойного лекции Аверинцева. Макс не взял на лекцию ни Генкина, ни Побудилина, а его, Пальчикова, взял. И слушал восторженного Пальчикова после лекции и был явно рад тому, что Пальчикова восхитила не только ученость Аверинцева, но и то, каким Аверинцев был. Пальчикова восхитило, что Аверинцев, пролив на себя во время лекции чашку кофе, нисколько не расстроился, стряхнул жидкость с пиджака и галстука и продолжил говорить о Византии, цитировать Гете по-немецки, рассказывать о лексической игре «Секретер». Пальчикову был памятен тот вечер середины 80-х годов не только лекцией Аверинцева, но и единодушием с Максом.

Отсутствие встречи с Побудилиным, Генкиным, Максом позволяло тлеть остаткам надежды и сочувствия. Зачем такая встреча? – думал Пальчиков. – Сентиментальность стариков безумна, и тошнотворна пикировка стариков. Ты не убедишь Макса в том, что стал кротким и созидательным. Ты себя в этом не можешь убедить.

25. Старший брат

Старший брат Пальчикова Алексей, ближе к своей смерти, говорил младшему: «Жалко, Андрей, что я тебя упустил». Старший был старше младшего на десять лет.

Андрей теперь решал: что Алексей упустил в нем?

Алексей мотал срок, прошел «малолетку», вернулся двадцатилетним, в наколках, пропорци-

ональный, сильный (туберкулез открылся позднее), с благоприобретенной пружинистой неторопливостью, как у тигра перед прыжком. Правда, казалось Андрею, Алексей так никогда и не прыгнул по-настоящему, по-тигриному. Отцу Алексей рассказывал о тюрьме, младшему брату нет. Андрей знал, что Алексей сидел напрасно, за кого-то, чью-то вину на себя взял. Алексей больше не оступился. На старое Алексея не тянуло, видимо, действительно, этого старого в Алексее было немного. Криминального Андрей в Алексее не видел, зато эзковское в Алексее засело крепко. Эзковским было в Алексее то, что он никогда не матерился. Нецензурщина для идейных эзков – лексика табуированная, непроизносимая. Алексей говорил вежливо, смущенно, но твердо смотрел в глаза. Алексей любил смягчительные обороты, ласкательные слова. Он любил говорить не «обедать» и не «есть», а «кушать». Ему нравилось думать, что эзки – вечные малые дети. Еще эзковской в Алексее была любовь к амулетам, иконкам. Старший брат говорил: «Меня ведь Алексеем в честь человека Божьего Алексея назвали. Бабушка Саня назвала». Старший брат рассказывал младшему о человеке Божьем Алексее, о том, как тот ходил нищим по всей земле, как довольствовался крохами, стыдился, когда его хвалили, и уходил от хвастающих. Рассказывал, как лицо человека Божьего Алексея после кончины засияло, а тело заблагоухало. У самого старшего брата, помнил Андрей, лицо на смертном одре было белое, тусклое, а в комнате стоял сладковатый смрад. Хорошо, что было именно так. По-другому, думал Андрей, без тяжелого запаха, старшему брату не понравилось бы лежать в гробу. Точно так же давным-давно не нравились человеку Божьему Алексею славословия в его адрес. У старшего брата отношение к миру было мужественным. Когда умерла баба Саня, он сказал, что сам обмоет ее тело и оденет. Его остановила мольба его жены, в ее глазах он прочел: как же я после этого, Леша, буду к тебе прижиматься, целовать, не буду ли я брезговать? Он смотрел на мертвую бабушку без священного ужаса, он смотрел на нее с благодарностью, как на живую, только другую, только остывшую и умолкшую.

Леша руки не распускал, но все знали, что он может ударить, ненароком покалечить, угробить. Все видели его нешуточную силу: и друзья, и злопыхатели, и жена, и дети, и младший брат, и отец. Раздражительность Алексея была наполнена недоуменным отчаянием. Несколько раз Алексей брал за грудки пьяного отца и тряс, как бесполезное дерево. Алексея мучила пустая, хулиганская ругань отца, слюнявая матерщина, как у шпаны, у фраерков. На висках Алексея выступала ледяная испарина, было понятно – еще мгновение, и на голову хрипящего отца обрушится сыновний кулак. Этого боялись мать, Андрей, жена Алексея. Только отец не боялся, он превращался в податливого кутенка. Встряски отцу хватало, он засыпал и храпел осудительно, наставительно, обреченно. Леша испытывал неловкость от стариковского храпа отца. Утром отец ни на кого не обижался и первым заговаривал со старшим сыном, шутил как ни в чем не бывало, как будто ни постыдного, ни болезненного с ним не случилось накануне. Напротив, без Лешиной трепки протрезвевший отец на другой день молчал виновато, глаз не поднимал.

Младший знал, что от старшего брата и ему может достаться на орехи за бесчестье, за несправедливость. Андрей думал: стань он, Андрей, к примеру, милиционером, и Леша прибьет его не задумываясь, прибьет по-эзковски, по-человечески – не как мента, а как иуду. Алексей рассказал Андрею о своем опозорившемся приятеле. «Даже опустили его, – молвил застенчиво старший брат. – Ну, ты понимаешь, стоял перед нами на коленях. Жалко его. Крысой оказался». Глаза у Алексея с возрастом стали слезиться, он стал сентиментальным, у него стало болеть сердце от такой мужицкой, эзковской сентиментальности – ненужной, разрушительной, безысходной.

Однажды у старшего с младшим состоялся долгий разговор о политике. Тогда Алексей разглядел в семнадцатилетнем Андрее единомышленника. Алексею было приятно видеть брата не только умным, но и думающим. Он увидел и слабость Андрея – его пристрастие к книжным идеям, предрасположенность к другому укладу жизни – среди образованных, культурных горожан. Алексею нравилось, что Андрей гибкое содержание вкладывал в жесткие формы. Ему нравилось, что в Андрее благодушное соседствовало с иронией, а правдолюбие с изворотливостью. Это был период застоя, профанации коммунистической доктрины, восторженный Андрей поведал брату,

что придумал новую политическую партию – «Союз новокоммунистов». Не партию, а название к ней. Тогда многие грезили, многие придумывали будущее, названия к будущему.

Младшему всегда казалось, что родители и обе бабушки любили старшего больше, чем его, чем кого бы то ни было, любили по-настоящему – не как своего ребенка, а как человека. Любили, то есть души в нем не чаяли. И Андрей любил Алексея так же – как человека, а не как старшего брата. Андрей видел, что и Алексей его любил, как человека, поэтому мучился, что упустил его, что Андрей не стал ровней ему и сильнее его, а полез в интеллигенцию и застрял на полпути. Андрей думал, что при встрече со своими любимыми людьми «там», за облаками, он будет испытывать стыд. При встрече с братом этот стыд будет самым пронзительным.

Андрей не видел, как умирал старший брат. Андрей лишь догадывался, что последние минуты старшего брата были легкими, что в его глазах не осталось боли и досады, а блистало нежное благословение.

Андрей думал о своей неправоте, о том, что и его любила мать, о том, что и его любил отец с виной и радостью, о том, как ждал его старший брат Леша перед смертью.

26. Учительницы

Пальчиков помнил обеих любимых учительниц. Лидия Ивановна вела алгебру и геометрию до девятого класса. Кира Андреевна преподавала литературу в старшей школе.

Несколько лет единственной любимой учительницей оставалась Лидия Ивановна. Подросток Пальчиков считал, что она будет его единственной любимой учительницей всю жизнь. Пальчиков благодаря ей уже мечтал о своем будущем в математике. Он участвовал в олимпиадах, правда, первых мест не завоевывал, а все вторые да третьи, он с восьмого класса начал выбирать, в какой вуз поступать, на какую математику, прикладную или теоретическую. Лидия Ивановна советовала на прикладную, она не видела в нем способности упоительно забывать обо всем на свете ради одной не проясненной идеи. Кажется, она говорила ему, что он не теоретик и не практик, он своего рода логик.

Лидия Ивановна ходила в парике, из-под которого выбивались настоящие волосы. Иногда она с чувством сдвигала парик назад или набок, как мужик заламывает шапку. Казалось, ее настоящие волосы были настолько хороши, что, сними она парик, лицо ее с этими волосами стало бы кротче и моложе. Казалось, она и парик носила не из-за моды, а для педагогической строгости. У нее были крупные, добрые зубы и золотые коронки, из-под которых над деснами виднелся зубной налет.

Теперь, сравнивая друг с другом счастливые минуты своей жизни, Пальчиков понимал, что самыми наполненными среди них были минуты верных решений, последних доказательных шагов, расстановки всех точек над «и», минуты детской увлеченности математикой. Счастливые мгновения – это мгновения не блаженства, а озарения, не покоя, а света, не свободы, а наития. Маленькому Пальчикову казалось, что Лидия Ивановна любит его в эти счастливые его минуты, как сына, хочет поцеловать, как сына. Но она только прижимала его умную голову к себе, но никогда не целовала. Они вместе обедали в школьной столовой за одним столом. Люди перестали удивляться такой близости учительницы и ученика, люди видели, что учительница и ученик и за обедом продолжали говорить о математике. Лидия Ивановна порой подкладывала со своей тарелки на тарелку Пальчикову картофельное пюре, любимое им. Лидии Ивановне было приятно, что ученик не замечает этого, увлеченный беседой, как не замечает сын. Иногда Пальчикову становилось больно за Лидию Ивановну, он думал, что она одинокая. О ней школьники ничего не знали, она не рассказывала им, как другие педагоги, есть ли у нее муж, есть ли у нее дети. Она проживала далеко от школы, не любила, чтобы ее провожали до остановки. Она садилась в автобус, выбирала пятнышко на стекле и так, уставившись в одну точку, ехала всю дорогу, не мигая, в сосредоточенности и забывши. За ней можно было проследить, узнать, где она живет, но никто из детей этого не делал, не осмелился на это и Пальчиков.

Лидия Ивановна перешла в другую школу после 9-го класса Пальчикова. Первого сентября ее не оказалось на линейке, и все заговорили, что Лидии Ивановны больше не будет. Пальчиков думал, что все учителя и ученики посматривают на него. Он думал, что это он повинен в уходе Лидии Ивановны. Он уже тогда романтично начал думать литературными реминисценциями, он думал, что уход Лидии Ивановны был похож на уход Льва Толстого. Пальчикову тогда нравилось название книги Бориса Мейлаха – «Уход и смерть Льва Толстого». Пальчиков думал, что предал Лидию Ивановну, и поэтому она так незаметно, так негромко, словно постепенно ушла. Пальчиков не помнил, какой была последняя его встреча с Лидией Ивановной, не знал, какой ее следует запомнить. Он полагал, что запоминают по последней встрече. Она ушла смиренно, покорно, она просто не вернулась.

Пальчиков думал, что единственным человеком, который видит это его чувство вины перед Лидией Ивановной, была его новая, вторая любимая учительница Кира Андреевна. Она стала его любимой учительницей в 9-м классе, стала любимой наравне с Лидией Ивановной. Лидия Ивановна заметила это, заметила его новую улыбку и, несмотря на то, что он хуже стал отвечать по алгебре и еще хуже по геометрии, с растерянностью и по инерции ставила ему все те же «пятерки». Пальчиков думал, что у нее были какие-то серьезные житейские причины перейти в другую школу. Говорили, что Лидия Ивановна устала так далеко ездить на работу. Новая ее школа была рядом с ее домом. Говорили, что она стала неважно себя чувствовать, может быть, надорвалась, может быть, у нее что-то стряслось в семье, на личном фронте. Пальчиков знал, что не из-за него, не только из-за него, не только из-за детей ушла Лидия Ивановна, но и из-за него тоже, из-за всех любимых ее учеников.

Пальчикову нравилось, что Кира Андреевна тоже испытывала невольную вину перед коллегой. Пальчикову нравилось, что Кира Андреевна была похожа на светскую даму из девятнадцатого века – тонким лицом, приятными духами, сдержанностью, утомленностью, холодком, дипломатичностью. Кира Андреевна умела не дуться и не благодушествовать, умела с терпеливым пиететом смотреть на чистосердечную Лидию Ивановну.

Зрение юноши Пальчикова становилось литературным – отчасти ерническим, отчасти ханжеским, типизирующим. Ему было забавно видеть в своих одноклассниках Бобчинского с Добчинским, Ленского с Онегиным, Базарова с Ионычем и даже князя Мышкина с Наташей Ростовской. Пальчиков любил писать сочинения, любил на следующее утро после сочинения искать глазами Киру Андреевну в школьном коридоре. Он любил волнение на ее лице перед тем, как она начинала его хвалить. Он знал, что она ждала его сочинения. Вечером после уроков он чувствовал, что именно в этот момент Кира Андреевна читает его тетрадь. Ему нравилось, что восхищение способностями ученика у Киры Андреевны сменялось боязнью неминуемого разочарования в нем. Чем интереснее Пальчиков писал сочинения, тем быстрее росла ее уверенность в том, что и из этого одаренного мальчика ничего не получится. Ему казалось, что то, что из него ничего не получится, вовсе не расстраивало Киру Андреевну, а удовлетворяло. А разочарования она боялась другого – боялась, что он даст петуха в следующем своем сочинении, боялась, что он будет заботиться об успехе, а не чувстве собственного достоинства. Пальчиков вспоминал, что Кира Андреевна, кажется, не очень любила Тютчева, о нем она говорила дежурными фразами. Восторженно она говорила о Серебряном веке, о Гиппиусе, Маяковском и Ходасевиче. Пальчикову казалось, что, полюбив Тютчева, он словно подвел Киру Андреевну. Он чувствовал свою вину перед обеими учительницами – и перед Лидией Ивановной, и перед Кирой Андреевной. Он думал, что Кира Андреевна понимала, что он будет помнить Лидию Ивановну с печалью и нежностью, а ее, Киру Андреевну, только с нежностью.

Пальчиков считал, что, если бы он выбрал для жизни не литературу, а математику, то, быть может, ему было бы лучше теперь, чище, свободнее, быть может, он и теперь переживал бы порой счастливые минуты – от новой мысли, сцепления догадок, поискового прорыва. Может быть, он созерцал бы мир куда более, чем теперь, связанным, великим, по-настоящему божественным, божеским.

Однажды он увидел Лидию Ивановну постаревшей в скверике на скамейке. Рядом, как мелкие собаки, топтались голуби. Если бы Лидия Ивановна его заметила, он бы к ней подошел и поздоровался с ней, и, быть может, ей стало бы радостно. Но Лидия Ивановна его не замечала и не узнавала – прошло двадцать лет. На ней не было парика, ее волосы были редкими и крашенными и струились мягко, по-детски. Лидия Ивановна смотрела между деревьями, между домами вдаль, в одну точку – свою любимую точку.

Пальчиков мучился: «Неужели у меня на каждом этапе новый любимый человек? Одна любимая учительница, другая, Катя, Дарья. Разве так должно быть? Разве так любят – сменяя и заменяя? Разве не вечно?»

Он знал, что, в конце концов, его ждет расплата. Одна расплата. Не утешай себя тем, – разговаривал с собой Пальчиков, – что если ты знаешь, что достоин только одной расплаты, она тебя в итоге минует, что ты этим предчувствием ее нивелируешь, нейтрализуешь, умилостивишь. Нет, она будет. Если ты себя понимаешь, не говорит о том, что ты хороший. Ты не избежешь единственного – расплаты.

Можешь написать статус на страничке в социальной сети – слащавый, как всё в социальных сетях: «Разлюбил – значит предал».

27. Смерть от рака

В соседнем отделе умерла сотрудница Людмила Борисовна от рака. Она была ровесницей его бывшей жены Кати. Пальчикову казалось, что Катя и Людмила Борисовна были похожи характерами, вернее, не целиком характерами, а умением быть сильными с близкими людьми и радушными с малознакомыми.

Как-то Людмила Борисовна рассказывала Пальчикову о своем сыне. Рассказывала, не договаривая. «Он обо мне заботится. Он даже настаивает, чтобы я уходила с этой работы. А куда я уйду? А жить как? Я буду зарабатывать, говорит. Эх, молодые любят справедливость, а сами инфантильны». Пальчикову казалось, что и его Катя так иногда говорит о Никите – без гордости, но с благодарностью, похожей на жалость. Пальчиков думал, что если о детях нельзя говорить с гордостью, нужно молчать. Катя могла перевести разговор на дочь, на Лену. О дочери Лене можно было говорить с гордостью без натяжек. О ней и о внуке. У Людмилы Борисовны был лишь один ребенок, а внуками и не пахло. Пальчиков вспоминал свою мать: о достижениях младшего сына она вздохом повествовала всем соседям. Она гордилась им. Она гордилась младшим, а любила старшего. Так виделось Пальчикову. Старшему этого было достаточно. А ему, младшему Пальчикову, в отрочестве хотелось наоборот. Его и теперь коробит, если им кто-то гордится. Пальчиков догадывался, что взрослый сын Людмилы Борисовны сидит у нее на шее. Сидит и мучается, как его Никита.

Пальчиков опять говорил Никите: «А если я умру? У матери маленькая зарплата. Не она тебе, а ты ей должен помогать. Она плохо себя чувствует, ты ведь знаешь». «Папа, почему ты так говоришь? – взмалывался Никита. – Почему ты должен умереть?» – «Да хотя бы потому, хотя бы для того, чтобы тебе не осталось, на кого надеяться, и эта крайность подхлестнула бы тебя, заставила бы работать, становиться самостоятельным человеком». – «Я буду работать, папа». – «Когда, Никита?»

Однажды Иргизов в присутствии Пальчикова отругал Людмилу Борисовну: та не осилила директорское поручение. Людмила Борисовна вышла из кабинета пунцовая, виноватая, улыбчивая, казалось, она польхала от волнения. Но когда она рукой случайно задела Пальчикова, Пальчиков изумился холоду ее кожи. Иргизов спросил Пальчикова, оставшись с ним наедине: «У вас какая зарплата?» Пальчиков ответил. «Вот как! В два раза больше, чем у Людмилы Борисовны. Вам и карты в руки. Попробуйте не справиться!» – нахмурился Иргизов. Пальчиков пошел доделывать за Людмилой Борисовной. Он знал, что, внезапно озлившись на него, Иргизов тем самым извинился перед Людмилой Борисовной.

Пальчиков видел, что его жена Катя краснела по-другому, нежели Людмила Борисовна. У Кати была смуглая кожа, которая умаляла Катину ажитацию. И руки у Кати, наверное, слава богу, были до сих пор теплы. Он научился понимать, когда Катя действительно тревожилась. Тогда, когда не признавалась в очевидном, замиралась. Пальчикова эта детское Кагино упрямство ставило в тупик: он не знал, хорошо это или дурно, смешно или противно. «Это смешно, – говорил себе Пальчиков в последнее время. – И ты должен был хохотать над ее упрямством вместе с ней. Вот как ты должен был себя вести».

Людмила Борисовна умерла спустя полгода после операции. Пальчиков общался с ней перед больницей. Она сказала Пальчикову, что сын боится ее операции, а она нет. «Я знаю, что это доброкачественная опухоль», – обыденно произносила слова Людмила Борисовна. Пальчиков думал, что ей не хотелось, чтобы люди верили в ее рак. «Пусть о своем раке буду знать только я одна. Пусть я знаю, а больше никто».

Женщины не разглагольствуют о смерти, думал Пальчиков. Даже на кладбище, даже со священником. Они считают такие разговоры мужскими, культурологическими. Женщины – ответственные люди. Они видят больше. Они чаще видят себя со стороны.

Людмилу Борисовну теперь, после ее смерти, на работе узнали все. Вздыхали пару дней: умерла еще одна не старая, пятидесятилетняя женщина. Припоминали ее красные щеки, доброжелательность, сбивчивость, пухлые руки. Коллеги Пальчикова Нина и Писемский, видимо, обсуждали смерть Людмилы Борисовны, но при Пальчикове умолкали. Нина сказала, что можно было бы и некролог вывесить. Даже если кто-либо из партнеров и подрядчиков умирает, Иргизов вывешивает в холле некролог. А здесь умерла своя сотрудница – ни соболезнований, ни помощи семье. Понятно: статусом не вышла, до некролога не доросла. Пальчиков предложил: «Хоть она и не из нашего отдела, давайте скинемся понемногу. У нее из родственников только сын». Пальчиков помнил, как по указанию Иргизова лет пять назад написал некролог на живого, тяжело болевшего ветерана фирмы, известного в городе человека. Пальчикову заблаговременный некролог писать было неловко – как кощунственный пасквиль, как смертный приговор. Пальчиковский текст Иргизов одобрил, а ветеран возьми да и выздоровей и до сих пор цветет и пахнет. Пальчиков думал, что Иргизов «рыбу» некролога не уничтожил, оставил дожидаться своего часа в ящике письменного стола. А для Людмилы Борисовны такой заготовки не нашлось.

Пальчиков видел, что о Людмиле Борисовне печалились по-настоящему – не как о безвременно ушедшей, а как об ушедшей – радостной и стойкой.

Пальчиков задавался вопросом, почему общество безоговорочно любит таких женщин, как Людмила Борисовна и Катя. Люди любят своих, свой круг, а Людмилу Борисовну и Катю любят все. Плохо это или хорошо, когда любят все? Это было бы плохо, если бы Людмила Борисовна и Катя были лицемерными, слащавыми, приятными. А они бесхитростные и горделивые. Таких русских женщин любят даже те, кто вообще ничего русского на дух не переносит. Поэтому считается, думал Пальчиков, что таких русских женщин любят намеренно, в пику другим русским людям, таким, как он. Вряд ли это верное мнение, не все же в мире маркетинг и политика.

Он помнил, как ехал с Людмилой Борисовной последний раз в метро, как, расставаясь, одобрительно, бережно пожал ее спокойную руку. Он помнил руки Кати. Он любил целовать Катины руки. И Катя любила, когда он целовал ей руки – Катины доверчивые, стеснительные, умные, остроумные руки.

28. Тусовка

Вдруг Пальчикова пригласили на презентацию книжки Герцмана. Последние десять лет Пальчикова не звали на интеллигентские тусовки. Лет пятнадцать назад о нем сказали, что он судлся, и менее уничижительно – что он отрезанный ломоть.

Герцман когда-то хвалил перо Пальчикова, молодого, хвалил его первую и единственную статью – о Тютчеве. Хвалил года три, но так и не опубликовал в журнале, где властвовал на исходе

Советского Союза. Тогдашняя влиятельность Герцмана была вызвана гремучей смесью его номенклатурного положения в культуре с ироничным, эстетским, будничным диссидентничаньем. Кроме того, он выглядел каким-то страдающим и надменным, неприступным и фамильярным. Он любил тембр своего басистого голоса, любил говорить монотонно, вальяжно, отстраненно, уповая на густую звучность, а не на колоратуру и форсаж. Говорили, что он донжуан, что ему нравится разбивать сердца. Журнал давным-давно закрылся, фамилию Герцмана Пальчиков иногда встречал среди членов жюри различных литературных премий, торопливые, явно вынужденные книжные рецензии, подписанные Герцманом, периодически попадались Пальчикову в газетах.

В знакомом, истрепавшемся зале с сужеными потолками сидели полужнакомые люди – писатели, культурологи, литературоведы, профессор Маратов. Полужнакомыми они стали от времени. Герцман (иногда его с вялым ерничеством звали Герценом) не выглядел спокойным и торжествующим, он выглядел лихорадочным и измученным. Только его рассеянность могла кому-нибудь показаться уравновешенностью. Среди собравшихся Пальчиков заметил одного специалиста по Лермонтову, одного по Фету, одного по Аполлону Григорьеву. Все они были теперь забытыми, бывшими. Пальчиков уже листал новую книгу Герцмана. Герцман писал мало, писал эссе – без энергии, физически бессильно, как из последних сил, изошренно, метафорически, с реминисценциями. По сути, это были дневниковые записи, дневниковые размышления о бытовых мелочах в жизни известных авторов девятнадцатого века. Казалось, его не интересовало творчество этих людей. Казалось, он хотел сказать, что сквозь биографию художника проступают его произведения, а сквозь житейскую повседневность – нет. Мироощущение Герцмана в его эссе Пальчикову не нравилось. Герцман не любил надрывы, прямоту нравственных страданий, описания угрызений совести. Почему-то Герцман не любил Тургенева (вероятно, за плавность слога), хотя именно Тургенев, как виделось Пальчикову, должен быть близок Герцману.

Пальчиков полагал, что Герцман позвал его на презентацию не только движимый ностальгией, но и затем, чтобы Пальчиков убедился, что в его, Герцмана, книге Тютчев другой, не пальчиковский, чтобы убедились иные никому не нужные знатоки, что у него и Лермонтов, и Фет, и Аполлон Григорьев другие, своеобразные, авторские, герцманские. Неужели и Герцман боится подозрений в плагиате? – недоумевал Пальчиков. – Изысканный Герцман, создатель парадоксов, окказиональных шуточек?

Пальчиков издаലെка, при входе в помещение, различил в Герцмане стариковскую теплоту. Нет, думал Пальчиков, Герцман не плохой человек. Как хороша всегда была в нем эта смертельная усталость Экклезиаста! И он, Пальчиков, схож с Герцманом этой горделивой усталостью. Это я плох, думал Пальчиков, со своими дурными предчувствиями, неверчивостью, ипохондрийей. Это я предполагаю злокозненность в человеке, а ее нет. Это я неблагодарен и черств. Человек позвал на презентацию, позвал к себе от чистого сердца, а я смею сомневаться в его чистоте. Поэтому тебя и сторонятся, бирюк и дикарь. Ты в хороших людях видишь плохое, а в плохих хорошее.

Пальчиков пожал руку Герцману. Пальчикову показалось, что Герцман хотел обнять и поцеловать его, как обнимал и целовал других гостей. Но Пальчиков невольно отстранился, и Герцман скомкал порыв, опустил руки по швам и лишь улыбнулся Пальчикову растерянно. Мгновение Герцман выглядел пристыженным, и Пальчиков почувствовал себя пристыженным. Он надеялся, что Герцман понял его: Пальчиков не побрезговал Герцманом (боже упаси!), Пальчиков по-прежнему по-мальчишески стеснялся его, он не мог допустить мысли, что величественный Герцман когда бы то ни было вознамерится обнять и поцеловать его как близкого.

Пальчиков всю презентацию просидел особняком. На него даже не косились, не косился даже Герцман. На фуршет Пальчиков не остался.

Он думал, что творческим людям для радости мало творчества, им нужно видеться как обычным людям. Творчество центробежно, творчество сушит. По-настоящему писатели любят только пирушки. Ни семейная жизнь, ни общественное служение, ни прогулки по парку, ни измены, ни разврат не заменяют писателю пирушек с единомышленниками. Пирушки – это начерно, а не набело. Сквозь пирушки прорастает виноградная лоза.

Пальчиков уже не огорчался, что так и не укоренился в интеллигентском сословии. Теперь он радовался этому. Падать надо недалеко от яблони. Пальчиков думал, что если ему и нужно было связывать себя с культурой, то исключительно ради сына, внука, потомков, для перемещения рода на другую колею.

Пальчикову казалось, что он человек не той, не культурной закваски. Он не дипломатичный, не артистичный, не зрелый. Он вечный новичок. Он шит белыми нитками. Он никак не удосужится понять, что нельзя задавать вопрос: «Зачем живу?», ужасаться напрасно прожитой жизни. Он умеет хитрить, выгадывать, лицемерить. Но он не умеет этого делать благопристойно, технично, без ляпсусов. Ему, ленивому и утомленному, видите ли, не по нутру цивилизаторские улыбки лощеных политиков, непробиваемая сдержанность хорошо осовремененных граждан мира. Пальчиков останавливал себя: «Ты сам лжец, только никудышный лжец! Прекрати этот лживый самосуд!»

29. Колика

Пальчиков не понимал, что с ним случилось в субботу после обеда. Он почувствовал боль – какую-то доселе не известную, свежую, интенсивную, не размазанную, но словно собранную внизу живота и сбоку в один огромный, давящий кулак. Пальчиков подумал, что он отравился старым супом, что надо принять «Смекту» – и все пройдет. Он уже не мог лежать от боли. Его мучило, его вырвало. Он развел порошок в стакане, выпил, он проглотил три таблетки но-шпы, затем прочитал на упаковке, что срок годности лекарства истек год назад. Он ложился, вставал, его рвало по капле. Почему-то боль казалась слабее, когда он ложился на правую, с болью, сторону, будто прижимая ее остальным, не болящим телом. Он уснул на пятнадцать минут. Сквозь дрему он думал, что победил боль, что справился, что очнется здоровым.

Он проснулся от боли. Боль была словно стерильной, точно не он во сне отдохнул от боли, а боль отдохнула от него, не он окреп, а она окрепла в нем, пока он спал. Он еще принял но-шпы. Он совал пальцы в гортань, но для рвоты внутри не осталось ничего. Он ложился на больной бок, опрокидывался на другой, дрожал, ложился на спину, сворачивался калачиком, сползал на пол, поднимался, ходил по комнате. Боль была странной, неизбывной, монотонной, работающей, как вечный двигатель. Он думал, что эту боль может поглотить лишь другая боль – куда более сильная и мгновенная. Он ерзал, вытягивался, поджимал ноги, прятал голову. Он решил вызвать «Скорую помощь». Он не помнил номер службы экстренной помощи. Прочитал в интернете, что – «112», ему сразу ответила немолодая женщина. Он с трудом диктовал ей свой адрес. Она сказала, что у него в телефоне что-то пикает, и если это не прекратится, она повесит трубку. Все-таки она дослушала его до конца. Он приготовился ждать неотложку продолжительное время, но в дверь позвонили скоро.

Мужчина-врач начал записывать состояние Пальчикова с его слов. Пальчиков отвечал невнятно, с паузами. Врач раздражался: «Говорите четко!» Пальчиков просил сделать обезболивающий укол. Врач возражал, потому что не понимал, что с больным, говорил, что обезболивающее может спровоцировать обострение. Однако он сжалился и велел медсестре сделать антиспазматический укол. Та сделала, но улучшения не наступило. Пальчикова повезли в больницу. Он положил в пакет, как ему посоветовал врач, бокал, ложку, туалетную бумагу. Забыл тапки и деньги. В дороге Пальчиков думал о работе, о неудобствах, которые доставит своему отделу и Иргизову, если надолго выйдет из строя.

В приемном покое грубоватую конвейерную толкотню сдабривала мимолетная уважительность больных к неожиданным страданиям друг друга. Пальчиков сдал анализы, прошел рентген, попал на УЗИ. Укол молодая бленькая фельдшерница обещала сделать ему после УЗИ. В перерывах между кабинетами он жался в мучениях на стульях в коридорах. Проезжали каталки с людьми без сознания. Пальчиков чувствовал, что и ему было бы теперь уютно без сознания, иногда мнилось, что боль затихала, он даже, вероятно, забывался, он понимал, что забываться можно и на секунду.

Он позвонил сначала сыну. Телефон у сына был отключен. Пальчикова это не удивило. Сын по-прежнему отгораживался от социума, не хотел вяло оправдываться перед отцом. Пальчиков привык писать ему на электронный адрес, требовал откликнуться. Сын не торопился отвечать два-три дня. Пальчиков позвонил дочери. Дочь испугалась болезни отца. Когда дочь Лена пугалась, она становилась маленькой девочкой. Через пять минут позвонила Катя. Он сообщил, что дожидается УЗИ, что боль странная, что деньги забыл с собой взять. Катя сказала, что сейчас с зятем заедут к нему в больницу. Ей был хорошо знаком этот приемный покой. Она сказала, что Никита тоже заболел, валяется с ангиной.

На УЗИ и рентгене молодая беленькая фельдшерница была рядом с ним. Ему было неловко и приятно, что она заглядывала в мониторы, любопытствовала, как он выглядит изнутри. Он вспомнил, что, когда она ощупывала его живот, то руку спускала низко, казалось, неприлично низко. После УЗИ она ободряюще улыбнулась, сказала, что сейчас сделает ему укол, что у него камни в почках.

Беленькая сделала укол неслышно – и боль пропала сразу. Беленькая улыбалась. Пальчиков сказал: «Спасибо. Боли нет. Это удивительно. Как быстро, как будто кепку с головы снял! Это от вашей улыбки». Он думал, что его слова – не кокетство и не флирт опять выздоровевшего мужчины, ему хотелось произнести, что ее укол был ласковым и поэтому таким целебным. «Сейчас к урологу», – сказала беленькая. «А можно мне домой? Мне уже хорошо», – сказал Пальчиков. «Смотрите, лучше лечь в клинику. Я передам вашу просьбу врачу».

Пальчиков увидел жену Катю и зятя Олега. Взгляд у Кати был мужественный, наставительный, заботливый. Олег впервые смотрел на тестя с теплым беспокойством. Пальчикову нравились и взгляд Кати, и взгляд Олега. Пальчиков говорил: «Спасибо, что приехали. Укол сделали – и как кепку с головы, опять такой, как был. Не ждите, я, наверное, домой отпрошусь. Я позвоню, не ждите». Катя оставила ему денег. Он хотел было сказать, что понимает теперь, как она мучилась со своими приступами, но не сказал, потому что она прочитала все в его глазах. Она улыбнулась и молвила: «Вот-вот». «Да, пришла пора болезней», – ответил он благодарно, умильно, как старик.

Уролог торопился, его звали к тяжелому пациенту. Уролог прислушался к просьбе Пальчикова, сказал: «Жаль, надо бы в стационар, обследоваться. Колика может повториться в любой момент». Уролог выписал Пальчикову направление в поликлинику, рецепт и отпустил. Пальчиков оглядел коридор, беленькой не было видно.

В телефоне было два пропущенных звонка от сына. Пальчиков знал, что несколько дней сын будет отзывать на каждый звонок заболевшего отца, а потом опять возьмется за свое, опять начнет сторониться и таиться. Пальчиков набрал сына. «Папа, как ты?» – незамедлительно отозвался сын. «Теперь хорошо». Пальчиков расспросил об ангине, рассказал сыну о больнице, чудодейственном уколе, матери, зяте, старости. «Ты совсем не старый, папа». Пальчиков понимал, что сын представляет его действительно не старым. Пальчиков думал, что Кате он показался состарившимся. Его радовало, с какой попечительной иронией она взирала на него в приемном покое – как в молодости, когда он жаловался ей на проклятый насморк.

Затем позвонил незнакомый мужчина, оказавшийся врачом «Скорой помощи». Теперь он говорил не раздраженно, а заискивающе, помнил Пальчикова по имени и отчеству. «Кажется, я оставил у вас в квартире свой мобильный телефон. Вернее, это не мой телефон. Это казенный. Посмотрите, пожалуйста». Пальчиков взглянул на стол, за которым сидел и писал врач. Чужой телефон лежал на столе рядом с рваной салфеткой и шприцем. Пальчиков сказал: «Приезжайте, телефон здесь». Через несколько минут врач появился. Он узнал диагноз Пальчикова и утешил в дверях: «Не переживайте, у меня тоже был камень. Сам вышел».

Когда Пальчиков ложился в постель, он чувствовал томление в правом боку, он думал, что это возвращается боль. Пальчиков проспал четыре часа. Он очнулся от новой колики. Она была сильной, но уже знакомой, понятной. Пальчиков принял оставшуюся пару таблеток просроченной но-шпы, часа полтора провозился в кровати и в утренних сумерках вызвал «скорую» повторно.

30. Жена и Боря

Катя возобновила связь с Борей. Этого Катиного любовника Пальчиков звал Борей (а не Борисом) вслед за сыном Никитой. Никита звал его Борей (а не дядей Борей) с нарочитой (для отца) досадливостью.

Боря был одноклассником Кати, был женат и имел двух детей. У Бори был свой небольшой бизнес – то ли шиномонтаж, то ли химчистка.

Пальчиков видел Борю только на фотографиях «ВКонтакте». Боря любил селфи. Пальчиков думал, что человек, который любит автопортреты, не столько экспансивен и сиротлив, не столько хочет покорять других, сколько жаждет ясности, жаждет найти себя. Иногда, чтобы найти себя, надо завоевать других. Ревность Пальчикова (он видел, что она у него завистливая, а не яростная) воображала, что Боря еще в детстве поставил перед собой задачу рано или поздно покорить всех своих красивиц-одноклассниц – тех, кто его не замечал, кто им пренебрегал, кому он не нравился. Катя была одной из самых улыбочивых и неприступных.

На фотографиях Боря выглядел щекастым крепышом с седым бобриком, втягивал живот, улыбался одной стороной рта. У Бори были седые усики, которые ему не шли, которые он ровнял, вероятно, каждое утро и еще в течение дня пытался подгрызать. Пальчиков помнил, что Катя не благоволила усатым мужчинам, по крайней мере, когда Пальчиков вдруг начал отпускать усы, она воспротивилась этому. Она смеялась, что усы у него получаются красными, словно крашенными, мещанскими, придурковатыми, не умными. Кажется, она даже сказала, что не будет целовать его, пока он не побреется. Больше Пальчиков не носил усы и не будет носить. Усы меняют человека до неузнаваемости. Он думал: а как же она целовала и целует в усы Борю?

Пальчиков подозревал, что лет десять назад Борю подсунили Кате ее подружки, скорее всего, ее школьная подружка Жанка. Для лесбиянки Жанки Боря был эталонным мужиком – напористым, страшненьким, практичным, несмешным. Пальчиков надеялся, что Катя завела любовника не от необходимости и жесточечности, а чтобы насолить ему, мужу, и вернуть его. Кроме того, ей любопытно было узнать в тот переломный момент жизни нового, совершенно иного мужчину. «Обидно ведь, умрешь и так никого голым, за исключением Пальчикова, и не увидишь ни разу», – верно, хохотала она с подружками.

Пальчиков чувствовал, что встречи Кати с Борей были неперIODическими, от случая к случаю, словно вызванные (тешил себя Пальчиков) не жадой, а тоской и скукой – тоской Кати, скукой Бори. Скоро эти встречи сошли на нет. Катя опять была одна. Пожалуй, ей хотелось влюбиться в третьего – не в Пальчикова и не в Борю.

Недавно сын невольно проговорился, что мать не порывала с Борей окончательно. На вопрос Пальчикова, когда Никита устроится на работу, сын ответил, что мама позвонит «дяде Боре, ну Боре, ну тому, богатенькому ее однокласснику», и он возьмет Никиту к себе в фирму. «Позвонит», думал Пальчиков, не значит, что не порывала, быть может, от отчаяния за сына вновь вспомнила о Боре. Пальчикову было неприятно слышать, что не он, отец, сможет наконец-то трудоустроить сына, а любовник Кати, любовник его бывшей жены. Пальчиков знал, что Боря не захочет возиться с чужим сыном, не захочет привязывать себя к Кате крепче, чем это есть, чем это не обременительно, – даже из благородства, даже для самолюбования. Боря скажет: «Подумаем, посмотрим. А что Никита умеет делать?» И тогда Катя совсем охладет к Боре. Если же Боря, несмотря ни на что, поможет Никите, Катя, которая прекращала-таки отношения с Борей, будет испытывать к нему не только благодарность, но и новую, обновленную теплоту.

Ну и хорошо, – печалился Пальчиков. – Пусть она хоть с кем-то будет счастлива, хоть с Борей, если не могла быть счастлива с тобой, с мужем. Какая разница, как она будет счастлива?! Главное – будет счастлива.

То есть Боря поможет тебе ее осчастливить? – хватался за голову Пальчиков. – Ты рад тому, что твою жену сделает счастливой ее любовник? Что это – кощунство, мазохизм? Не важно. Важно, что она будет счастлива.

Значит, ты ее не любил, если так легко уступаешь другому. Я не легко уступаю, я любил.

Ты даже не можешь теперь напиться с горя. Ты можешь только размеренно идти. Идти пешком – не куда глаза глядят, а идти до метро и обратно и опять до метро и обратно.

Поведай кому-нибудь свою жизнь – все будут говорить о тебе как о дураке и слабаке. Никто не пожалеет и даже не рассмеется. А ты в ответ, в немоту и тишину, будешь посылать свое последнее утешительное оправдание: «Да, дурак и слабак. Но, выходит, и такие люди зачем-то нужны. Все нужны на белом свете».

Ты будешь верить, что это твое ничтожное самооправдание – правда.

Пальчиков помнил, как встречал как-то Новый год вдвоем с сыном. Никита не оставил отца одного перед лицом очередного рубежного времени. Никита старался не смотреть на отца с жалостью, состраданием, гордостью, любовью. Никита отключил телефон, чтобы не разговаривать не только с приятелями, но и с матерью. В два часа ночи Катя позвонила сама Пальчикову, спросила, где Никита. Пальчиков ответил, что Никита ушел в свою комнату спать. Выпил немного шампанского и отпросился спать. «А я у Жанки, – сказала жена. – Тебе привет от Жанки». Да, думал Пальчиков, она была у Жанки, потому что Боря Новый год встречал со своей семьей, с женой и детьми.

31. Любовное томление

Вдруг в один из воскресных вечеров Пальчикова охватило томление по Дарье. Не по Кате, а по Дарье. По Кате он привык томиться по-другому – с бережностью, бестелесностью, признательностью. К Дарье томление было молодым, алчным, воющим. Ему было неловко, что любовное томление он испытал к Дарье, а не к Кате. Ему было стыдно, что к Кате страсти он больше не испытает.

Дарья теперь жила в Австралии с другим иностранцем. С немцем и Германией она рассталась. Она скрывала своих иностранцев, словно стеснялась их, словно в будущем не собиралась о них помнить. Пальчиков не мог идентифицировать ее партнеров на фотографиях с ней. Она никого не обнимала на фотографиях, кроме подружек, ни у кого не сидела на коленях, ни к кому не прижималась, ни на кого не смотрела с ласкательной осведомленностью. Ее фотографии в фейсбуке образовали выхоленную летопись ее «beautiful life», бессрочный рекламный буклет аристократически нежной девушки на выданье – подарка судьбы.

Последнее время Дарья стала выкладывать в соцсети старые фотографии как новые, конечно, чтобы выглядеть для непосвященной публики свежее себя нынешней, но и с тем, чтобы кто-то (может быть, даже и он, Пальчиков) вдруг вспомнил о тех днях, проведенных с ней, вспомнил мучительно, с ностальгической сладостью, горькой безвозвратностью. Чтобы у него дух перехватило, чтобы он начал кусать локти, чтобы осознал, кого потерял.

Томление было такое ясное, что ему захотелось об этом сообщить Дарье, написать ей в фейсбук. Написать о том, что он никогда не думал, что любовь может пребывать сама по себе, как субстанция, что любви ничего не надо, не надо близости, счастья, несчастья, что она невероятным образом предметна, будто осязаема, сильна и трепетна, что она неизбежна. Пальчиков хотел сказать Дарье, что именно с ней он почувствовал любовь, именно с ней он назвал любовь любовью. Он бы не стал говорить лишь о том, что благодаря Дарье, благодаря странной к ней любви (словно не полной, половинчатой), к нему пришло понимание, что он любил и любит Катю, любил ее до Дарьи, любит и теперь.

Пальчикову казалось, что в этот миг, наедине с самим собой, в своей берлоге он слышит любовь как нечто живое, он готов поднять ее на руки, взвесить ее. «Вот она, – удивлялся он, – не выдумка, реальная, сколько уже лет. Господи! Все так чувствуют. И Дарья тоже. Она дразнит меня своими давними, почти нашими общими фотографиями».

Он подумал, что Катя любить так телепатически вряд ли себе позволит. У Кати любовь на глубине. Ее глубин не разглядеть, не вычерпать.

Пальчиков написал в фейсбуке Дарья: «Я хочу, чтобы ты знала, я не притворяюсь, я люблю тебя». Он удалил «тебя», но снова набрал «тебя» на том же месте.

Пальчиков ждал ответа день, два, неделю. Дарья не отвечала, Дарья выкладывала фотографии. Сиднейские фотографии чередовались с прежними, русскими. Казалось, Дарья говорила: «Почему ты думаешь, что я выкладываю фотографии для тебя? С чего ты взял, что это наши с тобой фотографии?»

Пальчиков думал, какое малое место любовь занимает в жизни человека, даже когда занимает всю его жизнь. Любовь отстраняется от человека, чтобы он не превратился в сентиментальную скотину, чтобы он чудил, воевал, презирал, лгал, помогал, копошился, тщеславился, чтобы он балансировал на весу, чтобы он не сгорал, чтобы жил сложно, противоречиво, эгоистично, натуралистично, уютно, забывчиво, чтобы высокое не захлестывало низкое. Когда высокое захлестывает низкое, высокое само выглядит низким. Ничто в жизни не называй гармонией, называй противовесом. Не называй высоким, называй по-другому, не называй любовью, прибегай к иносказаниям.

Что бы ты ответил человеку, которого почти забыл, которого решил забыть и от которого вдруг пришло признание в любви? Что-нибудь да ответил, – понимал Пальчиков. – Я бы не мог не ответить, я словоохотливый. Я бы ответил так, не любя человека, не вспоминая о нем, понимая его: «Спасибо за признание. Это очень дорогое признание. Спасибо за теплоту. Неужели я ее достоин? Мне чрезвычайно приятно, мне радостно. Будь счастлива!»

Почему так не ответила Дарья? Почему совсем не ответила? Значит, ответит по-другому, не теперь, – решил Пальчиков. – Значит, не забыла. Забывает, но не забыла. Не надо мешать ей забывать. Это, видимо, очень сладко – забывать, забывать незабываемое, как засыпать.

Пальчиков знал, что Дарья не вернется в Россию. Дарья теперь больше иностранцев иностранка. Если она и вернется когда-нибудь в Россию, то лишь тогда, когда уже не нужно будет возвращаться победительницей.

32. По кочану

Однажды, еще молодым, Пальчиков слышал, как один пьяненький поэт в конце пирушки жаловался на судьбу. Вероятно, во всеуслышание он это делал впервые. Он полжизни крепился, храбрился, хохотал, как непризнанный гений, и вдруг проговорился. «Почему, Господи?» – воскликнул он. «Почему ни славы, ни пользы? – твердил поэт. – Я хорошо пишу и, кажется, верно пишу. Никто не читает, никто ничего не читает. Но молодые ведь должны читать, должны любопытствовать, в них должна кипеть энергия познания, энергия якобы бессмертия. Почему, Господи?»

«По кочану», – кто-то отрезал за столом. Было неизвестно, кто. Над тарелками и бутылками плавал дым и смех, становилось сумрачно, компания собралась большая, радостная. Присутствовали и профессор Маратов, и Герцман. Но не они это молвили.

Теперь Пальчиков спрашивал: «Почему, Господи?» И отзывался сам себе: «Не называй меня Господом». – «А как?» – «Никак».

Пальчиков любил говорить о Боге с сыном и проститутками, только с сыном и проститутками. С сыном он говорил о религии как близкий с близким, как педагог. От интимной близости, как с чужими, он говорил с проститутками, перед которыми был гол и которые перед ним были голы, которых более на своем веку он не встретит. Проститутки привыкли к причудам клиентов. Кто-то из них, казалось, действительно верил в Бога, но эти душу перед Пальчиковым не раскрывали. Они слушали и улыбались, они всегда торопились. Другие любили говорить о Боге, рассказывали, как и что их иногда спасало от неминуемой гибели чудесным образом.

Никите Пальчиков внушал, что если не пришел к Богу сразу, словно от самого Бога, приходи к Нему от верующих умнейших людей, которые для тебя авторитетны, которым ты смотришь в рот. Пальчиков просил Никиту иногда креститься. «Папа, – уточнял Никита, – я забываю: сначала

ла на правое плечо?» – «Сначала на лоб». – «Это я знаю. А потом на правое?» – «Да, на правое», – начинал раздражаться Пальчиков. Он не говорил сыну: «Ты ведь не католик, чтобы на левое». Пальчиков боялся, что Никите может понравиться креститься, как католику: так, мол, слева направо «прикольнее».

Иногда отец что-то рассказывал Никите из евангелия. «Все несчастья человека от незнания священного писания. Так говорил Иоанн Златоуст. Представляешь, Никита, все. Даже сегодняшняя твоя досада на мать».

Никите нравился эпизод с богачом, который хотел не только Царствия Божьего, но и быть совершенным, а продать свое имущество и раздать вырученные деньги нищим и следовать за Христом, не захотел, отказался от совершенства.

Отец говорил Никите, что верующий борется со своей гордыней, потому что она ему мешает. Никита возразил: атеисту гордость и самолюбие, наоборот, могут помогать, – помогать держать достойным человеком.

Отец поведал Никите даже о сомнительном и опасном. Но это сомнительное и опасное представлялось Пальчикову самым главным для человека. Он сказал сыну, что Бог так милостив, так любит нас, что не позволит адским мукам для грешников длиться вечно, что об этом многие отцы церкви упоминали. Самые отъявленные злодеи чувствуют это в первую голову. От понимания, что геенна не вечна, грешить сильнее не будешь. Может быть, наоборот, усовеститься: разве можно подвести такое безграничное доверие, такую любовь?

Никита перенимал отцовскую риторику. Иногда Пальчиков укорял сына: «Когда же я буду не только любить тебя, но и гордиться тобой?» Сын же отвечал: «А ты разве “гордиться” ставишь выше, чем “любить”?»

Иногда и отец интересовался у сына: «Как укреплять веру? Не вешать же евангельские заповеди в рамочку на стену?» Сын думал, что отец верит в Бога от боязни смерти. «Нет, – сопротивлялся отец. – Главный вопрос не в том, есть ли будущая жизнь. Главный вопрос – а какое все там? То есть не что, а какое».

«Я, знаешь, без чего сейчас не смогу? Без молитвы, – говорил отец. – Я привык молиться – и утром, и на ночь, и в течение дня. Молитву теперь из меня не вынуть. Например, у поэтов стихи молитвенны. У Тютчева что ни стихотворение, то молитва». Пальчиков видел, что про молитву сын ему верил.

Сыну Пальчиков не говорил о сомнениях, но скоро скажет. Пальчикову казалось важным объявить о сомнениях именно сыну, Никите. Почему эти сомнения, если все ясно? Пусть Никита улыбнется: «По кочану!» Пусть он будет знать больше меня, больше моего.

Мне осталось, думал Пальчиков, полюбить скуку жизни, не смириться с ней, а полюбить. Скука жизни законна, она хороша.

33. Иргизов уменьшил зарплату

Иргизов уменьшил зарплату Пальчикову на четверть. Сразу – на четверть. Через замшу Хмелеву Иргизов проинформировал, за что. За невыполнение отделом Пальчикова планового задания. «Как же так? – изумился Пальчиков. – Задание было не плановым, а сверхплановым. Не среднемесячным, а увеличенным на четверть. На злополучную четверть. Это несправедливо. Это самое обыкновенное хамство». Пальчиков спросил у замши: «Что делать?» Замша пожалала плечами, как показалось Пальчикову, раздраженно и брезгливо. «Что вы у меня спрашиваете? Спросите у генерального директора». «Как вы смеете, – возмущались ее глаза, – называть действия руководства хамством?»

Он увидел, что пронизательная замша мгновенно списала его со счетов. Именно так она списывала со счетов: нервно пожимала плечами, отворачивалась и благодушно отвлекалась на другого сотрудника, к которому у нее внезапно появлялось неотложное дело.

Пальчиков знал, что зарплату Иргизов до прежнего уровня уже не вернет. Потому что, даже при положительной динамике продаж, достичь их роста на четверть и через месяц, и через год не представлялось физически возможным.

Пальчиков полагал, что зарплата по логике вещей, если не меняются производственные показатели, должна, как минимум, также оставаться без изменений, а с учетом инфляции и повышаться. Но то что она может быть сокращена одним махом на четверть, при том что результаты работы ни на йоту не ухудшились, не укладывалось в его голове, выглядело не столько производом, сколько абсурдом. Пальчиков думал, что Иргизов таким образом попросту выдавливал его с занимаемой должности, заставлял вспомнить о чувстве собственного достоинства и подать заявление об уходе. На этот раз окончательное, а не очередное бутафорское.

Всё, финита ля комедия! – думал Пальчиков. – Как позорно я ухожу от Иргизова! Иргизов в своем репертуаре. А я в дураках.

Пришли подчиненные Пальчикова, просили его не увольняться, сказали, что собрали недостающую четверть к его зарплате, ибо он пострадал за отдел. Уверяли, что Иргизов вскоре все возвратит на круги своя, что это какой-то его выверт, недоразумение, а не хладнокровное решение. Так говорили Писемский и Нина.

«Спасибо, – отвечал Пальчиков, – но я не могу принять ваши деньги. Отдел ни в чем не виноват. Я не за отдел пострадал. Я сам виноват – я засиделся. Иргизов не принимает других решений, кроме как хладнокровных. Я засиделся. Надо было уходить раньше, вовремя, незаменимым. Я проворонил срок гордого ухода. Теперь я ухожу как побитая собака. Мне дали понять со всем возможным презрением, что в моих услугах больше не нуждаются, что в них не нуждаются уже не первый день, что держат из милости и из жалости».

Ему возражали Писемский и Нина: «Как раз наоборот, именно в вас и нуждаются. Без вас будет плохо, будет хуже».

«Хуже – это не плохо. Вот вы и станете, Писемский, начальником. Разве будет с вами хуже?»

«Будет хуже», – бубнил Писемский.

«Я знаю Иргизова. Мы с ним в чем-то похожи. Для него страшнее фальстарта – опоздать. Подумайте, разве старому работнику зарплату сразу на четверть ни с того ни с сего, словно из хозяйской блажи, уменьшают? Через месяц, если я сейчас не уйду, он понизит мне зарплату еще на четверть. Я и сейчас буду уходить с позором. А представьте, каким невыносимым этот позор будет через месяц».

Почему-то Пальчикову было приятно складывать в сумку свои личные вещи: книги, фотографии сына и дочери в рамках, иконку Богоматери. Он вспомнил, что коллега Анна из соседнего подразделения иконку держала не на письменном столе, а на платяном шкафу – крохотный образок Матроны Московской. Пальчиков случайно его заметил. До этого Пальчиков считал Анну настолько современной особой, что не мог заподозрить ее в каких бы то ни было религиозных чувствах или обыкновенной привязанности к традициям. Он ни разу не видел на ней крестика – на ее раздольном, холемом декольте. Он помнил, что в беседах порой подыгрывал ее критичности по отношению к российской действительности, вечной российской отсталости. Он не мог предположить, что Анна тоже обзаведется иконкой (правда, не Богоматери, а довольно чтимой нынешними женщинами святой – и простыми тетками, и богемными дамочками).

Иногда Пальчиков думал о своей жизни как о пережидании. Он помнил, что думал так всегда – о годах учебы, службе в армии, любой работе от звонка до звонка. Он знал, что даже если бы ему привелось трудиться свободным художником, и тогда он думал бы о пережидании. Пережить день, пережить творчество, пережить отношения.словно все это было привнесенным, второстепенным, обременительным, как затяжная болезнь. Выздоровеет ли он когда-нибудь? Кажется, нет, – думал Пальчиков. Он не умеет идти без оглядки. Он знал, что смысла в работе теперь нет. Не нужна ему теперь работа ни для хлеба насущного, ни для любимого человека. Именно поэтому ему теперь необходима самая тяжелая ноша, самая грязная работа, каторжный труд. Для самозабвения под косым дождем, для радостной нежности на солнцепеке.

Пальчиков соглашался с правой Иргизова. Грешно на него обижаться. У него бизнес, мысль о котором связана с общей картиной миропонимания.

34. Новый год

Новый год Пальчиков опять встречал в одиночестве. Он смеялся: это уже напоминает некую традицию – встречать Новый год не по-людски, одному. Если же не называть это традицией, люди назовут это несчастьем. Пусть это будет лучше именоваться традицией – нелепой, жалкой, дурной. Мало ли странных традиций на земле!

На столе у Пальчикова были бутерброды с красной икрой, мандарины для новогоднего запаха, орехи, салат с креветками и апельсиновый сок. Пальчиков поужинал в шесть вечера, в двенадцать он намеревался лишь ритуально перекусить. Лет пять назад он приготовил на Новый год утку с яблоками – антоновкой. Но почувствовал тогда, что вышло чересчур по-семейному, а для праздничного одиночества – слишком вычурно и отказался на будущее от утки на Новый год. Также как от свеч и елки.

Телевизор он включил в последний момент, перед поздравлением президента, а до этого сидел в тишине, окруженной со всех сторон триумфальным гомоном.

Когда пробило двенадцать, Пальчиков лишь вздохнул и отпил апельсиновый сок из бокала. Он подождал минут десять и начал дозваниваться до сына и дочери. Дети были одинаково радостны не столько потому, что он их поздравил, сколько потому, что услышали в его голосе будничную философичность, душевное равновесие. С ним все нормально, он не тоскует. Дети успокоились, музыка и застольные восторги в их телефонах зазвучали нетерпеливее, призывнее. Пальчиков постарался быть немногословным: у детей все в порядке вещей.

Пальчиков засмеялся тому, что в новогоднюю ночь, как никогда, ему хорошо спится – невзирая на трескучий грохот пиротехники за окном.

Ему казалось, что сын с дочерью начали относиться друг к другу по-родственному – терпимее, памятьливей, фатальнее, секретнее от посторонних. Никита называл племянника «Малой» и улыбался с деликатной нежностью. Так он никому, кажется, не улыбался, замечал Пальчиков. Лена перестала подтрунивать над братом. Не подтрунивал и зять. Пальчиков не знал, будут ли сблизяться Никита с Леной или, наоборот, отдаляться друг от друга, не знал, какими будут у них отношения после его и Катиного ухода из жизни. Раз Пальчиков в сердцах даже спросил Никиту об этом. У Никиты на глаза навернулись детские слезы: «Папа, перестань. Мы будем общаться, мы будем родными». Пальчиков не посмел бы подобным образом провоцировать дочь, он знал, что в ответ на его слова она зарыдала бы пискляво, измученно, как мать, и произнесла: «Папа, Никита хороший, не злой. Ему не везет, он психованный, но не злой».

Пальчиков подошел к зеркалу. На Новый год как-то по-особенному смотришься в зеркало – как в пропасть. На Новый год перед зеркалом мысль о смерти возникает резко, жгуче, до холодных слез. Все равно себя жалко, себя как другого человека, в этот миг действительно испускающего дух. Этот миг – там, с другим человеком, в другом человеке, – и вдруг рядом с тобой.

Пальчиков вспомнил себя шестилетним у дома, где тогда он жил с матерью, отцом, старшим братом и бабушкой. Этот дом был заводским общежитием с длинным коридором. Он помнил в этом коридоре ящики, тазы и корыта, под которыми иногда прятался. От дома ему запрещалось отходить. Другие дети, мальчишки, говорили, что за домом чужая территория, там другие мальчишки могут побить. Еще пугали цыганами. Но цыган он почему-то не боялся. Он даже приближался к цыганкам и смотрел на них снизу вверх. Ему нравились их золотистые улыбки.

Пальчиков видел, что Катя думает о смерти правильно – рутинно. Она знает, что в рутине нет безобразного, что рутинна в первую очередь соткана из того, о чем он талдычит как о закономерности и ясности, как о неслыханной теплоте и смелости. Она живет нежно, она с самого начала

жила нежно. Как хороши ее скепсис и материализм! Иногда Катя трепещет, как он перед новым годом перед зеркалом. Но длится этот страх недолго. С ней опять – мужество предопределенности.

Во сне с Катей он вновь рассорился. Жили они в этом сне все еще в одной квартире. Только неизвестная эта квартира напоминала не жилое помещение, а офис – с кожаными диванами и белыми жалюзи. Из-за чего произошла размолвка, понять было невозможно. Двери всех комнат были нараспашку. Детей не было. Катя в смежной комнате-кухне выжимала апельсиновый сок. Делала она это монотонно, без усталости. Пальчиков видел ее профиль. Апельсинов он не видел, только слышал их запах. У Кати получилось три двухлитровых банки с соком. Она куда-то их задвинула с глаз долой. Он сообразил, что долой с его глаз. В его сторону Катя не смотрела. Она не дулась. Она не любила выглядеть оскорбленной. Он догадался, что одну банку она приготовила для Никиты, одну для Лены, одну для себя. Пальчиков очень хотел пить апельсиновый сок.

2014 г.

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

ПЕСНИ КОРОЛЯ ЛИР

1.

Не от жестокости твоей я с ума
сошёл – от твоей заурядности...
Ах ты, доченька, твою ма,
мало мне в этом радости.
Вспомни, как ты себя повела –
я на лире играл, когда ты
жизни смысл предала,
пусть незамысловатый,
что поделать – он есть в родстве,
цепкий, кровный,
тот, что явлен в листве, –
мы деревья, не брёвна! –
в раздражении лиру, мой свет,
вышвырнула, а после –
и отца, и погасила свет
в сердце его... В чисто поле
выгнать из дому старика!
Может быть, он играл нестройно...
Да, но как поднялась рука?
Заурядно, доченька, непристойно.

2.

На ступеньки вслед упал шестой
том из собраний,
вижу: «Так молода – и так черства душой?» –
и твою, дочь, слышу брань я.

муха ли
укусила
ухнула
бесья сила

Думал я иной раз у полки:
вот умру, а ты

Владимир Гандельсман родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Автор пятнадцати поэтических сборников. Переводчик англо-американской поэзии. Лауреат «Русской премии» (2008). С 1991 года живет в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.

подойдёшь, заглянешь в книгу – недомолвки
проясняют мои, мечты.

Книги-то зачем? Книги жалко.
В них ведь кое-где
душа моя заложена, как фиалка
безуханная. Быть беде.

книги вслед
выбросила
гнев мой свет
выразила

И ещё жаль раскаяния
твоего, ему
не застать меня, это как таяние,
но не к небу, а в земли тьму.

3.

Я забрёл в подвал,
эх, да в подпол... Проклял
всё и так горевал!
Много проку ль?

После на пол лёг,
ах ты, на пол, на пол,
на лицо потолок
ржаво капал...

Эх, перебирал
в уме, что не так я
сделал, доченька, мал
ум однако,

ах, да не постичь,
что взметнуло ярость
твою, доченька... Дичь
моя старость...

Никуда мне (сник!)
отсюда не съехать,
буду остатний миг
ахать-эхать.

4.

Я задвину горе,
как книгу, туда,

где исчезнет в хоре
оно навсегда.
Пусть его затынет
серенькая пыль.
Если ж снова ранит,
снесу в утиль.
В память-ум увечье
вбить заподлицо,
чтоб тебя при встрече
не узнать в лицо.

5.

В поле, в поле! Ветер гнёт
придорожные деревья,
дальнобойный огнёмёт,
гром за молнией грядёт, –
вот, король, исход творенья!

Низких по небу гульба
туч, дурак из богомольни
следом выполз – не судьба:
бьют грома – как бы гроба
звука сбрасывают в штольни.

Разум – курам на смех, мрак,
чёрта с два, никто не хочет
погибать за просто так.
Где король и где дурак?
Гром грохочет, дочь хохочет!

6.

Притворимся детьми
духа, не плоти,
света, а не тьмы,
птицей в полете.
Ты не ты, я не я.
Без ручной клади
долженствования,
доченька, ради
облаков и бликов,
где бестрепетна,
точно солнца выков,
совесть – ни пятна.
Разве плачет дух? Нет.
Притворимся-ка!
Даже если рухнет
птица, смерть легка.

7.

Что-то вроде присутствия,
вроде внезапной с ветвей
осыпи листьев, вроде напутствия
тебе, жизни твоей... –
так ты будешь опознавать меня,
как на ощупь слепой,
считывая с осеннего ватмана
выцветающий мой
облик, отлетающий ввысь,
по пути осыпавшийся листвою.
Жизнь эта хищная – чем не рысь? –
стихшая по косой.

И за это невольное
напоминание о
себе – да будет оно небольшое! –
тайное огниво,
что-то затеплившее там, внутри
парка, где ты идёшь
и темнеет, где капают фонари
и полыхает дождь,
где потом наступает тишь
и ты закутываешься в пальто... –
ты простишь меня? Да, ты простишь.
Неизвестно за что.

8.

Стать тем, кого навещают,
посматривая на дверь,
меня не прельщает.
Светел день, только сер.

Но если из сострадания
зайдёшь, осилив свой страх,
приложу старание
улыбнуться впотьмах.

9.

Это есть только в уме
когда не в своём я уме я
а тихие вдалеке немея
поля холодеют к зиме
Вдруг ясность от Птолемея
в обращённом к тебе письме:

«Птица до самого дна
в небо заныривает. Скирда –
скошенная золотая орда –
стоит сиротливо одна.
Вечером горизонт – черта,
которая подведена».

го.

Отвесный воздух – занавес прозрачный,
ночь из кулис
уже глядит, но сцены круг порочный
ещё вращается, ещё плывет Улисс,
и длится, длится пир внебрачный,
и носится: уймись, уймись...

Дырявят воздух, занавес непрочный,
прожектора,
крик боли: «Я тебе не первый встречный!» –
и хладнокровное в дверях: «Прочь со двора», –
и оборот – точней, чем точный –
ключа. И речь ему сестра.

Сыграй, дурак, на флейте поперечной
мне эту ночь,
не медли, дождь, и заряжай со строчной,
о, всё, как у тебя, мой Лир, дочь-в-дочь,
завязывай себя в заплечный
мешок, и – занавес, и – прочь!

Алексей ПОРВИН

Воронье гнездо во все голоса
кричит на идущих:
дайте отразиться, где слеза
переходит в проточные куши.

В застойной воде не видно всего,
там карпы всплеснули:
каждая чешуйка – *ничего*,
воссиявшее в майском разгуле...

Садовый простор – какие слова
процедит сквозь прутья?
Плещутся беседы большинства,
смысловую волну баламутя.

Молчаньем – неспешный выдох прудов
взволнуйте надолго,
пусть не отражается гнездо
в глубине непроточного толка.

Душе – песчинки считать.
Всё главное – несусветная участь
достанет, копнув глубину;
знайте, фразы, где жить *общо*.

Слова людские смешны
без частных, без просветов подробных:
отвлечь от небесного дня –
чувство, время и что ещё?

Своей глубинной весной
запомните очередность подобий:

Алексей Порвин родился в 1982 году в Ленинграде. Стихи публиковались в журналах «Волга», «Нева», «Дружба народов», «Воздух», «Новая Юность» и др. Автор стихотворных книг «Темнота бела» (М.: Арго-Риск, 2009), «Стихотворения» (М.: Новое Литературное Обозрение, 2011), «Live By Fire» (Cold Hub Press, 2011) и «Солнце подробного ребра» (СПб: ИНАПРЕСС, 2013). Лауреат премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2012).

когда пролетел самолёт,
в дымке рыхлой копалась речь.

В полётных недрах сверкнут –
недвижности золотые прожилки:
присвоить находку легко,
если душу землёй отвлечь.

Нет предела тёплой реке.
Ледяные куски пейзажа
к себе, от безмерности тающим,
плывут всего быстреей.

Забывать печалью пора,
что неточность – весна людская:
бесстрашному свету приписана –
дрожь в заячьей ноздре.

О спасённых вовремя днях
говорить половодным вздохом:
а что остаётся пейзажному
сомнению в груди?

За словесным или речным
поворотом стоящий некто –
снимает излишки сияния
с весенних быстрых льдин.

Для тоскливых выводов
не комфортен пар, не мягок свет;
прилечь на траву прибрежную:
в небе хозяйская беготня.

Лечь в траву весеннюю –
говорное действие людей,
а ты постоишь над водами,
берег заждавшийся не темня.

Пусть клубы пуховые
отвлекают вышивкой – печаль
от здешних бесед всамделишных
(треплет ветвление бахрому).

В комнате подвижности –
расставляется приречный пар,
как мебель для дня и замысла,
в гости зашедшего ко всему.

Отчего сильнеть сиянию?
Из густоты сравнений на приволье
идти – до поры не торопясь –
согревая воздушную вязь.

Своды каменных громадин
тускнеют, забывшись высотой;
кто меньше меньшего побыть сумеет –
засияет, как всякий покой.

Ветер состоит из тёплой
готовности ужаться до смешного
размера дыхательных путей:
оттого всех церквей – золотей.

Купол целиком вдохнётся
лишь грустью, а значит, устоит,
пока выходишь из густого сквера
– затаив, словно вдох, алфавит.

Тепловоз, привозящий дни к *всегда*,
отметит смыслом: чувства – качки;
слова стучатся в благую стенку,
созерцающую час.

(Хорошо, ожидая первый свет,
не мучиться с подбором имени:
душа бывала любым предметом,
по лугам родимым мчась).

Ожиданья – просторными двумя
отсеками, потешь, когниция:
ты наш вагончик, стремящий завтра
к назначенью наших тел.

Узнаванье тепла разделено
на ближнее и на словесное:
перегородочкой между ними –
человек восстать посмел.

Пусть не знает рассказанных мер
благодарность: дни узрели
в каплях весенней воды
просвет для озябшей кожи.

На крыльце твой сосед инженер
удивляется апрелю:
люди внутри теплоты
навечно с тоской не схожи.

Что в природе людского тепла
(в дополнение к «спасибо»)
время умеет? Ни зги
твоей стороны восточной.

Огибая туманом тела,
произносит точки сгиба:
звёзды, мгновенность, шаги
– конструкция будет прочной.

Виктор ІВАНІВ

КОНЕЦ ПОКЕМАРЯ

Повесть

Вы были нами, мы вами будем
В. Х.

Глава первая

На столе-комоде стояло фото мальчика в чёрных шортах, который к тому моменту, как вы зашли бы в эту комнату, был уже три года как мёртв, и потому глядел с испуганной обидой на погремущи, колокольчики с лошадиными хвостиками, виниловый проигрыватель, ксерокопию портрета Моцарта, молодого Гребня, похожего на женщину с гитарой, и большой зеркальный портрет вверх стены. На портрете девочка в шляпе, проткнутой разноцветной рыбой, смотрелась в аквариум комнаты, держа в руке перевернутый старый зонт. Одна деталь портрета тонула в памяти и выходила из неё на свет с одной небольшой неточностью: не синий свитерок с красным вырезом, не большие и смотрящие в темноту глаза, другая деталь не давала покоя: изображённая на портрете не имела возраста, кроме момента написания, и никогда сама собою не станет похожей ни на один из возрастов девочки. Момент уложил в себя выцветающую кромку того времени года, сделав из героини холщовую мумию, а комнату, где почти всегда была тень, встроил как в пенал внутреннего монумента, подобно кимберлитовой трубке, в которой всё начало расти наоборот, со щелчком головокружения первых секунд, пронося над головой тот самый зонт, на котором играли вёсны, загораясь и исчезая, на котором осени линияли как кошачьи лапы. Этот фиолетово-зелёный портрет обращал комнату жизни владелицы от косяка до косяка, об который ударял ребёнок маленький божок в шортах с фотографии, в прошлое, которого не было никогда, и обеспечивал постоянство её жизни, сна, разговоров во сне, наблюдения за смежающимися глаз тенями из телевизора, место ночлега страха, время её ума, который был погружён в глазастую и выпуклую голову. Портрет, пока его не сняли и не изорвали бы, хранил все вещи на своих местах, подобно лунному свету, заходящему в окно, который во время прилива только вытягивал её за нос из глубокого раннего утра. Поднимал на ранней утрате, нависал тучами над вечером, а в деревьях – окно выходило в овраг – блуждал и смотрелся за нею в неиссякаемую пропасть, куда вслед за полетом голубей, лаем собак, истончавшихся соседок-старух, туда, где пока шло время, пока

Виктор Іванів родился в 1977 году в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный университет (1999). Кандидат филологических наук (2006). Автор двух книг стихов («Стеклянный человек и зелёная пластинка», 2006; «Трупак и врач Зарин», 2014) и пяти книг прозы. Публиковался в журналах «СЛ», «Дети Ра», «Воздух», «Интерпоэзия», «Уральская новь», «Сибирские огни», альманахах «Вавилон», «Черновик», «Новая Кожа», «Стетоскоп», антологиях «Время Ч», «Нестолничная литература» и др. Лауреат Премии Андрея Белого в номинации «Проза» (2012). Живёт в Новосибирске, работает библиотекарем в ГПНТБ СО РАН. В «Волге» печатались рецензии (2013, №3-4, №5-6 и №9-10; 2014, №1-2) и стихи (2014, № 5-6).

её смеющееся и гордое глубокое отчаяние и горловой нутряной плач не превратились бы в единственную волю помешанной уличной языкастой болтуни в валенках, тёплом пухлом пуховике, с голубиными грудками и птичьей красотой. Кажется, что прошла секунда, а минуло уже сорок лет.

Купите у меня чеснок, сказала женщина в оранжевой куртке, с глазами нищей старости, червлёной на глазницах, на коже рук и лице, серебряными и тёмными родинками ухודившей со света. Я куплю себе молочка. – Купите у меня чеснок, обратилась женщина снова через пять минут к молодому человеку, который в путанице и чехарде, возникавшей всегда возле этого угла магазина, возле бывшего общественного туалета, где теперь делали чёрные фотографии, стоял уже с другой девушкой, улетавшей далеко в Польшу. У ребристого магазина под перистыми облаками, как у отваленного камня пещеры, всегда происходили случайные встречи. Женщина с чесноком никого не узнавала, как и рождественская девочка под зонтиком на большом шаре, прижимающая к груди мокрого кота. В это рождество нищим никто не подал. Потому что общая нищета скверного парка, где ютились волшебные огоньки праздников, как в последний раз в жизни случившихся с ними со всеми, да и с нами тоже, всё больше опадала ошметками сухой хвои и рыбьих чешуек, осыпавшихся конфетти и осколков, по которым топтался каменный бог ветра в своих железных сапогах, перешагивая через старый, дурной и короткий лес, и улетавший сквозь трубу нового надземного перехода и растворявшийся как чёрт со своими кнутиками в глазах ведьмы, которая хотела вместо молочка чесночка.

Шар с мокрым котом и украинской рождественской девочкой разбился на вторые сутки. Никто бы не смог дожидаться в этой волшебной квартире второго рассвета, всех выметало вон вместе с умом, как игрой в вышибалы. Да и хозяйка уже боялась там находиться, забывая ключи в дверях при виде новых гостей, но тщательно оставляя записки и приклеивая их к шкафу оранжевой кухни, где когда-то висела афиша чёрного кота «Мулен Руж», где когда-то садились как кактусы на пол мужчины в шляпах, где когда-то было таинственное и зелёное свечение хлороформа сквозь ветхие стены, где когда-то восемь безумных часовщиков тянули на себя эспандеры гирек, где когда-то рассвет означал наступление полугодия пасмурных лодочных прогулок по скатерти рек, впадающих в жестокие и подземные моря.

Две девушки беспечно раздевались в комнате на первом этаже, где висели в сутолоке театральные куклы. Они курили табак и со смехом знакомились друг с другом, тайно рассматривая себя как в зеркальце и пытааясь понять, как будет глядеть на это посторонний. Одна из них в куколе балахона потом сидела в жёлтой больничной палате, думая, что родит в первый и последний раз, если всё получится. Как капрал с барабанщиком, неразлучные подружки в кожанках и с плетеньем волос услаждали себя весело игрой на трубе и виоле, зажимаемой между ног и в полусне издававшей нотное расписание музыкальной школы и дальнего города, где лень боролась с цепкостью пальцев рук. Одна из девушек звалась «любимой моделью», и её небольшие усики давали ей ещё название «мальчика».

Мать Трубочистки с большой и седой головой сидела на кухне, стреляла папиросы и хранила в складках лица гордость и красоту неприступной в прошлом красавицы, которая позволяла дочери многое – курение в комнате с распахнутым окном, когда зелёные сумерки мазали гримом лица приходивших юношей, осинники и небо помещались в это окно и горчили травой, базиликом, медуницей и чабрецом.

Позже туда поместилась огромная жёлтая керамическая плита, для несения которой были отряжены восемь человек, по два на каждую её ногу, и это было одной из первых больших погрузок. На этот раз молодые мужчины, все певчие из хора и в поношенных шляпах, молча несли плиту для изготовления кувшинов, отбитые куски которых потом валялись по всей деревне вплоть до узкоколейки, которая перестала работать, и до разрытых колодцев домов, оставшихся для любителей полновесных кирпичей и стеклянных бесформенных зеркал, битых часов и подвальных

конструкцій с винтовими лестницями. Командовал переноской плиты Вол Ман, которого привела в дом Трубочистка.

Вол Ман обнимал и целовал её на белых подоконниках огромного здания бывшей совпартшколы, водил её по старым районам и заброшенным домам, они носили с собой метлы и другие причудливые транспаранты и знамена из бумаги. Он подолгу останавливался в старых закутках; как иных привлекают витрины, так его вниманию всегда были предоставлены старые ключи, чашки, кресла, доски и бидоны с помоек. Также он слыл большим травником и собирал по лесу редкие семена. Позже он обзавёлся красными крагами, фомкой, и ходил по заколоченным старым домам, взламывая их и рассматривая полумрак и пустоту сырых стен, от которых пахло могилкой, и где всегда оставался труп. Меня обычно ставили на стрёме, хотя если бы показался патруль, я не смог бы объяснить, что я здесь делаю, и, наверное, скрылся бы с места.

Трубочистка и Вол Ман красовались на публике, без стыда, который тратился на другое – он упирался и стыдился того, что был владельцем огромной библиотеки, размером с планетарий, и того, что многое знал. Однажды Трубочистка нарядилась в красно-чёрное, как любила носить Эбби Линкольн, понятно, что всё со второй руки, и вдруг заплакала, словно поняв, что он не любит её. А он закатил глаза, сделав всем страшно на полчаса до смешного, сидел обхватив голову и плакал тоже, пока его не оставили одного в квартире с незапертой дверью. Он не спал несколько ночей перед этим и понял вдруг, в этот самый момент, что жизнь прожита зря, что всё исчезнет, или вернее так, что всё кончится не начавшись, и его, Вола Мана, синие волосы, синие глаза и синюю бороду, со всем фанатизмом молящегося, забьют на бывшей бойне в овраге, вместо которой поставили торговый центр. Но всё всякий раз проходило спокойно, следовало пробуждение, хотя в момент рассвета иногда у многих бывают минуты, когда ты умираешь весь, как мелодия, умираешь заживо изнутри.

Всё продолжалось до тех пор, пока он не переключился на воровство кактусов. Я всё думал, что он делает в бесконечной очереди в чайные, цветочные магазины. Я предпочитал всегда парикмахерские – там можно было хотя бы почувствовать, как прикасаются к твоей голове, и вспоминать, как ты выглядел раньше в стрижечных, в салонах фотографии с приложенным к уху игрушечным саксофоном, и там можно измениться за пять минут до неизвестности. Так иранка однажды не хотела делать скинхэд, оставила чубчик и засмеялась: панк. Ну а Вол Ман просто грабил цветочные магазины. Кончилось всё, когда он поехал в ИКЕА. Там, блуждая в лесу свежих досок и винтиков, он украл кактус и ничего не купил для страховки, хотя его огромный кошелек не помещался в карман, был из жёлтой кожи и вдвое больше любого другого кошелька. Он спрятал кактус в штаны, но потом из осторожности переложил его во внутренний карман, упирившийся в задницу. Охрана его остановила. У нас есть данные на вас о том, что ВЫ УКРАЛИ КАКТУС, стыдливо прошептала она. Клептоман возмутился: как Вы смеете, не понимаю о чём вы. Мы должны вас обыскать, сказал охранник. Кактус плотнее уходил в заднее мягкое место. Но поскольку при обыске у него встало переднее, то ничего не нашли. Так бывает после свадьбы, когда вызывают скорую помощь и извлекают розы из ануса невесты. Когда-нибудь кактус всё равно найдут. Срок дадут условный.

Вол Ман кроме планетария держал ещё и обсерваторию, которая помещалась у него в голове. Однажды он побрил свой глобус, и он покрылся подтёками, как надетый чулок, и стало понятно, что его волосы и борода были действительно синими. Он любил показывать на своем лице манду, и он знал в этом толк. Вечно в военной куртке, в сандалиях, он прокручивал большое годовое колесо, так был устроен его календарь. Он забывал только что сказанное и выдавал его как новую мысль, каждый год в один и тот же день. Но на самом деле вращающийся шатёр над головой мог прокручивать множество историй от основания мира, каждый раз начинающихся с одного и того же слова: в основании мира лежало искажение, запинка, и поэтому каждый день

из квартиры с жёлтой плитой, им внесённой, он нёс мне жалобы о том, что жизнь прожита зря, жалобы и мечты лились как дождь, под которым мы шагали в первую нашу встречу от здания на Восходе с большой горы, в зелёных плащах и под гору, перешептываясь и повторяя одно и то же о любви и пневме воздуха, как в первой встрече Джека Николсона и его друга индейца. Красота сытых мясистых синих глаз сопровождала меня до тех пор, пока он не позвонил первый раз по телефону. С тех пор я знал все истории, которые обещал никому не рассказывать. Ещё через десять лет эти истории знали уже все, это было то самое устное предание нашего дистрикта, которое я начинаю уже забывать как вот этот фрагмент: я лежал на кровати под портретом девушки с зонтиком и притворялся спящим от страха, когда он рядом нависал и шептал нежности над белой и смеющейся Сью, которой было надо продлить эту линию, чтобы потом назначить встречу, на которую можно было не прийти. В другой раз его ребёнок видел, как они целовались в коридоре, а мать унимала его, плачущего и дико возбуждённого, кудрявого и размахивающего мечом. Возбуждённое длинноногое дитя спорило и ругалось, глаза беспокойно горели, оно билось, кричало гневливо и горделиво. Пока Вол Ман сидел полуголым на кухне, смотрел телевизор, ел полезные овощи и принимал потусторонних гостей. Эти дети родились помимо моей воли, говорил он. В банях, где множество женщин и мужчин сидели голыми, а вождельная всеми не снимала трусов и бюстгалтера, пока не подошла к ней её раскрасневшаяся сестра и не сдёрнула одежды, все сидели немые и разговаривали об отвлечённых предметах, ловя кайф и смех от кастрации. То есть это женщины с огромными перьевыми ручками рисовали синим на красных удовольствиях, и все вместе мечтали, как будут отдаваться грозово в другие разы. В других зданиях, и их привлекали больше самостоянки с автостоянки с отрубленными головами и торчащими оттуда треугольниками, которые бесконечно летали по кругу и не верифицировались никак в человеческом теле, пляшущем на битых осколках, садняще кричащем от боли и между тем планомерно уплывавшем в неуправляемое бешенство, пока не прибегали пьяные санитары.

На ковре под портретом светлые утра с белёсыми сумерками заставляли всех в общем и нежном пробуждении. Задавака и заводила Косицына говорила, что самое лучшее это общее похмелье, когда ты так лёгок и едешь в дальний район в магазин грампластинок. Однажды так и поехали, теряя в памяти дорогу и зелёные укачанные лица, и распили в итоге на месте коробку кефира на четверых. Кефир, пачка беломора, молодые и словно из облака возникшие весенние друзья, после зябкой ночи на балконе, где нас заперли с длинноногой и длинноносой Косицыной с двумя метёлками хвостов в длиннополой рубашке с испуганным и пузатеньким лицом. На улице было уже холодно, и Сью, которая закрыла нас, ждала, что мы будем делать там. Мы стояли и тихо околевали, потому что не было никакого желания обниматься в столь нелепой ситуации. Она стояла и смотрела, ожидая, пока станет уже не смешно, а так холодно и зябко, как обеззараженным до безразличия и безгливости дохлым лещам.

В этой же квартире, живя попеременно с запойным отцом, которого она отваживала и которому с детства лгала, произошло ещё два утлых и непонятных события. Сначала мы курили цветы, которые тогда можно было привезти из Румынии, просто бросив охапками в рюкзаке в поезде, в сильном облаке, в которое хотелось превратиться и стать Алисой, у которой выросли ноги и почему-то голова, той Алисой, в какую лучше обратиться, сидя за шахматной доской в ЦДХ. Бормотун что-то рассказывал, а оргии всё не начиналось, а испытатели нервов всё пытались посмотреть на себя со стороны – и да, такие моменты случались, когда мгновенный бзик отбрасывал взгляд на себя самого. И потом ещё на чьём-то дне рождения Виола бегала с этим Бурмистровым из Румынии, куда тогда ездили европейские университари, пила и пела с ним, так что сломался лифт, а тот на следующее утро в лесу не узнал своего одноклассника Василя, потому что ему разбил лоб ставший ему ближе всех потом Чёрный Жиголо, ласково потрепавший и меня по щеке. Но и тогда почему-то не было никакой оргии, Сью и Косицына просто лежали и

смотрели, покрикивая меланхолично, наблюдая за праздником двух дураков, вроде тех, которые переворачивали в ночь на Ивана Купала все «запоры» и «москвичи». Василь был сторожем в поликлинике по соседству, которую запирали и бегали по этажам, разукрашивая лица, выпивая портвейн в чебурашках, 72-й, «Узбекистон виноси» и только много позже уже «Алушту». Целые сутки проводили тогда в этом здании пустой поликлиники, и никто об этом не знал, периодически отделяясь парами и улетаая для поцелуев и прогулок, о которых никто не догадывался, всякий раз переворачивая кубик рубика, реверси и игру в быков и коров. Так продолжалось, пока не разбили дверь. И только Вол Ман знал потом, кто был первым мужчиной у каждой и видел весь гарем целиком, оставляя сутулым и короткошеим задротам посиделки у магазина, посыпание земли пеплом и колдовство на вафлях.

Взгляд на себя со стороны бросить удалось пять лет спустя. Мы с Косицыной долго ходили дворами, пока не пришли к Сью, у которой находилась незнакомая мне тайка. Тайка всё время молчала, показывая английские журналы с Бароном Козном, о котором здесь тогда не знал и не слышал никто. Шесть лет спустя Вол Ман показал мне её дневник, который она вела на английском. Так я узнал, что меня зовут Силифакером, который, бодро орудуя костылями, проявил в этом деле довольно большую ловкость, и обнаружил в ней, тайке, расположенного собеседника, хотя видел её в первый раз, и начал ей рассказывать нечто задушевное, потому что все остальные молчали и так молча просидели три года. Вол Ман сказал, что Косицына была слишком длинноногой, тайка слишком незнакомой, а Сью слишком вожделенной, и три эти девицы под окном себе на уме думали, что Сью, конечно, принцесса, которую добивается не один инвалид на костылях, а им-то как сестрам по разуму это приятно видеть, потому что они-то всё равно выйдут замуж, а принцесса Сью останется женщиной для всех, которая слишком мало знает и потому позже всех состарится. Трёхголовый цветок, который я увидел, и для которого заболтался тогда от бодрости ног, не знал, что я пытаюсь вожделеть только рожицу Сью и ношу, когда нет костылей, своё крытое пальто, нацепив на него шарфик и шапку «Мэд Бомбер», как нашего ребёнка или куколку спицевидной инвалидской бабочки профессора Илизарова, и хочу сообщаться с ней только душевно, то есть посредством платонических пламенных чувств. Принцесса Сью, с которой я пытался так изъясняться, умела только молчать и была такой пустой, как комната или крона дерева, в которую зашло солнце. И вот она грелась, грелась на этом солнце и умела только молчать, и любила слушать что-то высокопарное про любовь. Она ещё говорила тогда, что мы одинаковые, кудрявые, но я в душе до сих пор не еу её джинсов и наполеоновских секонд-хэнд-ских курток, её пьяного красноглазого поросычьего визга, когда она могла испытывать чувства, доходящие до оргазма, и я до сих пор не могу понять, зачем не притронулся к ней, из какого страха, когда ей хотелось лишь только восторгов и танцев в кальянной с названием «Клюковка Табу», мутабор тебе, Косицына-Аистиха, и зачем она до сих пор является мне во сне всегда жёлтой, разошедшейся, бесконечной по времени кроватью, на которой лежит как умирающая старуха, когда обходит, видимо, те комнаты, где ей так трудно было дать тому, кто не уговаривал бы её как Вол Ман, не нависал бы над ней, не потрошил бы кур и не показывал своей синей бородой, какой у него большой гарем, и не думал, что мне это нужно знать. Но теперь я это всё, увы, знаю и буду рассказывать вам по складам.

А тогда этого всего ещё не случилось и вообще не было никаких происшествий, Игореза не привязывали к батарее, Дэн Банан не передознулся, Дятел Аполлончик ещё не печатался в Колонне Публишерс, девушка, похожая на кевинсмитовского боженьку из «Догмы», ещё только начинала читать про то, что кончить на чулок возбуждает мужчин, а «Интервью с вампиром» ещё только вышло на экраны, и рыжая эльфийская карлица ещё не разохлась в колодце под утренними лучами вместе с укушенным за шею ребёнком, которого я называю здесь Сью, и американский оборотень ещё не поехал в Москву.

Глава вторая

Две девушки, одна постарше, Виола и Трубочистка, разглядывали друг друга. Потом Трубочистка показывала свою любимую модель Вол Ману. Будущий православный, как они в прошлом, домостроитель, а тогда панк-мотоциклист, с женским причёсоном и соловыми глазами открылся: надо было попробовать всё: и полежать под выхлопной трубой, и пополоть огород лесбиянки и получить зелёный пояс по карате, и быть избитым пятерыми, и не забыть спросить у меня зачем тебе моя майка, Зизу, может быть хочешь мою сестру? Надо было попробовать всё: и побегать на палящем солнце и потом блевать с балкона, и полетать из сорокаградусного мороза Якутска в мексиканскую жару, чтобы почувствовать настоящую боль, такую страшную, как смерть Моджо Райзена. Только нельзя мыть в его раковине сапоги тебе, Виола, забудь про это, забудь про меня, как уже забыла, забудь про Вола Мана, как он всё забыл. Скоро тех, кто всё помнит, начнут выкуривать из избушек. К чему ни прикасаешься мелком, всё стирают тряпкой с доски: самолёт не торчит из здания, на башне самоубийц больше не написано «Дина, я тебя люблю», больница-тюрьма скрыта, из-под неё выужены два скелета, прям как в ту питерскую грозу, когда зашибло влюблённую парочку под деревом. Нет больше бумажных десятков, есть лишь умалишённые духи, что носятся по улицам и глядят сквозь головы на просвет.

А пока Трубочистка и Виола идут по песчаным и розовым дорожкам осеннего леса к концертному залу. Там они гримируются все в чёрном и знают все ходы и выходы. Почему-то всё оцеплено солдатами, которые бегают и ловят молодых разгорячённых людей. NSK прислал «Лайбах» в НСК с единственным концертом. Через двадцать лет на улице мне встретится Марина Гржинич и пройдёт мимо, и это будет уже не тот город, куда поехали Трубочистка и Зеленограф двадцать лет назад. Тогда их ещё не ушатывало друг от друга на двадцати шагах. Но тогда уже Трубочистка вплавляла в камень своего «мальчика», сделав маленькое настольное надгробие.

С трубой и тамбурином пришлось расстаться, они стали ненужными, потому что забились слюнями и порвались. Трубочистка со знакомым отправились в лес к большому дереву в лунную ночь по росе, в лес и овражец, где когда-то играли в прятки восьмером, а теперь зарыли одежды и барабаны в корнях. Была промозглая осень, и барабанщица, которая боялась каждого куста, который мог оказаться переодетым циклодольщиком, останавливала своего спутника умными речами. Она знала, с кем идёт и перед кем не запирается в ванной, это был мирный тихий мальчик, которого самого следовало бы изнасиловать. Папоротник уже отцвёл, и хотя она была совершенно нагой, а мох совсем сыроватым, из спутника её не выбилось даже дробь рассекаемых спичек. Одежды погребли под деревом, и сами бросились спускаться по ивняку к речке, а оттуда как полил вдруг щучий дождик, и белая вода, стекавшая по листьям на рассвете, говорила о том, что трубы и пробитого барабанчика уже не найти.

С Виолой было покончено совсем иначе. Винной всему послужил раскрашенный восточными звёздами и красными узорами гипс на руке, которая потом перестала работать. Вол Ман решил прокатить Виолу на велосипеде зимой, как модно в наших краях, и, не справившись с рулём, неловко упал на неё. Это было одно из первых падений в жизни смелой колдуньи, что вкупе со смертью её учителя стало первым горьким её профессиональным несчастьем.

Когда он умер, была большая ярмарка в городе, был август, а движение перекрыли из-за приезда высокого должностного лица. Она ранее смело ездила в город по большим праздникам и там знакомилась с разными весёлыми красавцами. В предыдущий праздник она познакомилась с мужем, а сейчас муж застал её с любовником на набережной. Они бархатно целовались, потому что вокруг росли бархатцы. Муж помолчал и поехал по дальнему третьему крюку через перекладные электрички, да и уехал до осени.

До осені Виола чуть було не опоздала на поїзд до міста щасття, куди покупалися квитки у сварливої хамки-кассирши в платке. Там вони бегали по великому мосту і трахалися на полах і кроватях ухавших на озера сестёр, белошвейки і королеви, поки він не заглянув в її паспорт. Расставание застало його рідуючим на вокзалі, слези щасття текли і таяли, і ніхто не знав, що перша, котра дала, окажется єдиною.

Обходили старі будинки, пили пиво, блудячи в вуличних речках і протоках, мимо базарчиків, котрі іскрилися в променях скла. Коли поїхали на кладбище, просто так погуляти, він забрався на будку туалету, а вона плясала на кладбищенському колі, підбираючи по-циганськи підол. Єгипетський музей був закритий. Виола уїхала, чуть не слетів з першого стовпа, по котрому спускалися під крики вернувшись озерних сестёр на верёвках из-за дощу по підземному гроту, під крики сестёр, котрих поже пришлось возненавидіти.

Він блудив по місту из конца в кінець, п'яний валявся на острові Відпочинку, проходив через фонтани в жаркі дні, напиваясь медовою «Балтикою», і потім садився на кухню на сеанс магнетизму з тёткою і розповідав їй о своїх братах, котрі сиділи по ліву руку спиритического стола в своїх кімнатах і глядели из темноти.

І потім, застуканий мужем з ключами в штанах, котрі успів едва нацепити, чому-то не думав ні о чьому, ні о тому, як через два роки придется заперитися з Виолою в квартирі і не відкривати двері її новому мужику, знайденому на пляжі замість потеряного хрестика, ні о тому, що однажды на рідній «Ниві» Уя Дрока медлено начнет їхати і ползти колесо, і машина плавно вїїдед в дерево, а Уй Дрок всё простит Виолетте.

Походи на річку, полуголая як лошадь Виола нацепляє пальто з королівськими англійськими пуговицями і пускає дим из рта. Житанез без фільтра. Зелёні кроны і сумрак грози 11 сентября, і радіоприймач бывшего мужа, повідомляючий о яких-то самолётах, потім поїздка в місто, котра случалась тоді щодня, і, не повірити очам, дійсно на Манхэттені, тихі колючки ботанического саду, тихий розвод і відбуття мужа в другий місто в степі. А перед цим істерика і дикий припадок гриппа в общем вагоні, валящеся як труп тіло і выздоровлення в болотній лужі, поки льється манга і не дають уснути крики из сусідньої палатки, такої «Кактус Фікус» і обезьяна зимою.

Последня «Жива вода» з червоним угаром на третій день в першій організаторів. По январю Монголец загадує вуду людині из Кемерово, котрого більше ніколи не зустріє, а той йому і відповідає, це моя жінка готувала вам здесь салатіки, і за наші гроші «Нова Культура», котрі оставляли без тормозів і лились рікою, так що к тебе можно прикоснуться і схватити за кармашек, коснувшись груди – ти бы паузы делал, співець на свадбах. Єдиною зустріч з цим суб'єктом, от котрого даже не поміниш лица, виступлення во «Вдові», с вывертаними пальців з исполнением песни про грузина Камикадзе і його дочку Гонсалес, і потім вдруг перша аварія, коли той, против котрого делали вуду, вилетел через лобове скло і умер в этот момент от разрыва сердца; тот, что был за рулём і прикасался мизинцем к кармашку рубашки, умер в лобовом стекле, а третій, разукарасивший прежде то кафе, где потом любили паясничать в шляпах под кактусами і повторяли благоговейно Мехико, Мехико со смертними карнавальними масками, кончался в машині от потери крови, першого марта, да, першого марта.

Так в последний раз видіти цього людині из Кемерово в білій кепці, воспевшего білі обліки, возле магазину «Под строкой» – от котрого ещё до миллениума тянулись в метро, совершенно пустое і огромное, в шесть утра новогодней ночи, «Цитронная» водка, полевой командир Пабло, любимый друг Фибло, обуваючий сапоги і забираючий чёрный чемодан, і светловолосый Умбра, железный небосвод, непробиваемое пространство, проходящее через голову, как во время бомбометания, чай на кухоньке, от котрого весёлое щасття і смехи дружеских писем, і два японских друга, говорящие, что Москва на ремонте, увозящие жён в золотом кимоно в далёкую страну на востоке.

Отчего-то над головой раскрывался купол земного шара, он носился в снеге, падающем с деревьев в сине-чёрном ослепительном лесу, когда мы блуждали по сугробам оврага, или ехали с горки с запрокинутыми головами и смотрели на небо, когда пробуждались и не могли переубедить друг друга, с какой стороны лежать и кому на ком, вся природа дышала нами в яростном солнце, в новогодней прогулке по лужам с двумя приятелями, в спокойном и направленном взгляде чудилась новая встреча, а началось всё с того, что водил пьяного лисьего друга от ментов и до ментов, и он целовал мне руки, которыми оплатил доставку в детсад на уазике, возвращался в небезызвестный кафетерий «шторы», кого-то посылал на, и два цыгана и немец шли в квартиру с красивыми плакатами актрис, и немцу снились киты, как он будет долго рассказывать после всем и больше ничего не запомнит, пока я блевал ему в ухо и на журнал «Плейбой», а потом укрывался майским утром на ветхом балконе шубами мёртвой бабушки, чтобы меня не побили, а затем грязный и взъерошенный шёл с Виолой первый раз на море и сидя на бревне смотрел, как она купалась, купалась на солнце, любовь обхватывала в комнате её платьем с красными квадратными бабами, и после пятой любви на дно мы лежали в комнатах, так что её глаз было не забыть, столь красивых и зелёных и томных, и мы были единой душой, накрытые одним зонтиком, как и потом ночью, голые, заливаемые грозой, когда молния била в темноте в воду возле нас, как потом лились и расшвыривались деньги рекой, которая не останавливалась, как и бесконечная работа по поимке Усамы бен Ладена, которую вели переводные СМИ, а потом вдруг пресеклась и остановилась работа по поимке, а последнюю пятыхатку чуть не украл алкаш в «Еллоу субмарин», и наступило прохладное лето, единственное, которое мы прожили вместе, и начали уже доставать любовные имена, которые она повторяла по-детски для названий половых органов, и запустила в утро в висок чашку, а я заплакал, и начинали уже мерещиться под плаунами дорожек в светлом лесу зловещие осенние огоньки, и так вплоть до того вечера, когда я почистил зубы кремом для бритья и наутро вновь готов был зарыдать, словно чувствовал, что на посадке в самолёт вижу последний раз мою любовь, а дальше ничего не будет.

Тем временем Сью уехала в Питер, где впервые увидела Джаджа, а потом появился и он сам с одним компьютером, и я провожал Косицыну на вокзал в фиолетовой куртке. Провожал как на свадьбу, а не на мертворождение. Джадж всё попутал и не сидел в больнице с Косициной, которой помогал только Электронный Джонник. Джонник жил в комнате настолько жёлтого изнутри цвета с кроватью, на которой были одни пружины, и солнечный ветер периодически уносил его голову, в тельнике и с кудрявой копной волос, от задач ё.нутого и расхристанного программера. Косицына улетела в далёкую страну, оставив мне донашивать свою полосатую майку. После прибытия рижского поезда, с Джаджем здесь успели пообвыкнуться только до той ещё зимы, он чинил и собирал всем компы, покупал соевое мясо, катался на велосипеде, а потом взял да и забрал Сью в Ригу. Когда они вернулись, наступил новый год и все стали посещать его квартиру на демаккоффке. Он регулярно ездил на собрания фантастов в Москву и Питер, где все фантасты курили одну и ту же трубку, его друзья тем временем сидели в рижской тюрьме за хакерские взломы, а он продавал первые электронные книги, которые можно было верстать самому. Притягательность Джаджа состояла в его смеси лоска и доброжелательности, хотя он всегда походил на утопленника, играл в шахматы и развивал центробежные теории языка, как робот Самоделкин. Он тренировал мозг тем, что усилием мысли пытался послать передвижные импульсы сквозь монитор, аскетически и ненавязчиво питался, курил трубку и угощал всех салатами в новооткрывшемся в Доме книги ресторанчике, которые тогда были в диковинку. Добрый малый, и если бы не компостирование мозгов Сью и ранняя самостоятельность её брата в изготовлении прорезей на лице, он был довольно прост в обхождении, так что сама Трубочистка даже попробовала перетереть с ним в отместку Вол Ману, а с Виолеттой он однажды, а может и не однажды просто заснул на одной кровати.

Тем летом Виола попала под машину, поскольку слушала музыку в наушниках на велосипеде. Тогда был жаркий день, и когда она об этом сообщила, даже не верилось. Чуть позже и я перелетел через руль. На балкон тогда часто приходил Бобин, который уже перебрался в Питер и проявлял там в течение шести лет фотоплёнки. Они приехали с подругой Диполь и все ломанулись на красную дачу Виолы, в прохладный большой дом, и по дороге своими гадами Чёрный Жиголо раздавил пять лягушек, а потом таскал эту самую Диполь за волосы в чёрной темноте. А осенью мы поехали в зоопарк играть в Ницше, и в город впервые привезли «Оболонь», что я пил, уволенным из магазина «Титаник», возле которого продавцы ходили в игорный клуб до тех пор, пока одного из них, Алишера, не сбила машина. Тогда одноногий Сильвер Николыч ещё ходил по улицам, в своей джинсовке, волоча вторую ногу и преодолевая километровые расстояния на костылях.

Тревога постепенно подступала ко мне после истории с той девочкой, которой перерезал горло без всяких мотивов убийца, которого до сих пор не нашли. Тогда же я последний раз в его жизни видел женоподобного Матвея, который жил в квартире за стенкой, а его отец в одних трусах выгуливал свою собачку в мороз. Чёрные чопорные липки в аллее возле квартиры тётки Гали виднелись сквозь шторы. Мы любились с Виолой и там. Но она начинала капризничать. В тот год Стен, разорвавший подколенное сухожилие, прожил у меня полгода. Он лежал на одной кровати, и мы пытались на другой дожидаться, пока он заснет, чтобы ласкаться. Это было волнительно, и казалось, что будет всегда так. Господин Гнев в тот год кинул впервые на деньги вместе с господином Павловским, и я начал понемногу не спать по ночам, а потом и поехал в Москву, где меня так оскорбили. Я спал на кровати Идели, а рядом лежала Марьяна, маленькая, как ребёночек. Идель показал мне свою Москву, там он поцеловал меня в последний раз, там я сошёл с ума.

Я вернулся с Потешной, той самой, где лежал и Чурилин, и стали мне везде видаться эйфорические и страшные картины, из горла неслась чернота, и я стал изводить Виолу, пытаюсь заглянуть за зеркало сквозной квартиры, и своими бесконечными платогинекологическими посланиями к московским подружкам. Тогда умер чёрный кот Люпус, а я постыдно лежал на диване, пока он не испустил дух. Мы слишком поздно повезли кота в больницу, а моя тётка посмотрела на это сквозь пальцы, и это было уже хуже сломанной руки виолончелистки, это было первое непросщение. Ещё я перестал хотеть заниматься любовью, бормотал, просил курить сигареты «Ява», и началось страшное полугодие белого ужаса, когда становилось жутким выходить из дома, идти на море, а во сне сводило ногу, так что я испинывал Виолу, впадая в детство и прося перечитывать себе «Мишкину кашу», уезжая на Северный микрорайон на другой конец города, где учил детей русской литературе, которой совсем не знал. Одна из студенток сказала мне, как правильно называть Андріем сына Тараса Бульбараса. Так моя жизнь оборвалась в первый раз. Сквозняк чёрного затмения вышел из неё и установился в округе.

Глава третья

Зеленограф написала картину с вожделеющей женщиной. Её жёлтое лицо и карие глаза были списаны с прототипа, о котором известно было по рассказам. И Вол Ман рассказывал об этой женщине, да и я видел и пил с ней, Владой. Однажды мы пошли с ней к набережной на выезде с Фабричной, и она сказала мне, что если дойти там до одной полянки, близкой к железной дороге, раздастся возглас командира «опасная зона» и «буду стрелять». Я не видел её десять лет, а в последнюю встречу она почему-то спросила, иду ли я в «СИФИЛИС», как в народе именовался институт филологии. Прежде красивая с золотыми кудрями, она была похожа на самоедку в тот день. Через год она умерла, и мне было сказано не знать об этом.

На двух других картинах был изображён Вол Ман, целующий ноги профессору Чумакову и потакающий Зеленографу. На третьей картине пять человек с пиками кололи медведя, это было ещё одно вуду-изображение. Пятеро: Косицына, Сью, Бобин, Чёрный Жиголо и Виола. Вол Ман тогда уехал в Москву, где сидел в пустой квартире, не спал ночами, курил и желал Зеленографа, как водится, чем дольше отдалялся Вол Ман от своей возлюбленной, тем скорее наступал рассвет.

А осенью мы уже работали в магазине дисков «Астарта», где мой старый знакомый Ден по прозвищу Мерзкий нашел там себе друга Серёжу Впопулежа, и они принялись безбожно стучать на других продавцов и не любить нас. Продавец находился в магазине двенадцать часов стоя на ногах, не должен был воровать кассеты и диски, а должен был учиться их продавать. В один из дней Стен уехал в свой как он называл «город счастье», который он, всласть покувыркавшись там десять лет и во время приезда его лучшего друга Поэта Милиции чуть два раза не бросив копыта, и затем, как уже сказано, натешившись там, улетел как карлсон в Подмоскowie, забрав туда всех своих детей, и оставил родителей без дочерей. Первая из них, младшая, сначала подверглась ограблению британскими неграми, а затем превратилась в московскую старлетку, золотце родительское, циничное существо, и вот уже тут запахло Мексикой, где им сделали свадьбу с пополневшем лидером рок-команды. Вторая сестра, военврач, посаженная под домашний арест воцерковлённым пункером, вдруг тоже оказалась в столице, а родителей, которых воцерпункленный Стен очень любил, бросили доживать одних, в городе счастье. В жизни Моджо Райзена происходит много всяких несчастий, от смерти дяди, бабушки и дедушки в Кузне до его бесчисленных перелётов от двери к дверям из окна в окно, отскочило колесо, съехали в кювет, ударился об угол стола пальцем, который от этого переломился, выгнала из дому первая, венчанная, супруга.

Ну вот, вместо поездки на бракосочетание в городе счастья я попал на свадьбу к подруге Виолы, после чего она спасла мне жизнь, поскольку я вывалился из такси и ударился подбородком о поребрик, а она дотащила меня до дома, где меня перевернули со спины на живот, что в таких случаях, как показывают примеры, обязательно, правда надо ещё уметь контролировать равновесие во сне. В тот вечер я где-то блуждал по району и видел перед собой матрицу огней. Да, работали мы в синих рубашках магазина «Агафья», с сексотами-карьеристами, и вот последовало увольнение, вскоре после известия о смерти моего одноклассника, и я предпочел существовать один, чем ехать на свадьбу в город счастье. Вместо меня свидетелем был назначен Василий Тёркин, который нередко просыпался не зная где, расстреливал автомобили из травматики, а на перекрестке возле Пентагона подошёл и сказал водителю, сбившему пешехода, – ты человека убил, чтобы тот не орал и не матерился.

Я продал Pocket PC и убежал из дома, очутившись снова в Москве, где собирался остаться и где Инесса встречала меня вся светящаяся в прохладном и заиндевелом троллейбусе на Савёлу, а Ирина вписала меня к себе, после чего я довёл её и О. Фролова до выкуривания двенадцати одно-временных тоненьких папирос в бессонную ночь, на рассвете которой мы проехали сто метров на такси и оказались в Медведково, где я стучался в квартиру 666 и мне открыли, и где все столбы были обклеены портретами Новодворской. В нарастающей утренней жути я отдал О. Фролову водку «Порожняк», от которой меня чуть не срезало, и он ретировался, потому что не мог больше выносить моего присутствия. Через пять часов я был схвачен друзьями на Цветном бульваре, прежде чем меня чуть было не продали в рабство, а ночью диким криком ужаса разбудил всех спящих детей Пабло. Так я сказал Виолетте, что я уезжаю навсегда к другой девушке. И, понятное дело, вернулся обратно очень быстро вверх тормашками и с горячей головой – рассматривать названия из радиотехнического словаря, которые светились как буквы первого в мире алфавита. К слову сказать, побег сорвал все нервы Виоле, потому что мы страшно шифровались от родяков, отрубали телефоны, а она ждала меня, ждала, хотела услышать хотя бы пятиминутный звонок, пока я ходил по Большому и Малому каменному мостам, в голос горланя песни и садился как

Шалтай-Болтай на высокие стены, а черноволосые хипповки подавали мне как блаженненькому горячий кофе, пока я обнимал и слёзно целовал клоуна в Макдональдсе. Уезжая, я позвонил Артемис, и она сказала, что вокруг неё восемь спящих, а в ответ на заявление, что Велимир сидит и жив, она спросила, кто же будет стирать ему носки. Вывезенный мной компьютер с монитором доставляли обратно друзья, чертыхаясь и матерясь, и опоздали к поезду из-за пробки. Так я сожвася с крока во второй раз. Радуги и лыжня самолётов над рассветным вокзалом, где провожавшие, распрощавшиеся со мной навсегда, Виолетта и Джадж посулили мне столько счастья, что им не выгрести из опавшей листвы за тридцать осеней Пятигорска.

Глава четвертая

Когда ещё были кассеты, была у меня одна кассета. На одной стороне был триббют Курта Вайля «Сентябрьские песни», которые пронизывали мой воздух и в осенние погоды, и в зимние прогулки, когда Сью видела меня с огоньком сигареты с двадцати шагов и не окликнула, или когда встретила Трубочистка и пришла первый раз около четырех утра в новый год ко мне в гости с Вол Маном, а я ползал всё это время по оконному стеклу как муравей, ожидая когда-когда же придут они. А на другой стороне был записан альбом Скримина Джея, самая популярная из его записей. Я так стремился поделиться своим счастьем и горестными думами с кем-то, кого обычно называют друзьями. И вот отдал его двоим своим приятелям Дебилам Бодрым послушать и разделить со мной моё несчастье. А они, встретившись вместе и подвыпив, и как придумал бодрейший Дебил номер один, и добрейший Дебил номер два его поддержал, стали они звонить на радио Европа-плюс и дозвонились туда, о чудо, на радио, где все заказывали музыку и передавали приветы. И вот Дебил Первый сказал, а давай передадим привет похищенному генералу Шпигуну, судьба которого на тот момент оставалась неизвестной. Вот позвонили и стали ждать появления своего привета в эфире, и записывать эфир на мою кассету. Первую сторону с Куртом Вайлем они затёрли, а привета всё не звучало и не звучало в эфире, что им прискучило, но по-тёрлась ещё часть и второй стороны кассеты. И тут они решили узнать, что же это были за такие магнитозаписи. Чёрт, так это же Скримин Джей Хопкинс, сказали они вслух одновременно, воскликнули даже, и били себя по лбу и по жопе. Так пусть же отомстит им покойный генерал, пусть каждую ночь во сне им является.

В другой раз на мой адрес пришло письмо из милиции на чужое имя. Я долго не хотел вскрывать письма, мне не предназначавшегося, но когда спустя две недели поступило повторное письмо из МВД по такому-то округу такого-то города, и я встревожился не на шутку и открыл конверт. Там сообщалось, что жалобы адресата, чье имя было указано как проживающего по моему адресу, по поводу безобразия, учинённого ему милицейским чином, устранены, и чин, признанный виновным в ходе внутреннего расследования, был уволен из рядов, и именно по просьбе пострадавшего повсюду в подъездах установили камеры наблюдения, а остальную, менее здоровую, часть посланий этого адресата следовало разрешать в медицинских учреждениях, а в МВД удовлетворить эту просьбу не могут. Озадаченный, я стал всех обзванивать, пытаюсь понять, что бы это значило. С большим трудом я отписался от этих писем. Прошло какое-то время, пока я случайно не узнал, в чём было дело. Мой товарищ с весёлым смехом, который, по его признанию, не мог унять полчаса, рассказал Дебилу Бодрому II, что, оказывается, десять лет тому назад обнаружил на лестничной площадке одного подъезда вскрытое письмо, адресованное человеку с той же фамилией и инициалами, что и у сочинителя. В письме в крайне дремучем и непонятном стиле были описаны творимые над ним неизвестными чудовищные безобразия и унижения. Так как письмо было вскрыто и оставлено без ответа, мой знакомый реквизирует его. Вспомнив о том, что брат

чужое нехорошо, он спустя год отправил письмо по одному из указанных на прежнем конверте адресов, но, будучи не уверен, что дело безумного старика, над которым творили бесчинства столь ужасные, что и вообразить нельзя, не будет решено в пользу пострадавшего, указал совершенно чужую фамилию и, ради шутки, мой адрес, и отправил это письмо в бутылке попутешествовать по морю. Теперь же, как он и рассчитывал, я был уведомлен в том, что потерпевший получил удовлетворение, и возрадовалась душа его. Оказалось, правда, что пострадавший все свои письма и жалобы, которые он продолжал писать пачками, подписывает теперь этой чужой фамилией и указывает мой адрес. Я немедленно сообщил об этом в соответствующие органы, и к моему знакому вскоре пришли с обыском и обнаружили исходный вскрытый конверт, который он решил сохранить на память. Его бы посадили, если бы он спешно не распродал одну государственную библиотеку от имени подставного лица и на вырученные деньги не улетел на частном самолёте в столицу Непала. Чтобы полностью обезопасить себя, по пути он выпрыгнул из самолёта с парашютом и сломав себе обе ноги, затерялся в джунглях.

Этот Децимус I был крёстным братом Виолы, и любил приходить к ней, пригожей, и принимать её у себя в прихожей, пока учился ещё в школе, но червонная дама – его мать – выражала всерьёз какие-то опасения, а потом он просто решил обтереться лопухом, как поступал всякий раз со своими друзьями, совершенно не замечая того, глядя сквозь светлые как у Джона Леннона очки и видя мир только в тонах радужных. Однажды он похвастался, что был на празднике пива в Санкт-Петербурге и выпил его шестнадцать литров, но умудрился не заблудиться и добраться оттуда обратно пешком до нска. Как раз в это время его друг Ява находился в экспедиции по сбору фольклора. Школа, где они поселились, граничила территориально с дурдомом, и женщины с плачущими голосами, словно скрипичный концерт осенних деревьев, в которых ломаются петли верёвок, дышал в его сознании. Когда он вернулся, то обнаружил, что лучший друг увёл у него жену, и хотя Децимусу потом и снились пятичасовые кошмары, его не преследовало особых укоров совести. Сочиняя песню про Штаны Муравьёва, он не предполагал, что предаст и его, переходя из фирмы в фирму и видя перед собой лишь хрустальный мир моста, на котором стоят пять веков и на котором звучат шестнадцать леопардовых корон языков, да только речка не Двина, не Дрина, а речка говнотечка под ним полная говна. Целостность картины мира и языка, вглубь расширяющего сознание и протекающего на коврике вундеркинда, до чинов ангельских созданной им комиссии по Дионисию Ареопагиту, утекала в прожорливое жерло Ануса Сатаны, и меняло точки приложения его зада. По-птичьи на моем балконе, на насесте хохлушки Виолы, в окопе, где он чуть не подорвался на искусственной гранате, на ковровых дорожках мэрии, где он кидался пирожками в покойного губернатора Муху, в своей конторке, где он продавал с конторскими счётами свою библиотеку, подумав, накидывая новый ценник, чтобы мир медленных венгерских поездов, медленнее чем лифты, и ещё более медленных индийских, везде проходила межа его ссушего рта и сияющей истины его очков, которые он периодически бил и утрачивал своё положение на географической карте...

В тот год я проходил по переходу станции метро и почувствовал запах снега и песка, насыпанного на полу. У меня случилась ветряная оспа, после которой я перестал быть похожим на самого себя, так что мне подарили на день рождения майку с котом, закинувшим руки за голову, лентяем. Я и сам стал таким котом, с просквожённным черепом, и у меня выросло грыжевое пузо, от которого вовек не было избавления. В тот год мы впервые обзавелись сотовыми телефонами. В день рождения Вол Мана мы приобрели такой Виоле, а потом поехали на день рождения. Хотя телефон был куплен напротив его дома в Евросети, под которой позже подорвали аптеку, отправились мы на дальнюю улицу Есенина, где собралось много здоровых мужчин, которые соревновались в борьбе на полу, и Вол Ман заборол Чёрное Жиголо, но при этом не произошло такого эпизода с кровавым помазком, как в квартире у Сью, потом я с немymi ногами соревновался с Монгольцем

в горловом пении. И он пропел «Ты уже сел в самолёт и лети бом-бом-бом брамсель колумбу в пах он входил в кабаки как в ладони гвоздь пока она ела ветер в тени судоверфи и они и мы тогда не знали о чём идёт речь, но мы все никак не могли хотеть чего-нибудь, ничего, кроме смерти». Это была последняя встреча всеобщего братства могильщиков, строителей бронзовых памятников и художников, после которой все разбежались вокруг света и забыли повторить волшебное слово «Апокалипсис, остановись».

Глава пятая

Прошло уже десять лет с тех пор, как Вол Ман построил огромную статую Золотого цыгана, его огромный дом и изваял сто золотых горшков с красивыми орнаментами, сад камней, акведук, идущий из ближайшего ручья. Прошло уже на тот момент десять лет с тех пор, как они с приятелями брались разгружать вагоны. Прошло уже десять лет, как нас не пустили чистить снег с театрала ДК в левобережном лесу. И в тот год чистить снег взялся путешественник по Аргентине и тёмному Берлину, марафонец Бодан, который ещё в глубоком детстве проткнул мне глаз оставшейся с нового года красной еловой палкой. Что мог сделать мой кленовый прутик, насаженный на крышку в этой игре в мушкетёров? Что мог сделать его смех с братом Сью, когда она, желая обморозиться, хотела заснуть в заснеженном лесу, но вместе с подругами вымыла его огромную квартиру после смерти его доброй матери Розалии? Что могли сделать древесные грибы, за которыми он ездил далеко в тайгу, против рака? Что могли сделать его сломанные лыжи, когда, брошенный уверенными туристами, он в сорокаградусный мороз пробирался до ближайшей избушки наугад? Как текло тогда время, быстро ли, медленно, долго ли, коротко ли, это сейчас оно кажется нестираемой плоской фреской, нанесённой на дырявый и продуваемый снежным ветром холст полнолуния.

Тогда время казалось огромным, как московское метро на станции Комсомольская, тогда оно в своей безобразной огромности могло сделать рывок подобно статуе, отрывающей ногу от постамента. Тогда она легко пробивала голову излучением первых мониторов. Тогда, разгружая вагоны, два моих товарища могли зайти в вокзальную шашлычную, и через секунду один из них оказывался в пяти километрах отсюда на площадке перед огромным лабиринтом библиотеки, а на вторую секунду наступало утро, и потом выяснялось, что за эту секунду друг успевал дотащить его дотуда на себе, а потом в непонятках проснуться у себя дома в десяти километрах от этой пустой площадки с газоном, очень уставшим. Тогда могло быть так, что сквозь затмение солнца в голове и летящий ветер мелких золотых частиц мне могли явиться две сестры в кофейне, что стоит уже десять лет, и через десять лет эти сёстры могли вырасти до своего нынешнего возраста и не гонять гусей, только тогда, на двух днях календаря, 1-го и 7-го бессонного января, открывались сны, которые сбудутся через десять лет, когда уже некому будет верить в них. Кто ж поверит, что ты видел во сне, что в 2012 году Вол Ман скажет, «у меня дежавю», а ты вспомнишь, что именно на этом месте в том сне он произнесёт дурацкую фразу, и давайте покончим с ясновидением, «я отдал сорок тысяч в МММ!»

В мае, не влезая в штаны, я купил кагора и решил попроведовать Виолу, с которой обычно трижды на дню перезванивался. Взял бутылку с собой, а кагор мне пить уже запретили, поехал через три района той дорожкой, какой, бывало, каждый день мотался в тот дистрикт, где все собирали золотые опавшие листья. Светлое солнышко, светлое, как сквозь майку полянка возле ТБК, здесь вот могли быть следы от её велика. Думалось мне, что она погибла уже, и воскресла на пасху – то всякое разное тёплое солнышко приносит нам радости, то град на дорожку, то снег в кровь и творожку. За овраг зашёл, зашёл в дом и пил там этот кагор. Было пусто в доме, сидел

там только не кормленный Кот Глупозавр, который любил тогда уже садиться мне на воротник и которого за год до того мы блохастенького подобрали и девочки отмывали его в очереди. В тот день оказалось, что дружит моя Виолочка с мужиком годков так под пятьдесят, найденным на пляже, ломящимся в квартиру выяснять отношения и называющим меня Вазеком. Делать нечего, я ведь на заводе работаю тоже, стал я этого дядю отваживать, а он мою душонку сильно пугал. А тут ещё господин Гнев решил, что мне надо заработанные и украденные деньги на РИА «Новостях» снова отработать за переводы, только деньги-те уже рекой не текли. Вот стал я шкряб-кочеряб на двух работах подъедаться, а по осени выпросил отпуск, в который отправились мы с татко моим и с Виолой в Москву, да ещё попросили у сестрёнки моей телефон, на который приходили всё время странные смс. Видели мы и Инессу тогда, и представлены они были, и Фибло целовал при расставании Виолу в щёчку, и ездила она на сутки ещё и в Питер, где Бобин-фотопечатник водил её в «Чашку», и где целовала она пальцы статуй, пока мы с Данилой и Германом сидели и вспоминали на Савёле про разные наши мамату да Махмуды печальные и антиправительственные стихи декламировали: вспоминали, как спал я за год до того в этой комнате с саквояжем Германа, позже утерянным, как узнал выражение «вы что, все на том свете», как шли мы к Пабло без всяких телефонов с Инессой и Иделью, да то всякое разное про танец Пастух и Пастух, которым возле Бутырки друзья мои квартиру эту окуривали. Да как пили мы перед поездом, а потом оказалось, что умер в тот день Жак Деррида, да какую господин Гнев мне вкатил потом что у его чешской жены выпала бы манда выволочку по приезду. И платить меньше стали, и на завод ходить мы перестали. А в Новый год поехали мы с Па и О., да с Вио в город счастья, и там нам запретили мыть в раковине сапоги, и сказал мне сопутник мой Битюг: принимаю тебя в мою семью, а вот Виолу, прости, нет, сладкоречиво так сказал гнилые сии слова, да теперь вот меня в мою же семью не принимает хлыщ битюг, подарю ему уют. А перед тем входили мы с Виолой на нашу кухню, где старая мать моя полировала стены, а мы нагло посмотрели ей вслед. Так случилось, что этот год вышел нам в послед.

На Гоголях высокий Николай с золотыми сединками сидел с нами на лавке, долго сидел, и перелистывал страничку за страницей лучистого утра до вечера, как единственный раз видела Виола его, и как потом никогда не читала бы больше ни этих книг, ни тех, что стояли на полке поставленного мной стеллажа, и потом был обратный поезд, так передо мной опять закрывалась Москва.

Глава шестая

Глядя в это злополучное зеркало злорадного и чернеющего по краям как губы измазанные волчьей ягодой пруда, в который валяются листья с тёмной бахромой и откуда глядит косая Офелия, и её чёрный волос остается на моей одежде, я смотрюсь туда и вижу только светлые пятна лужаек и полян, куда заходит только солнце погреть корни торчащих старых коряг. Но как согреться им на дне перевернутого пруда, когда уже собираются клофелинчики у ночных таксомоторов и отправляются на свои разъезды.

Во время одного из таких разъездов брат Фибло, французский поэт, ниспровергатель Бога, как и сам Фил в своё время, прибыл в Москву, увлёкся известной актрисой, спускал деньги рекой, не спал ночами, да потерял покой. Красивый черноглазый и чернокудрый юноша попал в плохую историю: оказался на вокзале и стал нарывать на кавказцев. Сильно напуганный, он оказался в больнице, откуда был в первый раз экстрадирован, и стал пациентом аптекаря. Мы вспоминали о нём втроём с Пабло и Филоусом, когда в последний раз встретились вместе. Там на видеоплёнке мы видели Хвостенко, и с ним молодого красивого тонкого юношу, мечтавшего быть Жилем де

Рецем, с тёмными глазами, и совсем маленького мальчика, читавшего весёлые стихи. Красивый юноша прорвался к центру колонны и снимал на камеру автобус римского триумфа, а Бартез, Лизаразю, Тюрам, Блан и Зидан проезжали с венками по Елисейским полям. Затем предстояло опоздание на автобус и пересечение трёх границ автостопом с украинскими дальнобойщиками, голод в течение двух дней, направление в полную неизвестность и счастливое спасение. Красивый как актёр молодой брат, Александр, сбежав от матери и отчима, известного разбившегося каскадёра, прикованного к креслу, сбежав во второй раз, оказался в больнице с прободной язвой, сопровождавшейся выходом в делирий и изрисовыванием паспорта: я поэт, я гражданин мира, с последующей второй экстрадицией из столицы в столицу. Ницшеанский и маяковский бред в почтенном итальянском семействе, даже если сопровождается плохописью, не умаляет красоты юноши-поэта, отчаянных поступков, настоящей жизни, так лучше, чем быть пестуном семейства Триелей и отравиться, как знакомица этой семьи, которая могла бы полюбить и первого, и второго юношу. А у меня есть эта фотография, где Володя кончается, гори она как воротник беззубой чернобурки вечным огнём!

А в тот год мама отправилась в дальнюю поездку на поезде, заблудилась в метро, подруга не была предупреждена и уехала на дачу, выбрались на один день к Кремлёвской стене. Меня же тётка своими заботами не оставляла ни на день. В пустую квартиру внесли перед этим новый диван и шкаф, и я помню, что эти белые комнаты и одиночество как в белой большой и большой голове, которую нужно закормить колёсами и проверять, чтоб не сбежала.

Летом Вол Ман начал пить вино как пьяный китаец. А за год до того произошла вторая авария. Зеленограф поехала туда, белая как полотно, их друг разбился насмерть на машине. Я видел его один только раз. Он был одет в чёрное и был недоверчив ко мне. Тогда ещё, пока он был жив, Зеленограф и Трубочистка сделали кукол, изо ртов которых вылезала бумага со шрифтом, это называлось «три сестры». Они были похожи на них самих, эти манекены, и лишь едва оживали от вечной ампутации и солдатской стойкости. Зеленограф рисовала своих спящих друзей, обрачивая заговорную примету в обратную сторону. Этот человек прежде чем умереть ин э крэш дал Трубочистке новое имя. Это посулило страшную перемену судьбы, всё вместе, как кто-то наколдовал, исчезнув.

Вол Ман пил всё лето красное вино, так что оно превращало летние дни в быстро наступающие сумерки и потёмки. Тогда вино ещё можно было пить на деревянных скамьях и в парках. За год до этого они с Трубочисткой, нет, за три года до этого ездили в Питер. Это были лета, раскальвавшиеся как арбузы, подъезды и арки с тенями, святой запах мочи, разобранный кусок консерватории, поиски дома Харитоновна, когда мы разобрали старые обломки коньков совсем другого здания и они потом хранились у меня в кладовке вместе с черепом, что они изваяли, у которого треснула голова. Кажется, что всё произошло в один день, когда треснул череп, когда И. разбился в аварии, когда разобрали дом, когда Вол Ман пил вино и тосковал о лете, как наступал его, лета, последний день, как Трубочистка разнесла мастерскую трёх сестёр, а он всё просил о прогулке Зеленографа, и были даже эти пара прогулок и когда Сью заходила в мою квартиру одна единственный раз и стояла белой раскрашенной тенью у моего окна. Когда дни раскальвались надвое бритвами тревоги и срастались в один большой день светлым солнечным пятном. После этого общего как вагон дня разломилась как краюха судьба.

В тот год я отправился в дальний поход. Он длился сорок дней, мы прошли от речки смерти Аргут к Ярлу. Маленький мальчик, у которого отняли отца в тот месяц, невыносимо хлюпающая огромными сапогами, спускался по мокрому километровому склону. Два дурака взяли с собой семиместную палатку и остались на том берегу Текелю, потому что один из них не смог идти дальше, они спускались по самому отвесному и трёхкилометровому склону. Остальные семеро сбежали по первому склону и заночевали на опушке в двухместной палатке. Поход начинался покупкой

бараньего мяса, пением советских песен по белой замусоленной книжке. Я был рассказчиком для юношей. Сказка про Гулливера, перечитанная мной, двадцать раз была безбожно переврана. Мы неслись в маршрутке туда. Дети блевали. Играла песня «Наташа, Наташа, до чего ты хороша». Зелёная девственница Наташа от тошноты еле могла шевельнуть головой.

Мы залезли на крышу дома, который загораживал Кате луну, ещё не отъехав в горы. Я испугался красной покатою крыши и спустился вниз. Именно тогда медленно поехало колесо, а Виола врезалась в дерево. Именно тогда Уй Дрок всё простил ей. Когда мы вернулись с похода, у меня подгорела печёная картошка. Я пришёл, выгнал какого-то молодого сторожа её дома и чуть не заморил голодом кота Глупозавра. Было воскресенье, когда я приехал вновь. Уй Дрок и Виола вернулись из другого похода вдвоём, бросив мою сестру в пещере. Что я сделала ему, то есть мне, плакала Галина Чику, я никому не рассказывала о своем первом и погибшем юноше. Пожарище спалило ветхую постройку дачи. Уй Дрок стоял на пепелище и глядел на карту, гугля на дом, который был когда-то и его домом.

Господин Гнев выгнал меня из РИА «Новости». Я поехал один в Санкт-Петербург на поезде за деньгами.

Глава седьмая

Отчего то, что казалось само собой разумеющимся и наступало само, и оживляло фигуры на портретах, и наполняло кожу синим воздухом, и шевелило на голове волосы, вдруг с опозданием, после одного только общего дня, стало оползать, как талое солнышко в болото или физкультурный окоп, куда прыгали дети и который обнесли, где они плавали по весне на синих льдинах, а потом где выгуливали собак, а потом заколотили забором. Почему до сих пор болит нога от перемычки железных ворот, о которую столько бился и которую потом ночью отпилила с Уй Дроком сестра. Почему с тех пор, как это поле стоит заколочено тройными железными брусьями, всё с промедлением, примерно в четыре года, как шайба, сорвавшаяся с крюка, и с лёгким и мягким и нежным скрежетом вдруг обветшало, а потом и вовсе облетело, как золотистый налёт рисунка на фаянсовой чашке. Облетело как тело, которого никогда не было, а вместо которого ходила душа, и вот сейчас, да, она стала видна. Ужасная душечка, бродящая по кладбищу с мокрым котом.

Почему Вол Ман видел там всегда это тело, женскую купальню, говоря, что мы с ним ни мужчины, ни женщины, говорил специально, чтобы рассказать мне про красивых и отдавшихся ему персиянок, обрывающиеся коврики синие, один за одним, от ветра, и прикладывая гранатовый сок к губам около часу девятого. Просияв синими пёсьими губами. Потому что Вол Ману нравилось чувствовать всё, включая кобздец, особенно кобздец, особенно видоизменяющийся неприметно красивый и уродский, псоглавый кобздец. Почему сейчас нет ничего, кроме ненависти во мне, заместившей собой летавшее восхищение и страх, радость земную петь словами и называть по имени вас, Зеленограф, Виола и Трубочистка, Влада, Идель и Инесса? Потому что тогда в новый шестой год к дому офицеров Уй Дрок подвёз мне на машине Виолочку, и после тупого утра в менторской квартире с ненавистью друг к другу она сказала мне о том, что больше не любит меня только полгода спустя.

Я зашёл к Уй Дроку, он сидел и светился. Пойдём попьём пива на улице, позвал он, а то тут Ира сидит, с такой постыльностью, с таким непривычным горем и ненавистью, что и помыслить нельзя было то, что произошло, а можно только догадаться. Он что-то хотел сказать мне, что-то хотел чтоб я додумал. Я подождал было и сразу же убежал. Муж Виолы тихо смеялся, и видел бы как они целуются, сквозь стекла машины, подходя к педагогическому институту, как мне рас-

сказали! Тётка моя отказывалась понимать, перестала здороваться, вымучивая мне мозги своим новым горем недолюбков. Любимая татка моя. Почему я женился на шлюхе? А ты и не женился на мне, ты сделал шлюхой меня. И на это нечего будет возразить.

И тут же на рождество Уй Дрок подарил ей такого красного слона, какого я никогда не отдал бы ей живого. И тут же на рождество счастливая Женя улетела в Питер к Бешеному Алкоголику. И тут же четыре красных автобуса замёрзли по дороге в Томск уже в феврале. И тут же в мае начался ремонт, складывались ужасные слова, золотые на вкус как пыльца. А осенью не тут же, а прежде приехал Бобин, вернее его забрали из Питера, и Трубочистка выбегала с ним голой из моря, а я не мог их отличить. И тут же, хотя нет, прежде, Зеленографа начало отшатывать от неё на полтора километра, потому что она, Трубочистка, разбила все бутылки в их общей мастерской, все светильники, все подсвечники, все стёкла и зеркала. Начала лукавить и ненавидеть, а они снова шатались в великой дружбе, опять пьяными по ботаническому саду, опять фотографировались, опять пьяными, опять пили вино, пили вино, опять пьяными невменяемыми, а потом опять подарили автомобиль на свадьбу, на которую мне идти не хотелось. Приезжала Косицына, во второй раз, поила всех гиннесом и повторяла: нет, это не гиннес, и спрашивала меня, почему же ты не позаботишься о Виоле, Силифакер?

Я позаботился, по талому синему марту мы шатались в солнце и целовались, целовались. Потом я быстро кончил, встал и ушёл, так чтобы больше никогда не давала. Потом был май, покупка дивана, вынос старых вещей и прощание с ними. Потом был футбол в Германии, загаданная беременность жены Капитана на день финала, смерть его тестя перед этим, и его мечь, и предсказанное бодание Лысого. Потом были прогулки с Хакаской и Аннушкой, потом были первые газетные колонки с фашистскими статьями, полными антропософии. Потом был куплен телефон, который трубил как сирена, проданный дальше таксисту. Потом было знакомство с Цезарушкой и часы музыканта Андраде, и ночевка с Виолой в высокой гостинице, где мы проборолись всю ночь, так она ужималась, а утром показала в зеркале свои маленькие грудки. Нет, это было уже через год, нет, этого не было вовсе. Возвращаясь с новогоднего праздника в железнодорожном институте с расстегнутыми штанами, я впервые ощутил безумную, неотступную тревогу эпилептика, полный паралич, и тот самый единый общий день, который тогда клонился к вечеру, ужас оторванной дудки зеркального цветка, историю, что кончается, не начавшись.

Новый год мы встретили с Пабло, Димоном и Антоном, не так как раньше, когда играли друг другом в регби, когда Вол Мана запихали в мусоропровод, когда Трубочистка бегала от него по этажам. Перед этим мы два часа стояли на вокзале, чтобы в очередной раз первого января поехать на город счастье. А за год до этого, последний раз собираясь с Фиблоусом, Димоном и Пабло в его квартире, выставив голые животы, слушали Маринетти, пили водку и разошлись только утром. В ту встречу мы всё решили только недомолвками, год спустя мы пили с Фиблоусом сидя в сугробе херес, а я в последний раз видел фиблову бабушку, как и он.

Лёгкие сны первого дня нового года, когда ещё помнилось детство, уборка под ёлкой, всё до мельчайшей соринки, полностью омытая на год квартира-голова, и всё время ещё показывали сказку про Обеликса и Фальбалу, пока мы уносились в поезде в город счастья. Я еле-еле смог подняться на Столбы, а потом восемь часов бегал там под ними в страшном беспокойстве, и выпил весь термос чая, пока Пабло и О. лазили по первому столбу с верёвками. Там Пабло умудрился свалиться вниз головой в сугроб, закрывавший скалу. Нас встречал Стен, он даже пошёл нам навстречу, так поздно уже было, когда мы вернулись. Его лицо в одиноком лесу, последнее счастье этого города, кроме бутылки флеша, которую он купил мне через год, когда уже не мог слышать больше теорий про единый язык человечества.

Синие лёгкие слетавшие видения, недельные бессонницы, потёмки света и тени, когда Женя встретила Сашку и была прекрасна как хлопок, когда казалось, что свобода вот-вот наступит, можно будет только ткать из кружев ночи, греть ладони у костра, пока каменеет спина в тени, когда можно будет украсть воскресение из жизни. Уже уносились полное затмение в поезде с газетами, раскрытыми красивыми врачами, уже мы уезжали в Киров. А когда вернулись, оказалось, что вечного дня нет, а есть лишь тревога, хрупче чем раньше обламывавшая ветви твои, но что с ней надо как-то жить. Из больницы на окраине города, где все видели больше святости и истончения кромки ткани ковра, прямо в школу, учить детей, детей, что снились ночами потом, смеющиеся, поющими, проказливые первоклассники, над которыми не мог строжиться. И так до новых годов, которые перестали иметь смысл, выходящей из длиннющей траншеи осени, разрезающей жутью тени на улицах, выходящий на встречу и подгибающий ноги гопарёк, встреченные китайцы, которые сидели на заборе и хотели резать. Осень надписей на гаражах, взломы Вол Мана, его красные краги. В тот год случилось первое возвращение Пабло, прогулки с Норой, у которой позже в замке видел её портрет, в точности напоминающий портреты Трубочистки и Зеленографа, танец теней рук и лица Норы, чёрной как нуррис, склоняющейся над столом, из-под которого ребёнком выползла Персефона, и фото её брата. Нора, чёрная Сью. Семь братьев у Норы. Нора, знающая неистовство плачей, на плитах разрушенной постройки заброшенного института. Гаврила, похожий на зулу, и Романовский, молодой, бьющийся этой осенью на листах ночей и ножей, с разбитой об автобусные остановки головой. И Гаврила-Зулу, которого относил всё время на Берёзовую рощу, и я не знал, что и спустя три года и меня туда понесёт. Танцы в «Даче», диджейт Сандро, Нора выплясывает на каблуках, а потом мы тащимся через пустой и обледенелый центр, где белый иней сверкает на чёрных пустых домах.

Осень, проведённая на Фабричной, когда состоялось великое стояние Пабло, Димона, Антона и Вол Мана, показавшее полную нетерпимость друг к другу, смешливое непонимание и отдельные камеры голов, где строились взгляды на чистоту жизни, восьмичасовое стояние, выступившее квартиру в Доме Грузчика для новой жизни, которая состоится. Нет, это не сейчас, а на будущий год, а тогда, да, Гиннес перестал быть Гиннесом, я пью одну за одной, в унтергрунде потекло сразу из трёх туалетов. Восхищённые неврастенички, которых потом случайно встречаешь спивающимися, и рассказывающие ужасы про страшных отцов. Тут и огромные дудки, тут и сибирский моджахед Красный, гигантского роста и тогда в хаки, майке и с огромной бородой до pupa. Это после уже на витающем над Первомайским сквером дожде сквозь солнце он оказывается школьным историком, рассудительным до еле уловимой хитрости и уезжает в Питер, чтобы быть околоточным в супермаркете.

Осень. Последний раз на дне рождения у Сью, которые начинались ранее, как правило, в двенадцать ночи. А ещё это был день седьмого ноября. В подарок книга Александра Блока. Белая кровать Сью, отдельно от Джаджа, это уже после их жизни в трёхкомнатном сквоте коммуной, когда Джадж изучал человеческое безумие и успокаивал деда-говоруну или одного из подобных ему говорунов – крикунов. Разговаривали и мы на повышенных тонах с Джаджем, историю которого я всем разболтал. Здесь же Уй Дрок и Виола. «Вас нет», говорю я Уй Дроку, который уже стоит теперь рождественскую службу в городском вознесенском соборе, где раньше ходил трамвай, а не в деревянной церковке, куда ходит брошенный сын, и развезжает и открыто ставит свою белую «Ниву» у ворот Виолочки, а у сестры ремонтирует квартиру, механизмирует и инсультует двух этих умных по-разному дур. Осень. Август. Звонок от Сью. На том конце провода Дима Чебурчек. Мы не спали здесь всю ночь, нам нужна помощь. Здесь не психбригада. Потом прогулки

и встречи в случайных местах со Сью, по дороге к кирпичным казармам по соседству с вокзалом. Электронный Джоник тоже там. А теперь их там нет. Теперь там представления и декламация для Вити Веркутиса. Сходите к нему, мы уже слишком мёртвые, говорит Безумная Поэтесса. Бригада психов никогда не поможет Баадеру и Майнхов. Бригада психов мертва, как Майнхов и Баадер.

Глава девятая

Василь разбился на машине и оставался прикованным к креслу. Ты сосёшь у дьявола, говорит отец сыну. Тот разгуливал со своим годовалым племянником, размахивая пистолетом. Джадж эмигрировал на Алтай, поселился в домике и оттуда посылал всем сигналы. Он всех поимел, как стадион, на котором он однажды запрограммировал чёрные и белые кресла и систему выдачи билетов. Его друзья по-прежнему томились в рижской тюрьме. Смерти нет, ты не знаешь разве, строго сказал Бобин Вол Ману, я воспитаю твоё дитя. Я буду торговать иллюзиями человеческих лиц, я сделаю их мясными и такими, какими они сами не захотят видеть. Но я буду видеть все слои, вплоть до перевернутой точки окостеневшего зрачка распятия.

Распятый был на шкатулке. Там был изображён футбольный круг, в квартире, где я тогда жил. Я оказался там благодаря Джексону. Мы дважды столкнулись в метро на Красном, распрощавшись, казалось бы, навсегда. Это направило время в задний, запасной вагон, который катился в полной тьме, сам по себе, уже без рельс, за счёт гармоник лёгких. Тугоплавкая пластинка, которую вставили Джексону в голову, спасла ему жизнь. Мы могли бы не встретиться никогда. Джексон носил шляпы и кепки и жил на Каштановой аллее. Он колесил на вездеходе по Мурманску, плавал в дельте Волги, забирался в кемеровскую шахту, пока рушилось вокруг всё, и безумный Себастиан попадал под машину и бегал по Берлину с загипсованной ногой. Я ходил и покупал хлеб, и читал на каждой хлебной горбушке литанию Сатане. Я летел с турецкими детьми в красном поезде и выпрыгивал не на тех станциях, подъезжая к Альпам. Я думал провести ночь в Триесте, чтобы вернуться пешком оттуда, как Филонов, ходивший делать витражи. Я хотел видеть этот порт, описанный в операх.

Но это было всё после, после. Сначала рождественский ребёнок, с изломанной и забронированной головой, смотрел на меня по-детски и дружил со мной в кинотеатрах, сидел у меня сутками дома и смотрел большими и счастливыми глазами, пока я не устроил ему пытки, где сорок минут читал лекцию о её несбывшейся судьбе, Лорелей. Она предала и возненавидела всех, кто ей когда-либо что-либо дал. Богородичный румянец немецкой Мадонны спал, вместо пухлых губ и пуховика остались лишь белые волосы, чёрный плащ и поход в фальшивую оперу, где ей не петь, а той, кому петь в хоре, тоже уже не вернуться в тот возраст, в котором её можно было бы полюбить. Прочитать лекцию девочке, если это значит выше чем кончиться в её объятьях и довести до слёз, вот что такое песочный человек, вот что такое золото листьев, которые дьявол со смехом рассыпал передо мной. Лорелей, Лорелей, прости меня, а я тебя никогда нет, никогда не прощу.

Пока провокатор Климов свистел в свистки свастики возле часовенки и магазина эпилептиков, пока он перебрасывал через себя убийц и латал дыры от ножей в пальто, пока олигофрен Артёмка рисовал сатанинских богородиц и приковывал себя цепями вместе с белокурой Мари, любимой игноранткой Джексона, пока Плу показывала мне картины, такие же как у Зеленографа, Трубочистки и такие же как портрет Норы, пока отрицание и запрет, прозрачный и внутренний кристалл крушил сердца, пока группа воспламенителей бегала и верила в психов Христа, я стоял и оплакивал в ужасе трёх покойниц и видел путешествие к большому дереву, куда старуха Фаина износила восемь сапогов, пока дошла до этого чудного древа. Пока летели розы в гроб Светланы Исаковны, пока тарачило Чёрта из Табакерки от кропила воды сжигаемой Влады, пока мы все

были как отроки в печи и пока вашими руками вас же и наели, пока вашими же руками строили новые тюрьмы, откуда вы извлекали мумии восточных цариц и зарытые останки узников советских, я стоял над тремя могилами и верил, что всё воскреснет, что будет весна, что будет солнцезолот, и гнильца золотого травленого солнышка уходила всё глубже, пока я не встретил Вол Мана в одну хрустальную ночь, когда родилась Черешня, когда я сидел и смотрел на звёзды и гадал под небо Берлина, сколько звёзд на небе, и Ганс Нойбах рассказывал мне свои тайные замыслы новых романов и говорил, что неплохо ведь тебе заплатили, когда мы вырुливали из метро, выходящее в небо на Парижской площади, в твой день рождения, девочка Артурка, Лорелай Римбаудка, анюткина прибаутка.

Глава десятая

Я был в странной комнате, где перспектива была устроена так, что в ней умещались двое, один из которых смотрел в большое светлое, но завешенное лесами окно, а другой сидел в конце узкой лунной тропы, дождливой дорожки, на мягких коврах, окружённые духом кельи. И один рассказывал другому историю, от которой тот соблазнялся, смеялся и ужасался, неудержимо, сладко, божественно смеялся. Эта комната была описана, многие побывали там. Но смеха богов, которого не унять до четырёх утра вместе с пляшущей в белые ночи луной, до четырёх утра рассветных сумерек, куда меня привёл молодой старик в чёрном, но робко отказался у дверей. Почему я должен чувствовать себя смеющейся девочкой, потому что она только что разбилась, рухнув с ёлки, вместе с мокрым котом, и сама же ползает по полу, собирает свои осколки, отправляется странствовать, пропадает и блуждает по лесу по полгода, бьёт себе голову оземь, плачет и летает по синему небу. Потому что она умеет любить, потому что она отправилась путешествовать, если бы не китайские погранцы, к месту гибели своего отца, и глубже в детство узбекских мечетей, в счастье, которого не было, которое украли, в безумие тяжкой души, когда она живёт в комнате с портретом, которая переворачивается и оказывается выходом в чистилище, Анусом Дьявола. Лучше так в этой хрустальной комнате чувствовать ёлочную копоть и писк безумных любимых игрушек, в комнате, где после меня никто ничего не сделал, не покрасил, не сломал, где мне в висок прилетела чашка, и я плакал, где я единственный раз ударил её, многократно сбегая по лестнице, и не хотел возвращать ключа. Ты всё равно, моя жестокая любовь, как зловещая скрипка осени на том стеллаже, где стоит книга о тридцатилетней войне, которую тебе надо прочесть. Блуждаешь ли ты в Литве, Польше, едешь ли ты на автобусе во Францию, и тебе потом делают трепанацию черепа, и ты не можешь говорить, заглядываются ли на тебя жадные, голодные, нищие поляки и находишь ли ты сто долларов в Борисполе, когда в Закопане на дровнях катают твоего ребёнка, помни, мой друг Санчо: я избыл себя в этой безвременной череде теней улиц, я заблудился в питерских пирожковых и красноярских ветлужанках с поваленными столбами, но этот портрет девочки вечен, и все несчастья, которые свалятся на неё, обезумевшую, голосающую, не пережить и за двадцать жизней Трубочистки, её лучшей подруги.

Две девочки разглядывали друг друга, а чёрная нуррис негритянка подсматривала и прислуживала им до своей смерти. Теперь этот завистливый глаз и повизгивающий смех отдавался рыданиями и ругательствами. Старшая подруга быстро теряла ум, но отличалась любезною совещательностью, легкомысленностью и нетерпимостью. Она могла плакать только пьяными слезами над своей больной печенью. Причиной ссоры наших двух любопытных прелестниц, капрала и трубочиста, стали маленькие котятки, народившиеся в доме вскоре после инсульта хозяйки квартиры, не были попросту утоплены в ведре, а были вывезены за табор в бывшей деревне и оставлены, брошены в лесу. В этом было не стыдно признаться и показывать потом на пыльной

каменистой дороге, многих водившей по кругу в околотке, то место возле бывшего коровника, где бедных птенцов могли съесть собаки. Таким образом подруги рассорились. В околотке было принято ухаживать и ходить за больными, несмотря на подступающие неопрятные запахи разложения, пролежни, духоту и разные другие смертные трупы. Куда жальче было маленьких и беззащитных птичек-котят. Мы же отвезли их в деревню, они смогли бы там терпеливо выжить! К чему было носить эти фенечки, если не знать песен про мёртвых котят, или бояться скорбящих защитниц слабых и униженных, растоптанных большими лаптями, собирающих старые симки с чужих телефонов на огородах Вол Мана? Стоит взглянуть в лицо Трубочистки в день её сорокалетия – зелёное, мёртвое, усталое, неживое лицо. Кто родился в дьявольский полдень, тому пригоршню листвы. А кто, как говорит немецкая сказка, в полночь того же дня, тому быть унесённой чёрным Эллекеном, просвистеть по небу три раза, как ласточки и стрижи, возвращающиеся в гнёзда белых хат и разбивавшихся о стекло хрустальных врат, и рушиться как под ногами толпы очарованных волшебников Волманов, низвергающихся вместе с опорой моста в Еувфрат. Порка Мадоска, не мешкай, стреляй!

Тебе стоит прочесть книгу про тридцатилетнюю войну. Там описано некое дерево, распускающееся человеческими головами, молодильными яблоками, коровьими и воловьими глазами, дерево, ставшее книгой, дерево, на котором все народы в мае цветут и разносят грядки мотыгами и ножами, дерево, которое улетает, как священный огонь пасхи, которой может и не было никогда. Дерево, от которого висельники на костре начинают свои лютые пляски в самые синие и тёмные холода, когда вы вылезаете на крышу твоего чердака, откуда слышно каждый шёпот окрестного двора, и когда вы подправляете антенну, чтобы лучше слышать и видеть Кассиопею, Ковш, Млечный путь. Вы увидите себя на этом древе, не как Паоло и Франческу в чёрном и ледяном вихре, не как несущую через пустыню лепёшки Психею, не как умирающую хвойную Хлою трёх сосенок с бригадой психов. Вы увидите себя в новых могущественных лепестках короны тысячелистника, дождевика, улья басенных пчёл. Такое дерево я видел во сне в лесу, когда читал пьяную книгу наступающей весны, за которой солнце кануло в Гибралтар и не взошло больше.

Когда Косицына приехала в третий раз – всё вновь было по старому, и щербет моей птички, и Чёрный Жиголо, который будил её, прибегая из-за горы, как он спал пьяный, и как ему было сказано, чтобы он воспитывал своих детей, которых у него нет, как Бобин, отпустивший бороду до пят и носящий колпак дедушки мороза, воспитывал Антигону и Электру, суя им в карманы острые дикобразы иглы. Всё было так же, как и двадцать лет назад, теперь, когда Косицына приехала в третий раз. Только уж не было того, того, третьего, Федота да Якова, да пятого на десятое. Всё будет так же, как раньше, когда Косицына вернётся в четвертый раз. Не в этой жизни и не на моём синем глазу.

Мы с Виолой стоим в волшебном лесу. Нас несет через переход через мост, к проруби, которая превращается в купель, где мы находили на берегу фиолетовые камни, теряли крестики, смотрели на рыбаков, бились в молниях волн. На виадукке она показывает мне, как правильно поднять бутылку. Машинист гудит в гудок, как в трубу. Поленья и стаканы лопаются с треском в шести частях света.

Эпилог

Мы бежим с Пабло по битому чёрному зеркалу Красного, пьем спотыкач, сверху валятся сосули, машины врезаются в футбольные бары, свистит ветер, падают витражи от ударов каменного ветра. Мы бежим к машине, где лежит костюм Деда Мороза. Он один на двоих у нас. У детей будет Рождество и Новый год. В этом году.

Вол Ман спит и видит два чёрных урагана, два смерча, не такие маленькие, которые бывали ростом с человека на остановке Цветной у волшебного леса. Он пытается укрыться от них, чтобы как-то спастись. Затем Зеленограф проезжает на велосипеде по светлой дорожке, и не узнаёт его.

В день смерти Усамы бен Ладена я сижу в аэропорту Кеннеди, и слышу всю ночь в гостинице даунтауна дикие крики разъярённой толпы. В день штыка в жопе я сижу восемь часов в холодном Домодедовске и думаю о Чернавочке и допиваю виски из дьюти-фри.

В игре на Вознесение 13 года я вижу чёрную тень и бью Советника перчаткой в челюсть. 1 декабря 13 года, в день памяти отца Петра, Советник снимает мне мяч с головы и рассекает череп маленьким шрамом на стадионе городской команды «Сибирь-Чикалда».

Я не сплю всю ночь и пью наутро синюху с айрн брю. Когда я прохожу по месту «дежавю МММ», звонит Вол Ман и спрашивает: ты не на кладбище? Я думал, ты там. Сегодня Троица, надо прибрать наши могилы.

Я добредаю до кладбища только в декабрьское в утро после разговора с Иреней, который длился двенадцать часов. Меня догоняет Пабло на грузовике, сообщив, что выехал очень быстро. Мы катаемся в сером и сумрачном лесу, после чего я засыпаю мертвецким сном.

Пабло снится, что он встречает в лесу медведя, дети будят его и расталкивают, и он гонится на своём американском грузовике, на котором вывез меня раненого в год, когда мы били витрины с Кузницей в Хрустальную ночь. В год, когда мы разуверились и переменялись во всём. В год, когда не стало вечного дня, а общий вагон пробуксовал до ямы и накренился над ней после ярмарки. В год, когда я уезжал в последнем вагоне последнего метро. В год, когда я был счастлив двадцать минут так, что не хотелось курить, помузицировав с тобой и кончив в штаны на улице. У меня не осталось больше воспоминаний, кроме тех, что сбылись из снов: вывеска улицы в Филадельфии, где апрель, июль и март следовали как дни недели и где после двадцатичасового перелета снилась Инесса, не поздравленная в тот день с днём рождения; встреченная та же Инесса, как Иштар сбегающая к киоску на улице Челюскинцев; гол, забитый во сне с полным переворотом вокруг себя; дым, как свет в берлинском борделе и разговор с дамой ресепшна; две сестры в кофейне, сидящие рядом со мной, снившиеся за десять лет до того в Рождество.

Но ничего не помнится больше, чем апрельская выставка в ЦДХ и работы Митурича на ней. Безумный, чёрный, больной – и светлый и отошедший – два взгляда Хлебникова: один, который не сбудется никогда, и другой, который сбывается каждый день. Всё остальное вы видели, наверно, в кино.

Январь 2014 г.

Галина РЫМБУ

Зима 13

что было когда как был
глотнул третьего воздуха

империи император
жёлтым крылом махнул и шкатулку закрыл
но свет из шкатулки разлился

пока несли кай хуа лун дин
звери наращивали подшёрсток, кричали: «шампанское»

летели
плёнки и свёртки
и
коконов спелых верстальщик
(из ворот с тонкой ниточкой красной у губ выпадая)
едва
успел сказать

что ты скажешь теперь
с бледной рыбой в соль укутанной снег снег говорит хе-хе
в газетной обёртке (но что за слова на газетной обёртке:
«ордынка», «преображенка»,
«кальпицы», «анют»)
спешащий по новому каменному
на старый каменный
когда есть дело ещё для камней
а их чувства их место

пока не открыты ворота и связки голосовые и гланды
чётвёртая стража катаром пронзила

я вижу реальность: видео с козами
где течет из шлема сладкий смертельный чай

Галина Рымбу родилась в 1990 году в городе Омске. В настоящее время учится в Литературном институте им. Горького. Публиковалась в журналах «Воздух», «НЛО», «Сибирские огни», «ШО», альманахе «Транслит», интернет-изданиях. Автор книги «Передвижное пространство переворота» (М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2014). Шорт-лист премии «Дебют» (2010), финалист премии «ЛитературРентген» (2010). Гран-при фестиваля «Молодой литератор» (2010) в номинации «Поэзия». С 2013 года координатор Студии Новой литературной карты России. Публикация в «Волге» в 2010 году (№11–12).

в поле конь топчет миниатюрный питер
я умру а ты стесняешься

любили и обнимались во сне
с голубым платком обходили заброшенные кишлаки
прятались в кроветворном трамвае
сто лет спустя скандировали: дружба против аллаха

а теперь пастух одинок
на краю бомбы в пропасть несущийся
покажи лицо в краю без возлюбленной
затылок разорван глаза вдавили в пустыню
а звездный пес актеона оближет твоё лицо

маленькие муравьи на краю гор
кремль смазанный кислым мацони
арсенал приёмов чтобы ещё что-то ходить
чтобы наши люди ещё могли двигаться
внутри ядра

ладони сжали виски личность в уголках пыток и пота
камни рожают наших детей
они кричат: чужие против своих а свои – карлики мрачные
но она приходит и всё останавливает

тогда кроме травы и деревьев тонны заброшенной документации
разные сандалики на босых ногах бланки с группами крови
неизвестные предметы найти могилу родственников
распорядиться по-братски чтобы в расплавленном телевизоре
в ожидании в знак катастрофы любовников упомянули
но помогли опомнились всем миром собрали деньги

тотальный страх смерти в маленьких вещах
дима говорит: «анкх, тоска»
золотые звезды на синем в египетском зале пушкинского музея
художники говорят: «вот мы вышли из музеев на улицы и везде»
я говорю: «нет, вы туда вошли»

капитал прочитанный в воображаемом без сокращений

араб нес мумию и банку с кислотой
русский нес панночку и кудрявый нос гоголя
на край геометрий, в черные звуки чисел, туда, вместе с собой.

а цыганам на городском празднике публично удаляли зубы
потом сделали из этого действо

сделали кислые выжимки статей и те, кто читает эти выжимки
быстро проходят мимо
быстро смерть
красные зародыши на ладонях ординаторов молодых практиканток

но где этот гимн который можно и во дворе сказать
ко мне домой в омск приехать и во дворе сказать
так чтобы сказать и так создать словно песню
которую не в ритме надо петь а по любви в постели качать
что ты ответишь которым не знающим изменить себя
и что делать с ужасом с подорожанием

ужас эротики брать брать брать

бояться что запеленают
или будут не те врачи
бояться что ни одна книга ни одно культурное впечатление
не спасут от того что будут не те врачи
врач врач врач это я
набраться ужаса чтобы сказать
я трус я не должен сам себя жечь и гореть как тибетский монах
мама моя не должна
отец мой не должен
но что с ними? что в них умалчивается?

вот поэтому и в тело садится проза написанная древнеегипетским
написанная дантистами
спокойный ужас зияние в каждом значке

вот ответ на вопрос почему женщины не всегда хотят заняться любовью
а даже если всегда хотят всегда приятно то все равно не так
не помнят поэтому как рожали
не воспринимают детей как своих детей
украшают себя или намеренно
не используют никаких средств
не читают метафизику
проклинаят болтовню
трогают себя между ног
трогают лицо каждый раз навязчиво во время чтения

а каждый мужчина теперь
паук, журналист, математик,
тёмная обезьяна на шпиле воображаемого здания,
жрец, перерезавший вены,
семьянин символического,
поэт в ловушке перечислений,
стонущий кнут,
туман
на краю озера.

говорят, белый хлеб едят в городах когда нечего есть или
нечего есть отдельному человеку, тогда
он в больших количествах ест
белый хлеб, набивает кишки
мякишем, коркой и если ситуация позволяет
дешевым майонезом толстые смазывает куски
или макает в горячую водичку с бульонным кубиком

он ест и ест белый хлеб, набивает кишки
врачи говорят, что именно белый хлеб
способствует застою каловых масс
в кишечнике, каловых образованиям камней, которые
могут жить там, годами, отравляя,
внутри бедняков живущий кал,
их серые лица и тёмный оскал

дрожащие руки в малосемейке над газом
и лампы серого цвета в изголовье постелей их, китайские бра
вперемешку с иконами, постерами звёзд,
тонны белого хлеба в мыслях их,
в моих мыслях слипшийся
мякиш, буханки горячие, чёткие и
страх страх страх

в тринадцать лет заходя в магазин страх
неудобно невыносимо перед знакомым красивым парнем
просить продавца дайте частично в долг
булочку белого, 4 рубля я отдам сейчас,
а два занесу потом

а продавщица в ответ: «да возьмите горячего серого»
да, но серый ведь лучше есть со сметаной, с борщом,
а где взять борща
ведь для борща нужно мясо
мясо
невинных жертв режима или
просто животных
кричащих коров под дождем
в деревне сибирской

над районом ноябрьской ночью
жужжание, первый морозец и холодно спать
холодно дома дышать и слышно
как в тёмных домах кричат и скрипят
кишки наших людей
как в пекарнях ночных он, гудя, выпекается сам,
издеваясь, кривляясь, ломаясь

в черных алясках, в штанах адидас
рано утром по темному льду на остановки идущих,
пахнущих газом, дикая песня –
да, тех, что поддерживают режим,
вам сказали, но так выходит,
что кишечники взяли своё,
а в лицах – совсем другое

или студентки мы – с Леной, несколько лет, бегающие в «Пятерку» за
белым, жрущие как попало, огромные, с толстыми ляжками,
тучные, вечно, жирные и голодные,
желающие пожрать
этот хлеб, картонный московский хлеб для неуспешных, пекарен вне
бельгийских, французских, с кунжутом и солью морской,
для гандонов гарцующих по тверской

и мы даже не знаем кем он был приготовлен
чем смазан, с каким трудом,
больше ста лет не видели хлебных печей, и сами мертвы, не исключено,
что это вовсе не хлеб, его не пекут, не месят, а черт знает что, во сне,
на берегу моря, в шикарной гостинице, худой загорелой мне,
всё, что связано с хлебом приснилось мне.

Ирина КОСЫХ

ИДУЩАЯ НА ОГНИ

Рассказ

Таньке стало щекотно в носу, она чихнула и открыла глаза. На груди у ней распластался Федот, спиной, так сказать, к даме. Хвост его усердно подметал лицо хозяйки.

– Уйди, поганый... Не люб ты мне.

Она лениво сгребла одной рукой Федота в сторону и, зевая, откинула одеяло. Глядя в покосившееся трюмо, Танька сквозь мамкину сорочку в голубой горох взвесила на ладонях свои титьки, потом с любовью огладила широкие волнистые бедра, провела пальцами по изгибистым темным бровям – тихонько приговаривая при этом:

– И тут ты хороша... И здесь ладно... И на лицо – красёха... Ах, ты хорошаавушка!.. Ай, краля!..

На полу валялись пивные банки и водочные бутылки, окурки и пачки от сигарет, мятые глянцевые журналы, пульт от телевизора, носки, трусы и фиолетовый гипюровый лифчик. Лучше бы Федот подмел полы и вымыл посуду в кухне, потому что кухня была заставлена... Потому что кухня была засрана до последней степени Танькиного пофигизма. Вот уже два месяца она заходила туда только прикурить от газовой плиты и согреть чайник.

Скинув сорочку на пол, где она останется лежать среди трусов, макарон и окурков до следующей пятiletки, Танька надела черное «боди» со специальным чашечками, приподнимающими и выдвигающими грудь. Ну, «надела» – это сказано весьма поверхностно и условно. У Таньки был выдающийся и очень упругий – что ценилось – живот, поэтому, чтобы его заправить и застегнуть «боди» в нужном месте, ей приходилось несколько раз подряд втягивать живот в себя, задерживать дыхание и выпучивать глаза, а потом уж – сантиметр за сантиметром – тянуть «боди» вниз, к паху.

Чистые, но выцветшие оранжевые трусы Танька надела сверху. Так как носила она их вовсе не для того, для чего носят дыры, а исключительно для тепла. Один дальнобоец как-то расхохотался, увидев ее нижнее белье, и, икая от восторга, спросил:

– Эээ... то че... Это чего такое?

Танька нахмурилась:

– Это мини...

– Мини?! Это мини?! Ааа... – у него на глазах показались слезы.

– Это мини-рейтузы, придурок! – Танька разозлилась и шваркнула его кулаком по голове.

Далее следовали утягивающие лосины черного цвета и кокетливые розовые носочки с оборками, поверх которых Танька обула серые носки из грубой шерсти, связанные бабушкой еще в прошлом веке, сносу которым, по всей видимости, было не предусмотрено.

Ирина Косых родилась в 1976 году в с. Александровка Знаменского р-на Тамбовской области. В 1999 году закончила МГУ им. М.В. Ломоносова (факультет иностранных языков), в 2009-м – Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. В «Волге» публиковались рассказы (2011, 2012). Живет в Тамбове.

Танька привычно ввинтилась в кожаную юбку. Она сидела как влитая, а разрез сзади давал немного воли крепким и сильным Танькиным ногам. Сверху полагалась джинсовая поношенная коттонка с длинными рукавами, иногда под нее пододевалась водолазка. Но сегодня было не холодно, градусов десять, не больше.

На макияж много времени не уходило: сине-зеленым по векам, алые румяна, пудра да губная помада. Вообще-то краситься Танька не любила, потому что потом надо было все смывать, да ей улучшений особо и не требовалось: девка она была и так видная.

Серьги и кольца она от греха подальше не носила с пятнадцати. Золотую цепочку с крестиком продала, когда ее первый раз избил и ограбили.

Танька влезла в растоптанные, потрескавшиеся на носгах бордовые сапоги, накинула серую болоньевую куртку с капюшоном и, прикрыв дверь дома, бодро пошагала по поселку. На улице уже темнело, до заправки и автостоянки идти было четыре с половиной километра. Она достала сигарету и похлопала себя по карманам:

– Траххермуттер! Куды ж я зажигалку подевала...

Впереди шел мент Микитук, бывший Танькин одноклассник. Танька свистнула ему:

– Эй, милаша! Огонь есть?

Микитук притормозил и дал ей прикурить. Танька, с удовольствием выпустив струю дыма, приподняла бровь и томным голосом спросила:

– А в чреслах?

– Нахальная ты, Танька... – Микитук рассмеялся. – Прибавь ходу, на работу опоздаешь.

– А я не пожарная, чтоб по вызовам бегать. Кому надо – подождет.

Она поежилась, запахнула куртку, сунула свободную руку в карман и гордо продолжила свое энергичное шествие в направлении тускло мерцающих огней на горизонте.

Через некоторое время до мента донесся хриловатый, низкий, но мощный и веселый Танькин голос:

– Эх! Не берёт меня глоток, не берёт другооой!

Не привидится цветок сине-голубооой!

Пропадать, наверно, здесь, под берёёёзами!

Одинокому, как есть, и тверёёёзому...

Марина КУРСАНОВА

...но эта бездна около плеча, которая пчелу не возвращала, –
пчела же многосетчато вращала чудовищным зрачком из-за плеча.
Как будто мокрый тельник палача расплющил грудь на самый взрыд сначала,
когда ты осторожно вынул жало – и жалко поднял воротник плаща.
Еще минуту, сердце волоча, всю жизнь расставить поздним караулом
над звездной пропастью, над бессловесным гулом,
над сиротливой твердостью меча.

Магия

Чалма предполагала круглый снег, жемчужный обморок, переплетенный свет.
Мерцанье негритянского царя во мраке мнилось.

Так любой обряд
предполагает блеск, неверность, мглу –
с тех пор, как волхвы проступили вглубь – как будто волны –
хлева.

Помнишь, царь
на полотне в углу мерцал?

И жар
натапливал холмы.

И белизна
зимы, чалмы, звезды, пелён, окна
предполагала хлев, тоску, провал,
ночных животных, трав густой отвар,
дарителей непрочный скудный ряд
и –

черного прелестного царя.

Ну, где уж нам? – интимнейший из голосов, темнейший,
какой-то лермонтовский, бродский, блочий – кому бормочет?
В какой припадок внешний?

Марина Курсанова родилась в г. Каспийске (Дагестан). Живет во Львове. Публикации: альманах «Вісокий Замок» (Львов, 1979), журнал «Родник» (Рига, 1987), альманахи «ТОР» (Львов, 1997), «Библиотека утопий» (Москва, 2000), журналы «Арион» (2003), «Знамя» (2002–2012), альманах «Русское слово» (Львов, 2014). Книга стихов «Лодка насквозь» (Львов, 1995), романы «Список мертвых мужчин» и «Любовь пчел трудовых» (Харьков–Москва, 2000). Переведена на шведский, украинский и польский.

Ты хмыкнешь «сволочь» на прилив тоскливый,
ты станешь судорожно верить:

– Быть может, денег?

Жить не получилось.

Как удивителен рот, выявляющий пение горла!

Тела довольно для «Господи» или «не надо».

Горы и горы тебя обнимают прозрачной любовью:

Снега снегопада...

Мужчины

По этим жилкам ходит кровь сухой пустыней
и выступает на губах поспешной пеной.

В белых рубахах смертников, с браслетами из пыли
они выходят все вместе, но все-таки постепенно.

В брови вдето серебро, как паруса – в очи.

Рапиры загнуты на юг, развиты кудри.

Самые рискованные пропадают в почерке, в почте,

а самые-самые продолжают идти через утро.

Дуэль откладывается на век – не время.

Повязки сбиты, как бинты на шрамах детства.

Кейсы полны зарубежной дури, бумажных денег, и
это называется тыл военного действия.

Будьте стремительны и совершенны, как взмах эскулапа,
который готов уже предложить волшебное свое лекарство.

Косы лимитчиков, провинция, медвежьи лапы...

Китайский ритуал из вас – надежда Царства.

Переменить программу, выполнить эту жизнь
весело и легко – как будто выйти во двор.

А там – песочные ламы, призрачные пажы,
еще – молодые бури, еще – голубой зазор.

Выкипая наружу накачанным голоском,
удлиненными мышцами, чистым выдохом сна,
встать под небесным душем, под световым углом –
и тут же подняться выше, чем было дано знать.

Может быть, я растение из космических чащ,
занесенное снегом в европейский пейзаж, –
а может быть, новый тренер подбадривает, крича,
внутри головы и тела, новый даря этаж.

Снег ложится на руки, говорится легко

на незнакомом русском с английским через одно
(маленькая подруга из минувших веков
в режиме перезагрузки смотрит через окно).

Воркута

Младшие классы еще не сломались на части,
жизнь равномерно рассыпана снегом и счастьем –
и не кидается кошкой в глаза.

Сердце уже нарастяжку размечено зимнее,
из магазина мне носят родное и сильное,
нужное – до нежелания взять.

Эти олени, кургузые веточки краткие,
да куропаток растерянный вспорх под малиновым пряником
тундры небесной, тягучей, как ночь.

Четверо домиков. Зыбка. Качели железные.
Север под ковшиком возле колонки. Два лезвия
лыжников – лыжики – лягут любовно в сугроб.

Пикает ягода, к небу прижатая лыжником –
пеночка в дырочку смотрит, заботой продышана –
снежный твой рот.

Все так умято умелыми пальцами – даже лошадка до школы –
но вряд ли о счастье
знают.

И только однажды, потом,
бросятся в сердце
какой-нибудь мак на отлете,
прощанье с собакой,
болезнь навсегда.

Средняя Европа, сердце бушует
согласно выписке магистрата.
Стражники
жгут волшебные книги и ведьм.
Музыка XVI века,
и тропы в темных Карпатах,
и гунны, гунны – вперевалочку движутся
мимо прикрытых век.

Библия есть книга вдохновения.
Снежок стих,
дружок:
вот и у нас потепление,

томление, умиление, растопление.
Западное предание.
Южное предание.
Восточное управление.

Север.
Бестселлер.

Тогда еще было не так темно.
И ровно посередине
льда
костры разводили
и расстилали мех.

Знания лежали на ладони,
как спящие снегирьки
на белом снегу.
Девочки только молодели – и тоненько
звенели деревья в тихую погоду.

Никаких веков, никакого времени.
Только огонь да старинный гребень.
светящиеся спиральки,
ветвящиеся паруса.
Чшу-чшу – вино да зеркало.
Да тень тканая падает медленно...

Маленький город, который пройти за полдня – ерунда.
Можно ходить в глубину, наблюдая в бойницах войну,
кратко спросить о причинах – и бросить страдать,
лоб отирая товарищу, резать и гнуть.

Резать и гнуть, намеряя узорчатый путь,
только легко, чтобы каждый потом захотел
сделать жаровню, силок смастерить, самострел,
вылепить шар, наблюдая в бойницах войну.

Вылепить шар, поместить туда город и снег
(девушки вяжут, и путники пищу везут).
На полотне водяном предвесенний побег
Точно наметит звезду.

Еще могу пускать с руки
в нерусский легион Гарольдов
и ангела с короткой челкой,
и белку с перебросом четким
сквозь тонкий лес и сеть листов.
Там тихо колыхался плащ
французской Девы,
и валежник
жемчужным, влажным, даже нежным
казался утром на заре.
Кого любить? Зачем жалеть?
Любая нить, что вяжет судьбы,
Проста.
Другой не будет жизни.
...Но вырастают жабры, перья
зачем-то ночью.

Сергей СЛЕПУХИН

Вошла,
обнаженная по-осеннему,
малодушно теряя
листвы натальное золото,
бесшумная ольха,
меняющая мягкие иглы
на временных границах
надежды и плоти.

Луговые цветы,
горные склоны, свежесть,
холодок, затекающий
в ржаво-бурые недра.
Нагота
мерцает, лучится,
поют стебельки,
текут подземные воды.

Летом вся жизнь, как правило,
начинается ночью,
осенью тьма
натекает густотой расплаты.
Вот и лету конец,
оно обмануло.
Солнечное подобие,
отвяжись, изыди.

Начало сна, хтонический уют,
Здесь сам себя найдешь потусторонним.
В зрачок нахлынет преисподний люд,
И раздвоются бесы, гады, кони.

Сергей Слепухин родился в 1961 году в городе Асбесте Свердловской области. Окончил Свердловский медицинский институт, аспирантуру при кафедре физиологии человека. Публикации в журналах «Звезда», «Уральская новь», «Арион», «Знамя», «Новый берег», «Крещатик», «Волга», «Дети Ра», «Белый ворон», «День и Ночь», «Новый журнал», «Интер-поэзия» и др. Автор книг стихов «Слава богу, сегодня пятница!» (Екатеринбург, 2000), «Осенний покрой» (СПб, 2003), «Вода и пряжа» (Екатеринбург, 2005), «Прощай, Парезия» (Екатеринбург, 2007), «Задержка дыхания» (Екатеринбург, 2009), «Дотла забывать» (США, 2011), «Послесвеченье» (США, 2013), а также книг эссе совместно с М. Огарковой – «Новые карты Аида» (США, 2009), «Перья и крылья» (США, 2010).

В стеклянном воздухе жужжит аэроплан,
Деревья голы в тишине консервной,
Пристроившись в углу, закуришь план,
Дым отпугнешь рассеянно и нервно.

Придумывай себя, ты – взаперти,
Зверек податливый неразличимой масти,
В окрестностях покоя – без пяти,
На полпути от вечности до счастья.

Подавленных желаний не скрывай.
В совокуплении напора и величья
Пусть оторвется, отлетая в рай
Незримое, лазоревое, птичье...

В телах облаков из прорех голоса –
настой молока и крови,
гнусава флейта протяжно поет
о детской картова любви.

Снег сыпется круглый и плотный, как страх,
на плоских домов черноту,
он темную близость опасно сулит
и лепит, как смерть, на лету.

Взбегать, спотыкаясь, бросая слова
беспомощным дерганным ртом,
крик бабочки слезно вызывает к любви,
но ангел ушел на обед.

Кому эта песня, скачки, антраша,
И этот невызревший свет?
И что там вверху, за подкладкой небес,
Никак не решится упасть?

Из Тракля

Зима, фонарь, усталый человек
Бредет домой походкой полусонной,
Из поля зрения сойдя на желтый снег,
Он растворится в кислоте лимонной.

Терновым сводом выгнулись ветра,
Склонили лбы проломленные где-то,

Луна висит угрозой до утра,
Подсвечивая панцирем брегета.

Завод ее с обратной стороны –
Яичной, серной, охристой, палёвой,
Но не хватает рук моих длины
Сорвать кольцо у бомбы стопудовой.

Памяти Крепса

Я этот призрак берегу
Все долгих двадцать с лишним лет.
Как будто вижу дом в снегу,
Камин, шотландской клетки плед.
Там гирьки ходиков спешат,
Но до паркета далеко,
И целый выводок мышат –
Стишат, написанных легко.
Поэт, жена, луна, окно,
Сочельник в доме обжитом,
Сервис, хрусталь, цветы, вино,
«Дурак» ли, покер – это ль, то...
Им сорок – сорок с небольшим,
Стол, Мастер, Саския, бокал,
Сквозняк и сигаретный дым,
«Любви глагол» – как он сказал.
Казалась – может, от вина –
Тропа в заснеженном саду
Неглубока, длинным-длинна –
Легко от смерти убегу.
Но глаз в обратный путь спешил,
Стрелой сорочьей целил в грудь,
Когда? – он так и не решил –
«Когда-нибудь, когда-нибудь...»
Как легкомыслен шепот штор,
И уши – смерть не стерегут!
Огонь, любовный разговор,
Парной насыженный уют.
Сгорев, он превратился в дым,
Прозрачный призрак голубой,
И громко хлопнула за ним
Дверь черной конскою губой.

Ара МУСАЯН

ПОЧТА ИЗ ФРАНЦИИ

Сквозь дерево в цвету всё в белом, точно в свадебном платье – разматывающийся сверху вниз, снизу вверх, уже почти полностью утративший свой изначальный потенциал яда – рулон РЕКЛАМЫ.

Мыльные пузыри тоже *длятся*: секунду, а то и пять, а то и больше, и под конец – лопаются.

Превосходство игрока в гольф над писателем (осенившее, проходя мимо поля): кто только не держал в руках ручку, а никогда не доводилось лично иметь в руках клюшку.

Моментами – о, мимолетности! – кадры оператора с флейтисткой в «Испанской симфонии» Лало, так *самоотверженно* дующей в инструмент (поперечная флейта) – с челкой на лбу, как у «Наны» Манэ или официанток Ренуара, действуют живительней, освежительней, сотрясают глубже, чем самые раздетые сценки соседнего – на моем переключателе – платного канала.

Можно ли рассматривать период революций, восстаний, всеобщих забастовок (примерно 1789 по 1968) как некоего рода укрощение, приручение, дрессировку – рода человеческого *капиталом*, как это мне пригрезилось под душем – с закрытыми, правда, от мыла глазами?

«Живые картины»: неподвижность – пик, вершина, конец движения. Нет ничего неподвижного в жизни, а – нет *живее* застывшей на холсте, вся в вечность обращенной – *живописи*.

Не знаменательно ли одно то, что «смерть» не только женского рода (на всех ли языках мира?), но и *изображается* всюду в виде женщины?

Ара Мусаян родился в 1946 году во Франции. С 1947 по 1964 годы жил в СССР (Армения, Абхазия). По возвращении во Францию учился на философском факультете, сорок лет работал русско-французским техническим переводчиком, писать начал в 1967 году – на французском, перешел на русский в 2008-м. Публиковался в журналах «Мосты» (переводы Франсиса Понжа и Поля Валери), «Литературный европеец», «Новый журнал», «Крещатик».

Знать и намотать себе на ус, что обо всем не будет возможности высказаться: о «Гольдберг-Вариациях» Баха, о теории относительности Эйнштейна, обо, об, о...

Со временем все меньше испытывается *потребность* в слушании музыки... Иногда-таки что-то просачивается доселе неслыханное (у Моцарта...) или в исполнении.

Почему, когда достойный скрипач, пианист – так себе, и наоборот?

Сыграла для меня в молодости роль *опекуна-подпорки* (по-французски – одно и то же слово).

Есть ли – может ли быть что-либо уродливее, некрасивее слова, выражения, *мысли* «делать любовь» (*насилие* над языком, и не только русским).

Напоминает исконно русское «строить дурака». –

– То, чем мы будто *одержимы*, нами же *делается* – как кухарят пирог; *выделяется* – как фигура катания, па или сальто (но с уже *выпавшим* «мортале»).

Когда-то могло казаться странным применение к литературе слова «подвиг». На практике не раз она выражается в акте мужества: высказать публично то, что не всем приятно, ни прилично/приемлемо в обществе. И получить «по заслугам», если на то пошло.

Летательные аппараты и – *летальный* исход: иногда, оба участвуют в одном и том же – не обязательно космическом – полете.

Желать и – жалеть: «сожалеть» о чьем-то, чего-то – отсутствии.

Почему-то Курильские острова всегда представляются подернутыми дымкой...

Не примечательно ли, что все оригинальное пишется (ручкой, кистью...) – всегда на грани несуразицы?

Лягушка – лягается, хоть и не лошадь.

.....

(Во сне – полуживотные, полурастения, белые, как эндивий или чайки, собираемо-ловимые голыми руками – пока они еще незрелые и не вспархивают при первом приближении – с «воткнутыми» с головой в землю клювами, которых я сорвал и теперь несу – пару в правой руке, пучок из целых пяти – в левой, думаю, скорее на салат, чем жаркое).

Есть люди «непосредственные», а есть – дальше некуда.

Богатые осуществляют идеал человечества – райской жизни (Версальские и прочие – парки и сады).

Есть что-то «молочное» в час до восхода солнца (июнь), который и называется на фр. «молочным часом» или, скорее, «часом молочников»: когда развозили и ставили у порогов дверей бутылки молока вместе с утренними газетами – в тихих провинциальных городах, когда-то, в минувшие давно времена.

Читая (перечитывая) иных классиков (моралистов – сегодня, Лабрюйера) остро ощущается (местами) их незнание Фрейда (– «не застали»), у других – ни в чем никакой нехватки (Монтень).

Есть классики, и – классики: Эвересты и чуть ниже их, уже почти никому, кроме самих альпинистов, не ведомые пики.

Столько профессоров продолжает писать диссертации про Малларме, а ни одному не придет в голову последовать коллеги, простого школьного учителя – *примеру*.

Девяноста лет отважиться написать для ежемесячной газеты дома престарелых, куда ее поместили отпрыски, подальше от городской суеты – стихи, акростихи – загореться творческим пылом и перестать отныне жить чем-либо другим!

Престарелый Лао-цзы гордился, что в его годы у него еще «стоит». Философу – превозносить нечто не зависящее от воли!

Есть что-то от глагола «рухнуть» в старухе, что всегда препятствует здоровому – безоглядному использованию слова.

Мужская влюбчивость – от отвращения к женским фигурам *несвободы*: материнской, сестер (старших), жен.

Укорительно ли, завистливо – иные отмечают, что Толстой позволял себе писать: «пиша».

В электричке собиравшийся занять место с музыкальным инструментом за спиной молодой человек (девушка?) – наводит на мысль об общем дискорфорте любой, даже самой завидной позиции в жизни.

Испуг (*эмоция*): перспектива резкого изменения позиции тела. «Любое чувство – лишь *сальдо* счета, детали которого утеряны» (Валери).

Читая Валери мемуары, узнал, что Абдул-Хамид, инициатор армянского геноцида – был поэт, как еврейского – «известный» художник.

Тенденция у меня в последнее время – как у малыша, встреченного на прогулке, повторяющего за мамой: «Скажи, до свидания» – «Она не хочет» (кошка в кустах, до которой двухлетний ребенок пытается дотянуться), – повторять про себя, особенно поздней ночью, объяснения закадрового голоса в документальных фильмах – о земной коре и магме, метаморфозе бабочек, африканских заповедниках и всем вообразимом на свете.

Познакомился с Аннушкой – племянницей Нади. «Русские имена как будто?»

Не расслышал ответа (перекресток, машины); а теперь ей надо срочно связаться с дежурным: не открываются, несмотря ни на какие нажатия кнопок – ворота резиденции, соседи не дома или не отвечают, спросила телефон у прохожего – меня, сначала позвонила тетке.

– Обещают прийти в течение часа.

– Не замерзайте – кричу ей, удаляясь.

На улице +3°C.

Не могу полностью исключить возможность, что все мои видения, прозрения, открытия не окажутся, в итоге, такими же частичными, односторонними и, стало быть, *ложными*, как:

увиденное поздней ночью с балкона, куда я вышел подышать перед сном, «вторжение вора» в квартиру соседнего здания; настолько уверен в достоверности, что без секундного колебания тут же звоню в полицию, спускаюсь к уже подоспевшей из соседнего комиссариата бригаде, указать квартиру, балкон – на который кто угодно мог бы взобраться в два счета, как по специально устроенной метром ниже площадке.

На следующий день встречается консьержка и выясняется: сын семейства, вернувшийся домой в поздний час без ключей, позаботившийся не разбудить родителей...

Инна ХАЛЯПИНА

РАЙСКАЯ ЯБЛОНЯ

Повесть

На балконе завелись осы. И обнаглели. Одна из этих тварей ужалила в нос Мулю. Пришлось в срочном порядке бежать к ветеринару. Муля по дорожке выла и привлекала внимание неравнодушных прохожих. Народ наш к чужому горю сострадательн.

Ника взяла веник и пошла на балкон искать осиное логово. По правде говоря, лучше было бы взять лопату, так как с веником выходить на этот балкон не имело смысла. Ника протискивалась сквозь завалы предметов, назначение которых давно утратило смысл, больно ударила коленом об угол деревянного ящика и сожалела о библиотечном дне, по милости которого она сегодня осталась дома. Если бы не балконная история, то день этот, как всегда, предназначался бы для стирки.

Ника добралась до шаткой тумбочки. Интуиция подсказывала ей, что именно там гнездятся эти бандиты. Тумбочка уже лет десять относилась к разряду «на выброс», но этот выброс день ото дня откладывался. Вообще-то это была не тумбочка, а подсамоварник. Может, кто-то еще помнит, что это такое?

Подсамоварник подарила Никиной бабушке графиня Броницкая, у которой она в юные годы служила по хозяйству. Были и более ценные подарки, но они ушли в обмен на хлеб и крупу в те времена, о которых принято говорить – разруха. А поскольку в стране часто бывало голодно и разрушно, то ушло всё.

Дверца подсамоварника еле держалась на ржавых петлях. Внутри Ника обнаружила большой заварочный чайник с гравировкой: «На память Бэлочке от Иды. 1951 год». Действующие лица были Нике не знакомы, и даже имен этих она никогда не слышала. Какой-то приبلудный чайник.

Ника отодвинула его в сторону, а за ним... чудо природы!.. Осиное гнездо безупречной овальной формы с небольшим отверстием, возле которого копошилась парочка насекомых. Ника быстро захлопнула дверцу. Первой мыслью было сбросить подсамоварник прямо с балкона. Но Ника в своей жизни столько раз поступала, не подумав, что ресурс идиотских поступков был исчерпан навсегда. И Ника рассмотрела три варианта: подсыпать в тумбочку тараканьей морилки, облить гнездо кипятком, оставить всё как есть. Последний вариант был самым гуманным и разумею в экологическом смысле. Лишить жизни целую осиную семью означало нарушить равновесие живых существ в природе. Кроме того, Ника прониклась уважением к осам, сумевшим построить такой архитектурный шедевр. О Муле как-то забылось.

Муля получила свою кличку в честь легендарного песняра Мулявина и сама, в каком-то смысле, была музыкальна. Заслышав звуки музыки, она начинала подпевать и драть голову кверху, и все падали от смеха. Сейчас Муля пыталась пробраться на балкон вслед за Никой, но зацепилась боком за гвоздь и лишилась клока шерсти. Несчастная собака, что-то не везет ей в последнее время.

Инна Халыпина родилась в Киеве. Окончила Ленинградский институт киноинженеров. Работала на Киевской киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко. После развала Советского Союза уехала в Германию, где долгое время была редактором и ведущей русского радио «Акцент» – одного из первых русскоговорящих радио в Германии. Писать начала два года тому назад. Публиковалась в журнале «Крещатик».

Ника скосила взгляд на соседний балкон. Он примыкал вплотную, то есть это, по сути, был один общий балкон, разделенный дряхлой перегородкой. Экономные послевоенные постройки оставляли не много места для жизненного пространства, а толщина стен – для личной жизни.

Сосед Ники – стенка в стенку, балкон в балкон – в силу своего происхождения был личностью сложного замеса, не говоря уже об образе жизни. Саша Брэдфорд – сын настоящего лорда Брэдфорда и московской журналистки. Судьба уготовила ему великолепные стартовые возможности, которые он и не думал использовать.

Сашин балкон был завален бутылками. Раз в месяц он собирал их в огромный рюкзак и шел в пункт сдачи стеклотары. А дворничиха Нюра плевала ему вслед.

Августейший папаша честно хотел забрать Сашу в Англию, чтобы дать ему там надлежащее образование или хотя бы не дать пропасть в обществе развитого социализма. Он даже подготовил для него целый этаж в огромном особняке, выстроенном неподалеку от развалин Брэдфордского замка. От такой перспективы кому угодно голову снесет, но только не Саше. Он поедет в эту дыру? Где даже выпить не с кем? А женщины! Эти бесцветные клячи с унылыми носами и сухопарыми задами. И откуда в таких условиях черпать вдохновение для творчества?

Саша работал художником-декоратором в театре, и потому на балконе у него стояла колонна из папье-маше, зафактуренная под древний Рим. Колонну изрядно попортили непристойными надписями многочисленные гости, посещавшие Сашу в любое время суток.

В сущности, Саша был одинок. Его мама жила в Африке и находилась в очередном замужестве за министром здравоохранения Замбии. Женщина высшего пилотажа. Её виражи Сашу не удивляли, зато сильно удивило, что в Замбии имеется министерство здравоохранения.

Ника задумалась. Саша ей нравился своим абсолютным пофигизмом, который не раз ему помогал и даже спасал. Зато провоцировал запои, что порой шло на пользу в плане осмысления окружающего. И Саша непременно создавал что-нибудь из ряда вон. Потому его в театре и держали.

Ника перегнулась через перила. По двору шел Шурик Гусев, для друзей Шусю. Никогда Ника не видела такой расхлябанной походки – весь как на шарнирах. Случись ему упасть, и он развалится на части.

С детского сада Шусю был нахально влюблен в Нику. Каждый день назначал ей свидание, и не где-нибудь, а у райской яблони. По его мнению, это было самое романтическое место в их дворе. Ника на свидания не являлась, так как усвоила важный урок – «неподходящее знакомство».

Саша дружит с Шусю от безнадёги и безысхода. И по инерции.

Саша вспомнил о том, что надо бы выбросить елку, а то майские праздники на носу. Он всегда выбрасывал новогоднюю елку в конце апреля, раньше не получалось.

Тащил её к мусорнику через весь двор, и это была уже не елка, а её засохший скелет с драными остатками блестящей мишуры. И дворничиха Нюра опять плевалась.

И ещё Саша подумал о том, что у него в кармане завалилось два рубля. Он их случайно обнаружил, но при этом три рубля он должен Нике и рубль – Клавке. Баланс неутешительный, если учесть, что до зарплаты оставалось десять дней. Кстати, какой сегодня день? Кажется, пятница.

Елка действительно застоялась, и надо бы оторваться от дивана, только как это сделать?

Эх, любовался бы он сейчас развалинами Брэдфордского замка! Наверное, он единственный человек на свете, который не хочет быть лордом.

Его мама всё делала впопыхах. Впопыхах когда-то и забеременела от заезжего в советские края лорда. И не сразу спохватилась. А спохватилась и не расстроилась, хоть и поздно было. Так Саша на свет и появился. И был он ребенком любимым и балованным, несмотря на то, что маме всегда было не до него, она всё носилась за счастьем и экзотикой. Но Сашу и сейчас не забывает, звонит и иногда даже передает деньги со странными субъектами, похожими на частных детективов.

Сейчас придет Шусю, и сегодняшний день в точности повторит вчерашний, и тянется эта череда дней, и ничего не меняется, кроме собственной физиономии по утрам, кроме её прогрессирующей памяти.

Шусю, опасный тип, имел мощный криминальный потенциал. Вечно он пускался в сомнительные аферы, начиная с поштучной продажи сигарет, кончая нападением на Соньку-сумасшедшую, с которой соседствовал на одной лестничной клетке. Этот случай занимал особое место в его бандитской биографии.

Ходили слухи, что Сонька все свои сбережения носит при себе в необъятных штанах, которые скрывала такая же необъятная юбка. Возможно, что так оно и было. И тот факт, что деньги ходят каждый день рядом и даже обитают за стенкой, лишил Шусю сна и покоя. Здесь нужна была стратегия, Сонька хоть и сумасшедшая, но её голыми руками не возьмешь. В квартиру она к себе никого не пускала, никогда ни с кем не заговаривала, а в моменты буйства выходила на балкон и орала благим матом, проклиная весь свет, и нельзя было разобрать ни одного слова. Одноногий дядя Лева знал Соньку с незапамятных времен и рассказывал совершеннейшие небылицы о её красоте и покладистом характере. Сонька сошла с ума в один момент, когда похоронила своего пятилетнего сына. Ребенок утонул прямо у неё на глазах, и все орали, что она не мать, а раззява и преступница. Народ наш суров, но справедлив.

Вот кого намеревался ограбить аморальный Шусю. Помешал ему только случай. Шусю попытался инсценировать изнасилование, подловив Соньку в подъезде. Но Сонькина юбка оказалась чересчур хитрой конструкции, а штаны и вовсе хранили вожделенные купюры надежней швейцарского банка. К тому же лифт, как назло, был неисправен, и на лестнице слышались шаги. Случился облом. А Сонька от испуга потеряла голос, и её жалкий беззубый шепот подействовал на Шусю значительно более отвращающе, чем приводы в милицию. Шусю даже решил завязать. Все-таки что-то человеческое в нем есть.

Квартира сдавалась вместе с кошкой. Хозяин уезжал надолго, и животное нуждалось в прищмотре. Клаве такое неудобство показалось настолько незначительным, а квартира так понравилась, что по рукам ударили, не торгуясь. Хозяин поспешно смылся за полярный круг, а Клава начала обживать на новом месте.

Кошка Клаву не полюбила, что неудивительно. Никто и никогда Клаву не любил, ни мать-алкашка, бросившая её пятимесячной на бабушку, ни бабушка, которой Клава была в тягость. Эту тягость Клава чувствовала с раннего детства. Чувствовала в недобрых взглядах, в тяжелых вздохах и горьких причитаниях. Бабушка открыто не попрекала, но и не любила. А что может вырасти в нелюбви? То-то и оно...

Клава всегда знала, что пойдет в торговлю. Подальше от нужды. Примером стала буфетчица на их захолустной станции. Всё в ней Клаве нравилось: и накрахмаленный кокошник, и сережки с красными камушками, и лихость движений при наливе и недоливе, и томный голос. Не было в их деревне примера убедительней и ярче.

Верх своей карьеры Клава видела именно так, и непременно с такими сережками. А иначе зачем жить?

Но только не в деревне. Вот уж нет. Телевизор Клава смотрела и знала, что есть другая жизнь, опрятная и комфортная. И мечтала она ходить в красивых туфлях по асфальту, и душитесь хорошими духами, и мыться в настоящей ванне. Горячая вода в кране – удобство неоспоримое. А что? Зарабатывать трудодни в колхозе и ждать обещанного в учебниках слияния города с деревней? Как бы не так. Жизненных наблюдений Клаве хватило, чтобы определиться с приоритетами и начать действовать.

Осуществилось частично. После торгового училища удалось-таки устроиться в городе. Но о накрахмаленном кокошнике на время пришлось забыть, в городе оставляли только для грязной торговли, и не было другого выхода, как согласиться на овощной магазин. Клава по природе была брезглива, и антисанитарное состояние своей торговой точки воспринимала болезненно. Особенно тяжело было зимой, когда заскорузлые руки мерзли, а бочки с соленьями становились особенно тяжелыми. Тьфу! Что-то надо было решать. Четвертак стукнул, а рядом ни одной живой души, кроме кошки, и та чужая.

А перспектива рисовалась неутешительная. Грузчики, быдло, лезут и тянут в подсобку, одного Клава уже треснула по башке. Кончилось тем, что тот затаил злобу и теперь бегают к заведующей клязничать.

Ну ничего, одно несомненно – теперь она городская, и ни одна зараза не скажет... Что скажет? Много пришлось выслушать Клаве в свой адрес, особенно от покупателей.

Но самое страшное – это презрение молчаливое. Клаве казалось, что даже соседи её презирают, а ещё хуже – не замечают совсем. Взять хотя бы Нику с пятого этажа, эту воображалу. Корчит из себя аристократку, а сама так захлामीла балкон, что это наверняка угрожает противопожарной безопасности всего дома.

О противопожарной безопасности Клава узнала на лекции в клубе. После лекции состоялись танцы. Клава простояла у стенки часа два. А когда надоело делать вид, что слушает музыку, поплелась домой, и туфли сильно натерли пятку, еще и каблук попал в какую-то щель, и пришлось вытаскивать силой.

В лифте Клава ехала вместе с Никой и Луизой Максимовной. Те мудрено беседовали, и Клава слышала незнакомые слова «маргинальный» и «эксцентричный». Надо бы запомнить.

Одевается Ника необычно, всегда какие-то шарфы да платки, вязаные длинные кофты. Там бахрома висит, здесь край юбки болтается. На тряпичную куклу похожа. Клава восторгалась и даже испугалась – она не ожидала от себя такого тонкого художественного сравнения. Жизнь в столице всё-таки сказывается.

По тому, с каким звуком проворачивался ключ в замочной скважине, Ника безошибочно определяла, пьян ли Павел. Сегодня трезв, несмотря на пятницу. Муля от счастья высоко прыгала и норовила лизнуть Павла в нос. Пожалуй, Муля это единственное, что их сейчас связывает. Ничего общего не осталось, только беспрекословная любовь Мули к ним обоим. Ника – Муля – Павел. Так теперь выглядит модель их совместной жизни.

Павел держал в руках нераспечатанный конверт. Сердце всполошилось и ускорило ход, Ника боялась вестей. Наверное потому, что плохих вестей в её жизни было несравненно больше, чем хороших. Павел пошел на кухню. В последнее время они всё делали порознь, и было непонятно, зачем они вместе живут. Ведь ему было куда уйти, и ей – где остаться.

Ника открыла конверт и сначала не поняла ничего. Письмо из Киева от какой-то Дины с просьбой приютить её с дочкой на время чернобыльской радиации, потому как Алиса (дочь), которой шесть лет, девочка и так болезненная. И как ей выдержать радиоактивное заражение? В детских садах уже дают препараты йода. Но разве это поможет? Есть и более близкие родственники, но они им отказали. Боятся. Боятся, что Дина с Алисой привезут к ним в дом на одежде и обуви повышенные дозы радиации.

Ника от возмущения чуть не задохнулась. Какая дремучая безграмотность, какое убожество и примитив! Какое бездушие! Как можно отказать людям в горе?

Но однако... Какая Дина, какая Алиса? Значит надо звонить дяде Цезику. Да, да, конечно, только ему. В их семье только он знает, кто кому кем приходится. Да и кому ещё звонить – он единственный и последний. Нет больше у Ники родственников. Но оказывается, что есть...

Дина и Алиса? Из Киева? Знает Цезик таких (как же – как же!), только не понимает, как это им не совестно просить помощи у Ники. Бабушки Дины и Ники были двоюродными сестрами, дядя Цезик сказал кузинами, и отношения у них всегда были перпендикулярными, а потом резко и скандально прервались по причине отбитого мужа. Какого мужа? О боже, ну и подробности вскрываются в самый неподходящий момент. Да, да, эта стерва Бэлочка отбила когда-то у Никиной бабушки её первого мужа, о котором Ника понятия не имела, и даже представить себе не могла. И все тогда от Бэлочки отвернулись и даже имени её не произносили. Ещё бы, такой позор в приличной еврейской семье. Одна только Ида, чокнутая на всю голову, продолжала с ней дружить из каких-то корыстных соображений. Кто такая Ида? Жена Зорика, ещё одного кузена, тоже чокнутого. Какая корысть? Этого дядя Цезик не помнит. Столько лет прошло!

Вот это да! Чайник с Бэлочкой и Идой! Недаром Ника нашла его именно сегодня и недаром Ника никогда не верила в совпадения. А верила она в неизбежность закономерного, которое притаится и ждет своего момента, чтобы свалиться на голову и огорошить.

М-да, надо бы посоветоваться с Павлом. Хотя его мнение Ника знала заранее – людей надо принять. Наверное, Ника только потому и не бросила Павла, что в ситуациях проверочных вел он себя как человек. Жаль только, что годился Павел только для случаев экстремальных – пожар, наводнение и любое стихийное бедствие.

Здесь он проявлял невероятную смекалку и мог выжить в условиях совершенно непригодных для жизни, ещё и других спасти. А для жизни повседневной Павел был не приспособлен совсем.

Ника засобиралась на почту давать телеграмму. Решила взять с собой Мулю, пусть подышит свежим воздухом. Муля, завидев в руках у Ники поводок, обрадовалась незапланированной прогулке и послушно просунула в жесткие ремешки лапы и морду. Во дворе пришлось задержаться. На краю скамейки, сжавшись и сторбившись, сидела Света Жихарева. Ника, не говоря ни слова, дала ей пять рублей и присела рядом. Помолчать. Света заплакала. Они были подругами много лет. Света спилась вскоре после окончания школы. Так уж всё сошлось – бабушка её умерла, и в квартиру вселились мать с отчимом, они и втянули Свету в каждодневные попойки. Она бросила музыкальное училище, днями не выходила из квартиры и из алкогольного кошмара. Отчим сгорел от водки, а его место заняли пришлые мужики, сменявшие друг друга чуть ли не каждый день.

Квартиру признали притоном, а Свету с матерью выбросили на улицу. Ника помнит, как из их окон летели вещи – вышитые крестиком подушки, кухонная посуда, поломанная мебель и тьма всякой всячины, знакомой Нике с детства. В хорошие времена в гостях у Светы она бывала часто. Ника попыталась тогда поднять из кучи хлама фигурку Дон Кихота, которая стояла у Светы на этажерке. Но участковый Шумейко, руководивший выселением, обвинил Нику в мародерстве, а на следующий день приехала мусоровозка и увезла все пожитки на городскую свалку. Потом Света на какое-то время исчезла, поговаривали, что сидела за воровство. А потом стала изредка являться в родной двор, почти всегда пьяная и в слезах. И дворничиха Нюра на неё плевалась.

Свету тянуло во двор её детства, ей хотелось позвонить в дверь Нике, но она никогда не решалась. Она смотрела дрожащим взглядом на её балкон, смотрела на свои бывшие окна, смотрела, смотрела... Вот и сейчас пришла посмотреть, не зацвела ли райская яблоня – украшение двора и неотъемлемая часть их детства.

Ника вспомнила, что Светина бабушка всегда давала ей пирожок. Вкуснее в жизни она не ела ничего.

Клаве надоело себя жалеть и вздыхать об уходящей молодости и несправедливости жизни. Справедливость надо восстанавливать самой, и брать надо то, что близко и плохо лежит. Саша Брэдфорд вполне подходил под такое определение. И в самом деле близко – в соседнем подъезде. И лежит. Сутками с дивана не встает, соперничает происходящему в мире. А что? Пока мир так жестоко устроен, он работать не станет. Да и как можно работать, когда дети в Африке голодают, а его мамаша в той же Африке имеет личного повара, горничную и прачку. Министрша! А он солидарен с голодающими всех стран. Со вчерашнего дня сам ничего не ел, и даже уже не хочется. И пусть кто-нибудь попробует его упрекнуть – уедет к папе-лорду, и ещё одним талантом в стране станет меньше.

Клава про Сашину пустобрехство ничего не знала. А даже если бы и знала – пусть делает, что хочет. В данный момент её это не интересует. Она примерила на себя Сашину фамилию – Клава Брэдфорд. Комичное несоответствие резало слух даже ей, не такая она дура, чтобы не понимать, что благородная фамилия с её параметрами не сочетается.

Но не это главное. Заполучить Сашу – вот цель, а там видно будет. Кто удачлив, тот неуязвим. В её деревне случится невиданный переполюх, когда станет известно, что она вышла замуж за лорда.

О Саше ей немного рассказывала дворничиха Нюра. Нюра видела в Клаве родственную душу, а когда та принесла ей килограмм огурцов и банку томатной пасты, то Нюра и вовсе продалась ей со всеми потрохами и готова была шпионить для неё за кем угодно. А в информации Клава нуждалась, надо было выстроить план действий. Хотя и сама была не слепая и могла смекнуть, на что Саша, несмотря на свое благородное происхождение, падок. Конечно, Саша это не грузчик из подсобки, тут надо проявить обходительность и терпение. Но одно Клава знала точно – есть в мужиках что-то, что объединяет их всех, независимо от происхождения и образования. Гады они! Но что делать, если незамужняя женщина – это неприлично.

План был прост. Постоянное безденежье и неустроенность Сашиного быта давало Клаве шанс. Придется постараться, но самое главное помалкивать, чтобы не ляпнуть чего-нибудь стогряча. Не сильна она пока в разговорном жанре. Зато сила её в умениях кулинарных, такой борщ сварганить может, что не оторвешь. Не говоря уже об умениях другого толка. Обучена. И учитель хороший был, не хуже, чем у городских. И деньги имеются – на счёты кладет ловко и с весами управляется лучше любого жонглера.

Придется потратиться и обновить гардероб. Но Клава не знает, что и как носить, зато готова учиться и в учебе способна. Надо попросить Нюру, чтобы та замолвила за неё словечко Нике. Для консультации. Ника интеллигентка, и потому в помощи не откажет.

Права была Клава: Нюра попросила и Ника не отказала, разрешила позвонить, но только побыстрей, а то приедут родственники и будет не до того.

Нике и без родственников было не до того. Уж на что меньше всего хотелось тратить время, так это на обучение Клавы хорошим манерам. Но бабушка говорила, что высокомерие непозволительно, и проводила в пример графиню Броницкую.

Саша встал с дивана и решил, наконец, разобраться с елкой. А что ещё делать? Сигареты кончились, деньги тоже. Маме, что ли, позвонить? Так трубку возьмет гуталиновый мажордом и рвякнет что-то на ихнем языке.

Гардеробщица в театре говорит, что пора остепениться, и сватает Саше свою внучку. А почему бы и нет. Надоело питаться всякой шухрой-мухрой в обшарпанных забегаловках. Сегодня придет Щусю и опять принесет пирожки с говном, и давится ими. Чем-то же надо закусывать.

Саша вынес елку из квартиры, а за ней потянулась дорожка из сухих иголок. На пути к мусорнику перекинулся парой слов с одноногим дядейевой. Вот мужик! Жизнь прожил, не дай бог, как в штрафном батальоне, а все равно веселый. Дворничиха Нюра временно отсутствовала, так что плеваться было некому, и донес Саша свою елку-палку без приключений.

Присел на ту самую скамейку, где Ника со Светой сидели – видел он их из окна.

Саша любил двор. То место, где райская яблоня растет, было когда-то их местом, там происходило самое главное в жизни любого ребенка – игра. Там закапывались секретники, там прыгали на резинке, там хоронили дохлого воробья, там раскалывали орехи на большом камне, там верилось в необыкновенные истории, там обзывались, сплетничали, дрались, ссорились и мирились. И все мальчишки были влюблены в злую, но красивую Жанку. Все, кроме Шусю. Шусю любил Нику и, вероятно, любит по сей день.

Между райской яблоней и орехом Луиза Максимовна высаживала невзрачные цветы. А тогда они казались очень даже взрачными, но никто, даже Шусю, никогда не порушил эту красоту. Луизу Максимовну уважали и побаивались.

Вон Клава появилась и виляет своей низкой задницей. Что-то она слишком часто стала попадаться Саше на глаза.

К приезду родственников решили расчистить балкон. Прощай, подсамоварник. Чайник Ника вымыла и завернула в газету. Отдаст Дине, для неё это память.

Павел вынес с балкона почти всё. Как много места стало! Чтобы заполнить пустоту, Саша предлагает в подарок римскую колонну. Пусть сперва сотрет с неё матерное слово, а потом Ника подумает.

Было решено гостей через неделю отвезти на дачу. Авось не обидятся. Едут они надолго, а Нике надо писать диссертацию. Один библиотечный день уже пропал.

И опять окающее сердце болит, болит и бьется невпопад. Врожденный порок, неоперабельный. И детей иметь нельзя, нельзя рожать, очень опасно. Ника с этим давно смирилась. Диссертацию пишет, на ученых советах доклады делает, отдыхать в Сочи ездит, премьеры в Доме кино посещает, дни рождения устраивает. Сама на дни рождения ходит. Всё как у людей...

Завтра день рождения у Саши. Пригласил. Там та ещё публика собирается. Но как не пойти? Жаль Сашу, с его способностями пропадает почему зря. Сейчас, правда, взялся за интересную инсталляцию. Накупил ватных матрацев, порезал их по центру так, что вата выглядывает, а вокруг этих дыр нарисовал очертания человеческих тел. Полная иллюзия распотрошенных людей, но вместо кишок вата, которую он еще и раскрашивать собирается для пушшего эффекта. Будет с этими матрацами в каком-то конкурсе участвовать.

Клава побывала у Ники и осталась очень довольна. Сначала пили чай из кобальтовых чашек. Варенье Ника кладет в хрустальные розетки, а сахар из сахарницы надо брать серебряными щипчиками, а салфетки уложены веером на фарфоровой подставке. Ужас, как интересно!

Перешли к делу. Ника сказала, что у Клавы неплохая фигура, но имеет свои нежелательные особенности, которые не мешает скрыть. Что-то долго говорила об удлиненной талии, Клава всё записывала. Потом разговор зашел об аксессуарах, и Клава робко переспросила, и Ника поняла, что перегружает человека лишними словами, но виду не подала и всё объяснила. А на прощание подарила Клаве ажурную жилетку. Ничего подобного у Клавы отродясь не было. И с чем её только носить? Но Клава просить постеснялась, побоялась показаться неблагодарной.

Ну всё, теперь Саша у неё в кармане. Надо только аксессуаров прикупить, а то из этого добра у Клавы только одна сумочка и один шарфик. Маловато для женщины, готовящей себя в жены лорду.

И ещё один важный ход придумала Клава. Завтра она возьмет больничный и усядется во дворе с авоськой, набитой продуктами и даже деликатесами. Авоську раздобыла с трудом. Кто сейчас с ними ходит? Но это именно то, что Клаве для её сценария необходимо. Надо привлечь вечно голодного Сашу содержимым, а уж там как повезет.

Нюра подсказала, когда примерно Саша выходит из дому. Главное, чтобы хандра на него не напала, а то не выйдет ни в жисть, неделями может на диване проваляться.

Дина с Алисой приехали рано утром. Ника встречала их на вокзале, понятия не имея, как они выглядят, но догадалась по растерянным лицам и несмелым движениям. Но что сразило Нику наповал, так это внешнее сходство. Только слепой скажет, что они не родственники. Вот как бывает – живут вполне близкие люди, в силу сложившихся обстоятельств никогда друг друга не видели, а встретились и обалдели от того, какие они одинаковые. И раскос глаз, и вздёр носа и откид головы. Генетическая экспертиза не нужна.

Неприятно удивило, что, не предупредив, гости захватили с собой худющего и нервного пинчера. Насчет пинчера они не договаривались. Нику это обстоятельство смутило не потому, что приехало не двое, а как бы трое, а потому, что не любила она бесцеремонности и замаскированной забывчивости даже в мелочах, не говоря уже о целой собаке, хоть и маленькой.

Дина извинялась, что не привезла ранние украинские фрукты. Невозможно! Всё заражено! А в поезде санитары ходили с дозиметрами и мерили их, как прокаженных.

Это лето Нике предстояло как-то пережить. И Муле тоже. Конкуренции Муля не терпела, и вообще она не любила маленьких черных собак. А тут не просто маленькая, а ещё и горластая, а спичечные ножки до того тонкие, что непонятно, как они держат даже такое невесомое тельце. Муля замкнулась в себе и не стала есть салат «Оливье». Пошла в спальню и залезла под кровать.

Если бы Павел мог залезть под кровать, он бы тоже это сделал. Гости не пришлись ему по душе, несмотря на внешнее сходство с Никой и несмотря на их бедственное положение.

Алиса оказалась девочкой невоспитанной. Щипчиками для сахара она пыталась ущипнуть и без того огорченную Мулю, а потом надела себе на голову миску и орала, что она мотоциклист. Ника с Павлом привыкли к тишине, и всё происходящее выводило их из себя.

Дина нагнетала и без того напряженную атмосферу. Представить только – полураспад стронция длится тридцать лет, и это только стронция! А в воздухе, почве и воде нашли всё! Всю таблицу Менделеева! И даже плутоний! Как жить?!

Зря Дина оправдывалась, Ника совсем не возражает, чтобы гости остались на всё лето, и прекрасно понимает, что теперь каждый год не миновать ей нашествия родственников, включая пинчера. Но только, пожалуйста, не так громко!

И тут завопила Алиса. Её укусила Муля. О боже, никогда эта собака не кусалась. Пинчер из солидарности зашелся тоже. Дина заохала, заахала, запричитала что-то о бешенстве и столбняке. Ника бросилась к аптечке, перевернула зеленку и в мыслях проклинала черномыльский реактор, стронций и всю таблицу Менделеева.

Павел отправился в гараж приводить в порядок их побитый «Жигуленок». Пожалуй, неделю они не выдержат, завтра же повезет гостей на дачу.

Клава сидела на скамейке уже целый час. В привлекательности авоськи она не сомневалась, зато её собственная привлекательность вызывала у неё некоторое беспокойство. К платью она

пришпандорила брошку и сейчас думала, уместно ли? Ника говорила, что в одежде должна быть только одна деталь, определяющая стиль. Но эта деталь должна быть бесспорна и уместна. Именно так и сказала: уместна. А если деталей много, то это уже дурной вкус.

Клавины мысли прервались с появлением Саши. Ну наконец-то. Клава не забыла захпнуть в авоську сигареты «Marlboro» и позаботилась о том, чтобы это бросалось в глаза.

Пройти мимо такого искушения Саша не смог, у него аж нутро свело. Ему хватило нескольких секунд, чтобы оценить ситуацию, и он опустился на скамейку рядом. У Клавы замедлилось дыхание. Дальше события разворачивались со скоростью невероятной. Саша передумал идти на работу. Ненормальный он, что ли, когда такая удача сама в руки идет. Саша пригласил Клаву к себе под предлогом посмотреть инсталляции. Она понятия не имела, что такое инсталляции, но поспешно согласилась, пока Саша не передумал. Всё шло по плану.

Съели и выпили всё. И очень быстро. Клава озиралась по сторонам и удивлялась пустоте холостяцкого жилища и грязным окнам, за которыми уже не видно, что делается на улице. Немного погодя Саша приволок с балкона ватный матрац и приказал Клаве ложиться. Сердце подпрыгнуло. Неужели так быстро? Но Саша повел себя странно, он взял толстый фломастер и очертил им Клавины крутые формы. И многозначительно сообщил, что он её таким образом увековечил в искусстве. Теперь этот матрац будет выставляться в арт-галерее, может быть, даже за границей, только над ним надо ещё поработать. Когда всё будет готово, он Клаву опять позовет и покажет. Программа была выполнена, и Саша не мог придумать, как бы ему поделикатней выставить гостью. Но тут в квартиру вломился Шусю с пирожками и бутылкой портвейна, которая была уже явно лишней. Хотя как может быть лишним портвейн в кругах творческих и вольнодумных. Шусю обалдел от недокуренной пачки заморских сигарет и объявил, что остается до вечера.

Дальше Саша уже плохо помнит. Помнит, что Шусю тащил его в ванную, и что рубашка порвалась, и что упал на матрац. А дальше не помнит. Только утром он проснулся и удивился, что ещё жив, а на кухне обнаружил Клаву, которая поставила перед ним кружку с рассолом и миску с квашеной капустой. Такого блаженства он не испытывал давно. О нем позаботились! Когда это было в последний раз? И было ли вообще? Саша глубоко задумался – права гардеробщица, пора жениться.

Павел увез гостей на дачу. Больше всех радовалась Муля, она не отходила от Ники и не спускала с неё своих рыжих глаз. И даже согласилась поесть овсяной каши, на что не пойдет ни одна уважающая себя собака. Но Муле так хотелось угодить хозяйке, что она съела бы даже огурец.

Ника прилегла с книгой. Понедельник выдался трудный, на заседании кафедры обсуждался её реферат. В тексте ученый секретарь (дама ядовитая) обнаружила нехватку двух запятых и ехидно об этом высказалась. Чем-то она, несмотря на свою ученость, напоминала Нике Клаву. И откуда ей только известно о знаках препинания? С этими знаками у Ники были проблемы ещё в школе, был период, когда она писала слова одной длинной цепью без пропусков. Специалисты говорили Никиным родителям, что так пишут дети с особым видом гениальности, поэтому расстраиваться не надо. Ребенок в конечном счете перерастет. Так и случилось.

Всё прошло, когда наступили противные подростковые изменения. В один прекрасный день как отрезало, Ника стала писать абсолютно грамотно. Наверное, гениальность пропала.

И теперь её раздражает безграмотность чужая. Когда она проверяет работы своих аспирантов, то ей хочется пройтись по тексту веником, а лучше лопатой.

Снова заболело сердце и застучало невпопад. Ника прислушивалась к его хаотичному биеанию. Читать расхотелось, и она вышла на балкон. Райская яблоня зацвела в этом году поздно. Когда-то дерево сполна натерпелось от детворы. Ника помнит, как у каждого из них была на нём своя ветка, до которой еще надо было долезть. И лезли, как настоящие варвары, сшибая грубы-

ми ботинками темно-розовые цветы и царапая блестящую кору. И дворничиха Нюра, тогда еще молодая, на них плевалась.

В их дворе не так легко было выжить. Дети жестокие, и не дай бог, если кто-нибудь толстый или рыжий – забудут. Так у них и было. Но, несмотря на это, Ника хорошо помнит то ощущение огромного детского счастья, бесстрашного перед начинающейся жизнью, не допускающего ни на миг сомнений в удаче.

Дядя Цезик ослеп. Позвонила его соседка, разговор был нервный и бестолковый. Ника рас-терялась и заметалась по квартире в поисках неизвестно чего. Набрала из холодильника всякой всячины и побежала ловить такси.

Так она и думала! Нет, нет, не о слепоте, конечно, а о том, что с Цезиком должно было что-то случиться. А ведь зловеще... Да-да, всё из-за этой проклятой коллекции, потому что в жизни ничего не бывает без причины.

Свою странную коллекцию дядя Цезик собирал много лет. И, пожалуй, что такой нет ни у кого на свете. Он собирал очки умерших людей. Кто его надоумил? Как возникла в его голове эта кошмарная фантазия?

Начало коллекции положила смерть его фронтового друга, погибшего в конце войны трагично и нелепо. Попал под гусеницу танка. Когда Цезик увидел его раздавленные очки с треснувшими стеклами, то не смог с ними расстаться. Эти очки стали первыми в его коллекции. С тех пор, если кто-то из родственников или знакомых умирал, и если это становилось известно дяде Цезику, то, выждав для приличия паузу, он облачался в черный костюм и наносил визит семье покойного с дикой просьбой подарить очки, если таковые покойник носил. Как правило, носил, и, как правило, отдавали, тем более что Цезик обещал хранить очки бережно и с любовью. И обещание свое держал. За его спиной крутили пальцем у виска, мол, сумасшедший. Пожалуй, что так.

Очки он хранил в картонных коробках, и переложены они были плотными салфетками. Очки были пронумерованы, а каждый номер был отмечен в каталоге, где помещалось краткое описание жизни покойного и причина смерти. Зачем?! Ника недоумевала, а когда спрашивала, дядя Цезик начинал нервничать, и даже повышал голос, и просил вопросов не задавать. В их семье многие были с придурью, но Цезик превзошел всех.

Почему он ослеп? Почему? Ведь он никогда не жаловался на зрение. Ника ехала к нему с твердым намерением забрать его к себе, а коллекцию потихоньку выбросить.

Дядя Цезик наотрез отказался покидать свою коммунальную клетушку, бывшую когда-то комнатой прислуги. Он ориентировался в ней наизусть. Каждая вещь стояла на своем месте десятилетиями. До кухни рукой подать, и путь этот ему знаком как свои пять пальцев. Да и что ему надо на кухне? Чайник поставить? Все-таки некоторые силуэты он видит.

Но больше всего Нику удивило, что дядя категорически отказался идти к врачу. И все доводы Ники, что зрение ещё можно вернуть, не принимал. Ника намучилась с ним битых три часа и добилась только того, что Цезик разрешил ей себя покормить. А потом бесцеремонно напомнил, что пора бы и честь знать.

У дворничихи Нюры появился ухажер – бывший участковый Шумейко. Он вышел на пенсию и овдовел, и Нюра ему подходила. Перед тем как перейти к действиям, он как настоящий милиционер навел о ней справки в домоуправлении. Вот сволочь!

Нюра про этот шпионаж ничего не знала, и неожиданные ухаживания ей польстили. Она нацепила на шею блестящее монисто, вместо ватника надела кофту, подаренную Луизой Максимов-

ной, и двор теперь мела в таком виде. Откровенно говоря, она когда-то положила глаз на дядю Леву, но тот оказался крепким орешком и однолюбом. Его красавица жена 22 июня 1941 года родила мальчиков-близнецов. Дядю Леву призвали в армию, а жена с детьми эвакуировалась. Больше он их не видел...

Нюру визиты Шумейко вводили в краску. Она всё переживала о том, как людям в глаза смотреть. Стыдно женихаться в таком возрасте. Народ наш мораль блюдет.

Не сказать, чтобы Шумейко ей очень нравился, в глубине души она милиционеров не уважала, но как женщина недолюбленная млела от самых пустяковых знаков внимания. Замуж позвал, значит человек серьёзный, ей бы сразу согласиться, но она не была готова к столь быстрому развитию событий и от волнения потеряла голос. А Шумейко привык рапортовать, вопрос – ответ, и без промедлений. Где уж ему понять тонкую женскую душу? Подумал, что ломается и кокетничает, а этого он не любит. Солдафон.

Так Нюра упустила момент, а поскольку это был не первый упущенный момент в её жизни, то быстро смирилась. От судьбы не уйдешь. Всё-таки пользы от этой истории получилось больше, чем вреда, так как монисто она уже не снимала, а ватник больше не надевала. Поняла, что привлекательности ещё не лишена, а это значит... Значит, что Шумейко не единственный мужик в радиусе тысячи километров. Про радиус Нюра не понимала ничего, это ей Ника сказала.

Позвонила Лорка из Чикаго. Начала с ностальгического нытья – тоскует по бородинскому хлебу и топленому молоку. А потом набросилась на Нيكку с лавиной вопросов и, конечно, спросила, что прислать, и Ника, как всегда, сказала – ничего. Но Лорка всё равно пришлет, Ника знает. Её посылки как бездонный сундук, начинаешь разбирать, и не видно конца, и всё висит в шкафу ненадежным. И можно ли это носить? Платья, пересыпанные люрексом, кофточки, засиженные стразами, и блузки, расшитые жирафами и павлинами. Американский Таджикистан.

Но Ника всё равно Лорке благодарна. Что-то трогательное было в её непременном желании поделиться с подружкой хотя бы малой частью заготовленной Америки.

Когда Лорка уезжала, её прорабатывали в коллективе на общем собрании. Припомнили всё – в общественной жизни участия не принимала, даже в стенгазету ни одной заметки не написала, субботники игнорировала. А в студенческие годы водила шашни с иностранцами – был сигнал из вышестоящей организации. И, наверное, тогда буржуазный червь в неё и внедрился. И нет ничего удивительного, что теперь она уезжает во вражескую нам страну. Вынесли гневное порицание и записали в протокол. И отправили Лорку на все четыре стороны к её большому удовольствию.

Соседи порицали тоже, некоторые даже перестали с ней здороваться. Неохота опять высказываться про наш народ, но время было суровое, на него можно всё свалить.

Лорка уехала с легкой душой и первое время не давала о себе знать – боялась позвонить или написать. Боялась, что у Ники будут неприятности на работе.

Давно они не виделись, Лоркины черты начали смываться. Ника почему-то лучше помнит её маленькой, чем взрослой. Круглые серые глаза и два больших передних зуба с широкой щелью, и платье в нежную клеточку. И ещё Лорка проворней и выше всех забиралась на райскую яблоню, только труссы из-под юбки сверкали.

Теперь Лорка живет в просторном доме с бассейном и садом и недовольна тем, как государство распоряжается деньгами налогоплательщиков. А своего мужа называет козлом, потому что он набрал кредитов не в тех банках и не под те проценты.

Ника понимает, что другой мир делает людей другими, но когда это касается друзей детства, то у неё опять начинает болеть сердце.

А ещё Ника знает, что Лорка всю жизнь хранит её фотографию. Нике на ней девять лет, и на обратной стороне детским почерком написано: «ВечнотвояподругаНика». Эта фотография была

с Лоркой во всех странах, где она жила. Потому что самое лучшее и самое настоящее с нами происходит только в детстве.

Павел давно бы ушел, но Ника больна, а он не подлец. А сейчас ещё и гости приехали, и дядя Цезик ослеп. В субботу – на дачу гостям продукты завезти, в воскресенье – к Цезику. Упрямый старик, переезжать не хочет, лечиться тоже не хочет.

Павел где-то достал для Дины дозиметр. Когда вернется в Киев, будет им по всем сусекам измерять уровень радиации, и тогда уж точно определит, не забился ли в угол обломок стронция.

На завтра подвернулось два билета в элитный театр, и даже не верится, что они с Никой пойдут куда-то вместе. В последний раз они были вместе два года назад на полузапрещенной выставке авангардной живописи в каком-то подвале. В прокуренном помещении набилась тьма народу, но не того народа, о котором принято вспоминать, характеризуя явления распространенные. Здесь были все как на подбор – типичные представители креативных тусовок. А между ними сновали те, кто в этих тусовках подвизаются. Но не это смутило Павла, а картины, от которых хотелось умереть – взнузданные лошадиной сбруей люди, проваленные в тартарары дома, летающие по небу ангелы в обнимку с чертями.

Выставка подействовала на Павла угнетающе, зато он в который раз констатировал, что мужчины более чем заинтересованно смотрят на Нику. Павел не был ревнив, но зацепило.

Когда-то он до такой степени был влюблен в Нику, что забыл обо всем: о папе с мамой, о пьянках с друзьями, о рыбалке, о грибной охоте, о походах за горизонт, о бардовских песнях и вообще обо всем, что любил раньше. Он любил только Нику.

Любовь прошла незаметно, зато снова появился интерес ко всему остальному.

Нику повышенное внимание мужчин нисколько не занимало. Сказать, что ей это надоело, было бы не совсем правильно. Её сдержанность была вызвана скорее воспитанным с детства достоинством и опытом зрелой женщины. Увы, опыт, который по сути своей мало чем отличался от того, который Клава получила в своей подсобке. А опыт прост – женщина всегда находится в положении менее выгодном, чем мужчина. И ни одна даже самая умная женщина не в силах изменить определенную самой природой расстановку сил.

И еще одна немаловажная деталь – бабушка говорила, что женская репутация должна быть безупречной, и приводила в пример графиню Броницкую.

Саша объявил, что женится на Клаве. И даже маму из Африки вызвал познакомиться. Клава боялась показаться будущей свекрови на глаза и с перепугу села на диету, и пошла на курсы английского языка.

Во дворце бракосочетания им выдали приглашения в салон молодоженов, где можно было неплохо прибрахлиться. Клава шла туда с гордым видом, ощущая исключительность и важность происходящего. Купила кобальтовый чайный сервиз, почти как у Ники. Только вот щипчиков для сахара нигде не нашла.

Платье будет шить у портнихи в ателье. На примерку Нику позовет, чтобы не промахнуться с фасоном. Завтра приезжает Сашина мама. Ужас, как страшно!

Сашу эти приготовления раздражали. Поиски приличного костюма (моль потом кормить), беготня по магазинам (что там можно купить?), доставание продуктов (всё сожрут в один момент). А мама нагрянет, так столько шума прибавится, что хоть из дому беги. Но приехала мама, и всё стало на свои места. Клава ей понравилась. Скромная, хозяйственная, чистоплотная, так выдраила к её приезду квартиру, что не придерешься. Как раз то, что нужно её непутевому сыну.

А то, что происхождением не вышла, так и у Саши, если покопаться, можно найти изъяны в родословной.

Мама объявила обалденную новость – с министром она разводится и выходит замуж за монгольского кинорежиссера. И когда она только успела? И где она его откопала? Неужели в Африке? Но не это больше всего удивило Сашу, а то, что в Монголии имеется кинематограф.

Свадьбу гуляли в банкетном зале молодежного кафе. Нюру не пригласили. Она обиделась и ходила с поджатыми губами. Как информацию добывать, так годилась, а как за одним столом сидеть, так рожей не вышла. Нюра с горя плюнула и всплакнула. Клава оправдывалась – Нюра должна её понять, ведь она даже своих деревенских не позвала, чтобы не бросалось в глаза социальное неравенство. И чтобы загладить вину, Клава завезла Нюре мешок картошки и ведро соленых помидоров. Та и угомонилась.

Ника на этой свадьбе еле высидела. А когда принесли торты с жирными розами, так ей и вовсе плохоело.

Клава смущалась и рдела, в ушах у неё сверкали сережки с красными камушками (подарок свекрови), а фата сбилась набок, но это выглядело очень мило. Саша, похоже, плохо соображал и не верил в происходящее, а Шусю до такой степени ужрался, что в глазах у него появилось что-то маньячное.

Ника смотрела на Сашку-дурака и вспоминала, как он в детстве писал стихи злой Жанке и даже нарисовал её профиль на мокрой земле. Было очень похоже. А ещё они с Шусю как-то собрали все райские яблочки и отнесли Луизе Максимовне на варенье. Вкуснее варенья Ника не ела никогда.

С дядей Цезиком опять приключилось несчастье. Он перевернул на себя чайник и обварился, обварившись упал и сломал ногу. И опять звонила соседка и натараторила в трубку много лишних слов.

Что делать? Павла послали в командировку, а тут хоть разорвись. Надо ехать на дачу навестить Дину, а обваренный Цезик валяется в ортопедии.

Ника вышла на балкон, её успокаивал двор – вид сверху. Раскидистая крона райской яблони заслоняла неприглядное скопление гаражей. Заморосило. Ника любила спокойную непогоду, легкие покалывания дождика в лицо и прохладу небыстрого ветра. Этот ветер срывал с яблони цветы, и розовые лепестки носились в воздухе, как конфетти. Однако если она будет разводить лирику на тему летнего пейзажа, то в больницу к Цезику она быстрее не доберется.

Больница как больница – девять человек в палате, и санитарка бросается на людей, как цепной пес. Ника сунула ей в карман три рубля, рассчитывая на снисхождение. И зря.

С врачом, невыспавшимся после ночной смены, общаться было ещё противней, чем с санитаркой. Ника плюнула, как Нюра, и ушла.

У неё был ключ от комнаты Цезика, и она намеревалась немедленно туда пойти, чтобы выбросить эту страшную коллекцию.

Когда она очутилась на месте, ей показалось, что она не вошла, а прокралась. И сейчас ей предстоит совать свой нос в чужой мир и распоряжаться тем, что ей не принадлежит. Пришлось подавить в себе издержки воспитания. Ника выдвинула ящик огромного комода и вытащила оттуда ненавистные коробки с очками. Сказать, что они ей жгли руки, значило ничего не сказать.

Порядок в коллекции был образцовый. Без труда Ника нашла и каталог, толстую общую тетрадь в синюю линейку. Очки под номером сорок девять – бабушкины очки. Ника их хорошо помнит – дешевая пластмассовая оправа, расшатанные дужки. Бабушка их всегда искала и не могла найти, и тогда к поискам подключалась Ника. А потом Ника прикрепила к очкам цепочку. Так с цепочкой они у Цезика и хранятся.

Ника раскрыла тетрадь. Номер сорок девять – «Бескина Эсфирь Моисеевна. Родилась в 1894 году, по образованию патентовед, заведовала технической библиотекой, занималась благотворительностью, умерла в 1979 году от сердечной недостаточности. Её муж, Бескин Илья Абрамович, детский хирург, в 1953 году проходил по делу врачей, был арестован и умер в тюрьме при невыясненных обстоятельствах. В семье было двое детей: сын Марк – погиб в 1944 году в боях за Варшаву, дочь Марина – геолог. Она и её муж Олег Панарин погибли в 1971 году во время геологической экспедиции под каменным обвалом в горах».

Ника не может заплакать, в этом её большая проблема, и потому ей тяжелее в сто крат. Она хорошо помнит родителей. Папина гитара до сих пор висит на том же месте в её комнате. А мамин колючий Ника никогда не снимает. Их фотография стоит у неё на письменном столе. И если её кто-то спросит, что такое бог, то она покажет на эту фотографию.

Теперь Ника уже точно знала, что ничего не сделает, не поднимется у неё рука выбросить это богатство, да и как среагирует дядя Цезик, если узнает, что часть его жизни пропала навсегда? Разве мало он потерял?

Ника положила всё на место и задвинула ящик комода.

Очень болело сердце, хотелось прилечь прямо здесь на кожаный диван, из которого вылезли все пружины.

Духота в трамвае была нестерпимой. Кондукторша пробивалась в гущу тел всей своей необъятной конструкцией и орала на мамашу с детьми и бабуся с корзинкой. А куда деть корзинку? Хоть на голову себе ставь. Так и ставьте, здесь вам не такси! Билеты у всех есть? Чего лыбишься, предъяви билет, а то сажу! И пассажиры кондукторше поддакивали. Народ наш порядок любит.

Вырвавшись наружу, Ника обнаружила отсутствие пуговицы на кофте. Ну и слава богу, потери могли быть значительно хуже. До дому бы добраться, а то что-то совсем плохо стало. Уже недалеко. Вот и райская яблоня видна. Нике вдруг показалось, что она превратилась в густое розовое облако, которое приблизилось к ней вплотную и окутало её с головы до ног. Ника замедлила шаг, а потом остановилось. И вот она уже глотает пахучие яблочные хлопья, и почему-то они кажутся ей ватными, и дышать из-за них стало ещё трудней. И тяжелый стук в сердце прекратился совсем, и розовое стало серым, а потом черным.

Саша вышел из дому за сигаретами. Семейная жизнь еще толком не началась, а уже осточертела. После вчерашнего весь пейзаж как в тумане.

Вон возле ворот что-то валяется. А может, мерещится? Уже и глазам своим не веришь. Что-то валяется? Или кто-то? На тряпичную куклу похоже.

ПОДПОЛЬЩИКИ

Рассказ

Каждую вторую и четвертую среду месяца вот уже два с половиной года он отпрашивался с работы пораньше, ссылаясь то на зубную, то на животную боль, то на необходимость встретиться из детского садика дочку двоюродной тетки Сашеньку. Это была чистойшей ложь, но ложь во имя добра и правды. Будущего добра и будущей правды, предпосылки которым он закладывал вместе со своими соратниками в обстановке строжайшей секретности каждую вторую и четвертую среду месяца. Рядовой обыватель – кредитный колбасник, возможно, сочтет нелепым и такой график, и степень закрытости, и еще много чего, и все потому, что колбасник ничего не знает о будущем, да и знать не желает. А будущее между тем не приходит из ниоткуда и не материализуется из ничего. Оно создается упорным трудом ничтожного процента людей, наделенных даром предвосхищения реальности. Кто эти люди? Писатели-фантасты, изобретатели-самоучки и политические подпольщики.

Он входил в последнюю группу. Он был многогранен, многолик и многоименен. В платежной ведомости он расписывался против фамилии Комаров, жена называла его ласково – дурик, в кругах тайных и узких его величали Икаром за широту мысли, высоту помыслов и за букву «р», произносимую по-вороньи раскатисто и напористо.

Икар вышел из метро, купил в ларьке лаваш, рванул край зубами (непропеченный клейкий кусок тяжело упал на дно желудка) и широким прыгающим шагом, разбивающим вдреизг соляные лужи, устремился к месту сбора. Думая о будущем, о прекрасном добром будущем, Икар миновал шесть кварталов и свернул во двор. В память о лепешке в руках осталась промасленная бумажная полоска. Он хотел было бросить бумажку в окаменевший желтовато-серый сугроб, но, вспомнив о конспирации, смял и сунул в карман, затем одернул вздыбившийся от быстрой ходьбы пуховик и, набрав цифровой код на двери, открыл ее и проник в полуподвальное помещение, похожее на заброшенный паспортный стол.

Стеллажи с пухлыми папками. Картотека, утерявшая добрую половину положенных букв. Канцелярский стол с доисторическим монитором, напоминающим поваленный на бок унитаз. Стол для совещаний, заставленный грязной чайно-кофейной посудой. Вокруг этого стола расположилась руководящая ячейка его политической группы. Амебообразный мужчина средних лет с бритым мучнистым черепом и внушительным стажем подпольной работы – Аркадий Петрович, по прозвищу Зорге. Мужчина постарше, сухой, морщинистый, пьющий, с торчащими во все стороны усами и бородой, – Лев Дмитриевич, среди своих – Дон Кихот. Затем пожилой мужчина, умело скрывающий перманентный испуг и неуместную розовость щек седыми напомаженными бакенбардами, интеллигент и гуманитарий – Михал Михалыч. С самой первой встречи он заявил себя как идеолог движения, и все стали звать его Председателем. И, наконец, женщина. Стриженная под бобрিকা, с красным ртом, маленькими пронзительными глазами и мужественным именем Валентина. Валентина справедливо считалась движущей силой организации, и псевдоним у нее был соответствующий – Мадам-Бронепоезд.

Виталий Щигельский родился в 1967 году в Ленинграде. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Нева», «Новый мир», «Зинзивер». В «Волге» публиковались рассказы «Чистая память» и «Иностранное тело» (2013, №11–12). Автор книг «Обратное уравнение», «Время воды», «Наночеловек», «Бенефис двойников» (в соавторстве с В. Фёдоровым). Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Напротив стола на деревянной скамье под приклеенными скотчем к стене рукописными плакатами, безальтернативным «Через свободу – к процветанию и обратно!» и всеобъемлющим «Позор!», сидели два активиста – Толик и Лешик. Они приходили и уходили вместе, поэтому кто из них Толик, а кто Лешик, Икар не знал. Впрочем, это было не важно. Главное, что они сами знали, что они ниже рангом и субординация имеет значение.

Икар бросил на стул рюкзак и спросил:

– Придет кто еще?

Михал Михалыч театрально вздохнул:

– К сожалению, нет.

– Тогда, может быть, начнем? – предложил Икар, подсаживаясь к Валентине.

– А кворум-то, кворум-то есть? – в ее голосе послышалось напряжение.

– Кворум есть, – подсказал опытный Зорге.

– Тогда предлагаю начать, – Председатель достал блокнот и карандаш из потертого дипломата.

– Ставить на голосование? – поинтересовалась Валентина, отодвигаясь от Икара вместе со стулом.

– Ставить, – подтвердил Дон Кихот и посмотрел на Мадам-Бронепоезд голодным взглядом.

– Кто «за», прошу поднять руки, – прежде чем огласить результат, Михал Михалыч просчитал дважды: – Шестеро.

– Кто «против»?

– Я, – сообщил Икар, взгляд Дон Кихота сбил его с толку.

– И какое предложение у вас? – сощурился Председатель.

– Ничего.

Михал Михалыч поднял вверх карандаш:

– Шесть голосов «за». Один голос «против». Решение открыть заседание принято большинством голосов.

– Как это шестеро? – удивился Аркадий Петрович. – Нас всего пятеро за столом.

– Иванов и Геймаузер, – Валентина обернулась к Толику и Лешику, – вам голосовать не надо.

Право голоса только у членов совета. Вы, кстати, что сегодня успели сделать?

Лешик и Толик переглянулись.

– Я раздал двадцать листовок, – отрапортовал Иванов.

– Двадцать? – переспросил Зорге.

– Около двадцати.

– А я клеил стикеры, – доложил Геймаузер.

– Где? – уточнил Зорге.

– В основном вокруг дома.

– Неинформативно, – покачала головой Валентина.

– А пресс-релиз в СМИ отправили? – вставил Председатель.

– Отправили, – сказали Лешик и Толик хором.

– И что ответили СМИ?

– Ничего.

– Ну, тогда, господа, вы свободны, – Михал Михалыч указал карандашом на дверь.

После ухода активистов установилась гнетущая тишина. Первым ее нарушил Дон Кихот: в неухаженных джунглях стола он высмотрел недоеденный пряник, ухватил его тонкими быстрыми пальцами, запихнул в рот и принялся чавкать.

Зорге тоже хотелось сладкого, но политический опыт подсказывал ему, что копать в объездах в присутствии дамы, на которую имеешь серьезные виды, не стоит. Поэтому он сказал:

– Отсутствие какой-либо реакции СМИ – это даже хорошо, господа. Это значит, что мы попали в черные списки.

– Списки – это хорошо! – обрадовалась Валентина. – Стало быть, мы попали властям в болевую точку.

– Проголосуем? – предложил Михал Михалыч.

– За что? – уточнил Зорге.

– За то, что попали властям в болевую точку, – Михал Михалыч обвел глазами присутствующих. – Единогласно! Валентина, вы не будете возражать, если я поручу вам вести протокол?

Мадам-Бронепоезд сделала мужественное лицо и кивнула. Ее решимость пугала Икара, казалось, ради общего дела она готова на все: в одиночку расклеить пять тысяч листовок, издать стенгазету и задушить идейного врага своей большой мягкой грудью. Икару однажды пришлось познать ее духоту. И теперь воспоминания быстрой подпольной близости преследовали его ночами и днями...

Председатель дежурно прокашлялся:

– Так, хорошо, господа, давайте продолжим. А вам не показалось, что этот, который сидел справа от... как его...

– Иванова, – подсказала Мадам-Бронепоезд.

– Да-да, Иванов, хотя мне думается, что это все же Геймаузер, – Председатель перешел на шепот: – Так вот, вам не показалось, что он провокатор?

– Да-да-да, – закивал Зорге, – что-то есть в нем такое.

– А второй?

– Иванов? – Валентина хихикнула игриво, если не сказать порочно. – Не может быть.

У Дон Кихота зашевелились усы и борода, видимо, он ухмыльнулся.

– Вряд ли, – Мадам-Бронепоезд потупилась, – хотя не исключено, что засланец.

Икар испытал укол ревности: неужели Валентина поделилась своей духотой с этим жалким, опустившимся существом? И поддержал Валентину:

– Скорее засланец.

Икар совсем не знал Иванова, но ему нужно было дать понять Валентине, что она всегда может на него положиться.

– Засланец, – подтвердил Зорге. – Я таких повидал много. С первого взгляда определяю.

Дон Кихот промолчал, облизал языком усы и сунул в рот еще один пряник.

– Да, – горько выдохнул Председатель, – тяжело нынче с кадрами.

– Соратники, – подал голос Зорге, – предлагаю начать мозговой штурм. А не сделать ли нам знаковую информативную акцию, например, растяжку на мосту, с надписью: «Губернатор – вон!».

– Где? – Председатель испуганно обернулся.

– Не где, а куда, – Зорге поморщился. – Вон из города.

– Это здорово, – подхватила Валентина.

– Такая растяжка долго не провисит, зато нас быстро поймают, – остудил пыл присутствующих Михал Михалыч.

– Тогда давайте наклеим стикеры на наши портфели и рюкзаки.

– Поймают еще быстрее. И административку повесят, – предупредил Зорге. – Тут нужно нечто более тонкое

– Давайте наклеим стикер с внутренней стороны рюкзаков? – осенило Валентину.

– Так никто не увидит, – Зорге наморщил нос.

– Кому надо увидит, – Председатель, напротив, поддержал идею Мадам-Бронепоезд.

– Согласен, – сдался Зорге.

– Голосуем.

– Единогласно, – Михал Михалыч казался довольным. – Что-то еще?

Дон Кихот поднял руку, беря слово и привлекая внимание. Он начал говорить, но что он говорил, было совершенно непонятно. Слова застревали в нечесаной бороде, комкались, скручивались и всасывались со вздохом обратно в Дон Кихота. В конце концов он тряхнул головой, сел на место и потянулся за сахаром...

– Спасибо, Лев Дмитриевич, вы, как всегда, лаконичны и точны, – поблагодарил Председатель. – Предлагаю двигаться дальше. Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня день рождения Джона Стюарта Милля!

Валентина заохала:

– Как я могла позабыть?

– А я не забыл, – со спокойным достоинством заметил Зорге и дал знак Льву Дмитриевичу.

Дон Кихот достал из-под стола бутылку.

– Может, сначала закончим с делами, – насутился Председатель. – Что у нас с манифестом?

– На доработке, – пояснила Валентина.

– Ну что, работаем дальше или по пять капель за Милля?

– Что-что? – переспросил Дон Кихот, занятый рассматриванием изгибов Мадам-Бронепоезд.

– Предлагаю пойти на компромисс, – объяснил Председатель. – Кто «за»?

– Я против, – Икар решил, что на голосование поставлена Валентина.

– Четыре голоса «за», один «против». Пьем, – провозгласил Михал Михалыч.

Подпольщики выпили, все, кроме Икара, кто из чайной кружки, кто из кофейной. Закусить было нечем, поэтому они захмелели быстро и заговорили одновременно.

– К нам не идет молодежь, – пожаловался Председатель.

– Михал Михалыч, – с материнской ноткой в голосе протянула Валентина, – их интересует джинсы и жвачка. А либеральные идеи им чужды.

– Но чтобы в одной колонне с левыми – никогда, – добавил Зорге.

– Мы за эволюционный путь, – подтвердил Председатель.

– Да-да.

– Да-да-да.

– А знаете, когда-нибудь этот подвал станет музеем.

– Михал Михалыч, вы в этом уверены?

– Более чем!

– И здесь будут стоять пять наших бронзовых бюстов, – Зорге ударил кулаком по столу.

– А где будем мы?

Икар небезосновательно считал себя убежденным человеком и носителем прогресса, но сейчас большая и мягкая грудь Валентины волновала его значительно больше, нежели всеобщая либерализация, процветание и свобода. Сейчас материя Валентины порождала его сознание, и более ничего.

Как будто почувствовав его мысли, Валентина спросила:

– Икар! Кажется, вы что-то хотели сказать?

– Да. Я хочу. Я очень хочу, – он остановился, покраснел и начал говорить быстро и сбивчиво:

– Я хочу сказать, что пора заканчивать с пьянством и бюрократией. Мы сидим здесь как мыши. Бумажки перебираем. Работать нам нужно.

– Какое работать, дорогой мой господин Комаров! Уже двадцать один час тридцать минут, мы и так пересидели регламент, – Председатель потянулся к Икару.

Икар отпрянул, Михал Михалыч шатнулся и прилип лицом к плакату с надписью «Позор!».

Повидавший на своем веку многое Зорге не растерялся и быстро скомандовал:

– Расходимся по одному. Первыми выходите вы, Председатель.

– Почему я?

– Потому что вы неприметный.

– Я неприметный, а вы?

– Господа не надо ссориться, – встала между мужчинами Валентина.

– Хорошо, пойду я, – Зорге натянул на голову клетчатую кепку так низко, что козырек скрыл глаза, и исчез в проходе.

– Мне кажется, что он провокатор, – Председатель обвел взглядом оставшихся.

– Может быть, – согласилась Валентина.

– Михал Михалыч, – пьяный Дон Кихот разговаривал более внятно, чем трезвый, – теперь ваша очередь.

– Не поминайте лихом! – Михал Михалыч шагнул в темноту.

Валентина пристально посмотрела на Льва Дмитриевича:

– Он тоже провокатор?

– Не исключено, но дело не в этом. Я просто хотел посидеть с вами еще немного – у меня с собой есть бутылка живого пива.

– Живого? – Мадам-Бронепоезд застенчиво улыбнулась.

– А потом махнем в баню, – вступил в разговор Икар.

– Втроем? – Валентина тяжело задышала.

– Со мной, – Икар сделал шаг вперед.

– Сначала проголосуем, – нашелся Лев Дмитриевич. – Тайным голосованием.

Они написали о своем решении на использованных салфетках и предоставили огласить результат Валентине.

– Один «за», один воздержался, – глаза Мадам-Бронепоезд стали непривычно большими. –

Решение не принято.

– Ну что же, – подытожил Икар, – тогда расходимся в разные стороны. Выходим по одному.

– Да, – согласился Кихот, – только ты иди первый.

– Почему я?

– Я воздержался, а ты был за баню, – он куснул ус несколько нервно. – Вот и иди в свою баню.

А мы...

– Порисуем еще плакаты, – нашлась Валентина.

– Ах вот значит как! – Икар впервые пожалел, что у него нет револьвера, но потом вспомнил, что он за ненасильственный путь развития, и, сорвав со стены плакат «Через свободу – к процветанию и обратно!», растоптал его рифленой подошвой ботинка, а затем бросился вон из помещения.

Он шагал по зимним кислотным лужам и с горечью думал то о том, как он ошибся в товарище Валентине, то о том, что в этой стране либеральным идеям не суждено осуществиться.

На вопрос прохожего: «Который час?» – он ответил:

– Никогда и нигде.

Михаил ОКУНЬ

Литературное собрание

Благостно кивающие седые головки,
юные пытливые взгляды.
Писательшаргунов, смелый и ловкий,
Безруков-актёр рядом.

Главная вдова стала деятельницей крупной,
говорит весомо и сердито.
(О той, которая с А.И. горе мыкала купно,
начисто забыто.)

Потомок Дмитрий водил трамваи по Достоевским местам,
а теперь на сцене, как на блюде.
Был в Баден-Бадене, шпилил по системе прадеда там.
«Бедные люди»!

Один выдумал «бронзовый век» поэзии
(имея в виду андеграунд 60-х),
определил себя одной из его «крупнейших фигур»
и всячески обсасывает тему.
Другой самоназначился летописцем
московской поэтической группы 70-х
(мол, если не я, то кто?)
и регулярно разрождается публикациями о ней,
наполненными одной и той же жвачкой.
Третий основал и возглавил «поэтическую школу»
с невнятным названием, и кроме названия,
ничем от других подобных «школ» не отличающуюся.
Четвертый издает литературные журналы,
в которых, естественно, сам и публикуется.
Пятая входит в редколлегии,

Михаил Окунь родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина). Работал радиоинженером, литературным консультантом в ленинградской писательской организации СП СССР, редактором. Автор семи сборников стихов и двух книг прозы. Публикации в журналах «Волга», «Звезда», «Урал», «Нева», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Зинзивер», а также в альманахах, антологиях в России, Германии, США, Финляндии. Лауреат премии журнала «Урал» (2006) в номинации «Поэзия». Золотая медаль конкурса «Лучшая книга года – 2010» (Берлин) в номинации «Малая проза». С 2002 года живет в Германии.

состоит в жюри фестивалей,
заседает в различных комиссиях.
Шестые тесно сплотились в единый коллектив
и вербуют в него новых adeptов.
И лишь седьмой вполне счастлив –
он одинок на своём пути и велик
(так, во всяком случае, говорит ему жена).

АРБАЙТ МАХТ ФРАЙ

Он играет на игровом автомате в кафе.
Сзади его большие рыхлые уши
похожи на плоские котлеты гамбургера.
Впрочем, котлеты с торчащими из них волосками –
это омерзительно.
Для своего возраста он слишком азартен.
Четыре вишенки кряду никак не выпадают,
и он сердится.
Под рукой у него кружка баварского «Эдельштофа».

Позже его арестовала полиция –
он оказался охранником Освенцима,
хотя утверждал, что был всего лишь поваром.
В списке самых разыскиваемых нацистских преступников
он занимал место под номером 4.
Литовец из отряда СС «Мёртвая голова», 93 года,
город Аален, Германия.

Игорь БОБЫРЕВ

и ничто другое не имеет подобия
камень потому что он камень
ветер потому что он дует
а слова потому что волшебны

Игорь Бобырев родился в 1985 году в Донецке. В 2007 году окончил исторический факультет Донецкого национального университета. Публикации в журналах «Арион», «Новая Юность», «Волга-XXI век», «Нева», «Волга», «Дети Ра» «@ююз писателей» и «Митин журнал», в сети («Полутона», «Мегалит», «Середина мира» и др.).

Три стихотворения

спи говорит душа спарта
если хочешь богом проснешься
если нет то простым солдатом
будешь в поле ступать
попирать могучие скалы

и звезда за окном сияет
пока ночь не свернулась
хочешь я козой стану
буду дуть тебе в ухо

Наталья ЧЕРНЫХ

Предуведомление к чтению. *Три стихотворения в стиле догма. Догма – стиль кинематографа, очень популярный в начале двухтысячных. Сочетает в себе элементы любительской съёмки, телепостановки и триллера. В догме важна операторская работа и сюжет – иначе эта мозаика может рассыпаться.*

В стихах догма – сочетание элементов разговорной речи (они всегда были очень важны для стихотворения, но менялось их качество), нарратива (элементы баллады, жанра «песни в дорогу») и неожиданных приёмов записи. Знаки препинания в догме – стенография операторской работы.

Герцогиня Мальфи

догма

К фильму 1973

Что тебе стоит сказать, что ты никого не любишь – а только одно лицемерие...

не молода и не красива, как продолжаешь...

твоя личная жизнь – дело Венеции и твоих братьев;
сказали тебе – будь нашей

но его посвятили недавно, знаешь...

Наталья Черных родилась в 1969 году в Челябинске-65, ныне Озерск. Училась во Львове и в Москве. С 1987 года живет в Москве. В 2001 году – победитель Филаретовского конкурса религиозной поэзии. Куратор поэтического интернет-проекта «На середине мира». Автор восьми поэтических сборников. Публикации в журналах «НЛО», «Новый мир» «Сююз Писателей», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2009 года (стихи, проза, критика).

не любишь Антонио...
(Развратна и подла, что твой Шекспир, а говорит о божьем оке!)

...о кинжале и подписях в защиту размокших камней?

о достоинстве и смерти второго мужа, о согласии на неё?

о долгах? о банках, в которых оплачиваю своим именем ваши счета?

моя красота – дело Венеции, но моя личная жизнь – дело только той, что перед вами.

Не хочу вас. Хочу Антонио. Вас накажет кроткая мадонна.
Её казнь будет страшней церковного суда.

Животное, голос гиены. Сестра, на горе! Лжешь, что ничего не боишься.
Венеция не выздоравливает. Люди здесь – мухами в пахнувшей хлоркой воде,
обезличившей тело священного города. Ты пошлая как торговка –
торговки бывают вежливыми

(но с какой резкостью, рождающей электричество,
и зачем задавать всё время нерешаемые вопросы?
...при перемене ветра мгновенно рассыпается семья)...

Вас породили три вещи (как всё, что с грехопадения сотворил человек):
секс, болезни и смерть. Ни власть и ни деньги с ними спорить не станут – бояться.
Больше ничем ответить вам не могу и денег не дам.
Мне говорить бы заумно, но эти квинты опустошили язык фей

теперь мерзко вспомнить его...

Но мужа любила. Люблю и Антонио.

Когда мир затрещал... Венеция, утомившись, чело опустила в воду...
(ложь, что не любишь, вдруг обернулась – лицо Антонио)

яростное солнце воскресения стали называть возрождением

рушится мир, а в тебе всё та же гнилая антика

наш дож... наша правда... смелость... умеренный героизм...
...последовательное выведение себя из контекста канцоны...

новые зубы... и новый язык... и множество языков...

любовь-ненависть и (анахронично) – их Достоевский...

да и всё, что читают они... и другие... и выборы... и премиальный – как он называется...
счёт обезличен... но яркое солнце во тьме карнавала, но маски, туристы и...
этот торжественный выход лучшей из женщин – Венеции...

переводом...

Довольно. В этой смеси слов нет ничего кроме вас. Лучше несите верёвку –
плебейство не даст жемчугов... (имеет ли смысл ваш код? декодирован мной,
исключая все мерзкие ваши кумиры – декодирован просто как код...
...о том, что закончился мир? о том, что всё плохо и ничего дальше не будет?)
Нет, не верёвку – платок. Шёлковый тонкий платок... Антонио... дети... вспухшие ваши тела...

Так вы говорите, что я хороша, а играть не умею? Пора. Герцогиня Мальфи ещё здесь.

Но вы будете время тянуть. Вы боитесь, что Мальфи вернётся...

...Это всё, что мы видели в ней?..

Забыты авторство трагедии и фильм.
Корнель ушёл, оставив нам Расина,
им тесно в коридорах новой догмы.

Лишь лай собаки сытой за окном,
Да это золотое нездоровье.

...

Ну что ты, зверь. Идём скорей гулять.

Нам не покажут герцогиню Мальфи.

А мне б история эта послужила бы хорошим желчегонным.

Пондишери

...Сказал – будьте как волны...
...каждый – волна...
кто? почему? чтобы волны? итого? смысл?

качки не вынести – да и зачем...
не затем сюда, не ради обновления или совершенства; никаких но...
качки не вынести... и наконец...

океан, океан, океан...

ещё недели две. В груди есть свиток; всё туже,
рука сильна и холодна...
...ответ сердца на плавное выпрямление пространства...

зачем сворачивать – скручено так, что...
зрочок на обратной стороне точки...
...такого можно написать полный трюм...
трюм остался...

...не вспоминать чужое...
...не уходить в некромантию...
...не подвести романтизм...

Вот порт.

Толпа маррутов играет с солнцем, сома дремлет в ожидании апрельской луны.
...перед вхождением солнца в знак овна...
не всё предсказуемо... как и не всё внезапно...
...мучительно сладко видеть портовый базар...

Ещё не жара... В Пондишери быстро темнеет. Швартуется. Долго-долго.
Солдаты – они здесь всегда.

...вдруг навстречу – старуха в застиранной ктанхе...

...весь пряный букет

яркость юного сна

животные маки Бенареса

...превосходящий...

весь образ...

теряет знаки препинания...

Кухулин ходит на берег, братается с Индрой...

...складки лёгких тканей исчезли за довольно высокой оградой...

...рыжеватая корова смотрит на дверь
долго, долго и долго...

– Ватсон, помните этот лондонский адрес?

Я проверял вас. Это чужая память. Дайте ей сна.
Начинается пасха.

Штирлиц в Берне

Стекло конечно смягчает звуки – а их бы одни и слушать.
Садитесь, конспирология. Что будете пить и кушать?
Эта песенка – здесь не к месту, но хороша,
(вы уверены, что позавтракали нормально?)
кофе напоминает берлинскую ночь

кофе, сентиментально
(со сливками и корицей)

Но какие мягкие лица.
Как будто война не идёт по судьбам,
и лучше не думать, что дома.
Лицо-судьба: чуть зеркало влево,
кривится чуткое отраженье.

Непафосно – лучше. Густая река счастья
внезапна – и вдруг уносит в ветвистое устье,
а считалось, что эта река идёт к истокам.

Не то, что в Берне и дома – люди.
Они клубятся в одном вагоне,
а это, помню, тесно и даже страшно.

Лица. Девушка с простуженным носом.
Но эти лица не в Берне.
Плывут. Смотрят. Надеются.
Слышу голос вагона за две улицы.

Звуки вышли из-за стекла –
рельсы мебиуса.

Сейчас их затмил хорал медицинской кареты.
Бензина хватит всем и всегда.
Пирамиды, бензин, о бензине

Мадемуазель, вымыть бы потолок –
здесь его побелили совсем недавно.
Окна – конечно же на восток.
Забавно.

Лица плывут. Такие же, как и дома.
Но здесь весна наступает раньше.

Пара дней отдыха, может быть, две недели.
Тонны головолома.

Но отдых вреден.
Ладно, поехали дальше.

Дома всё то же, что здесь –
жилплощадь, продукты, отношение к жизни

надо бы установить...

Но если снять этот нежный весенний панцирь,
почему-то очень захочется пить

молока; без документов, границ и наций.

Да, отдых убьёт все способности к выживанию.

А спать надо просто – ложиться спать.
Вот автозаправка.
Вход в новый виток мироздания.

Мне не забыть этой весны.

А зачем забывать?

Это кино о том новом – сон о сейчас.
О тоннах нового. Тоннах головолома.

О том, как иду и ищу кого-то из нас.
Вижу – книжный киоск. Идиот. Обломов.

Да, и ещё дождик. Нарастает.
Что-то переменялось.
Что-то вдруг и очень переменялось.

Вороника ВОЛКОВА

и вот лежишь
в необъятной авоське
проваливаешься – головой. ногой

Вороника Волкова родилась в 1979 году в Костроме. Окончила Московский Литературный институт им. Горького в 2004 году. Работала флористом, чайным мастером, дизайнером открыток, лаборантом. Живет в Костроме.

то одной. то другой
колышешься –
потому что идёт
тот. кто несёт
прислушиваешься к любому звуку
знаешь – он может просунуть руку
достать тебя. изогнувшуюся вопросом
взять за пазуху
мира. рубахи. носа
или откинуть
на обочину пути
улавливая

Сказки

...чтобы няня-усатка, кроватка:
– Спи, касатик, я тоже касатка,
я качаю бессновность морей.

Колыбельная мне –
корабельная,
сказка – ложь, обмани же скорей,
усыпи меня, добрый Корней!
И хохочет,
и густо бормочет:
– ах-болит ах-федорина-лень
ах под сердцем шалит бармалей...

Укорняюсь, удесятеряюсь,
расширяясь, душа, болевей, –
как темно в светлой Трое Елене,
пал Кухулин, плавучий Орфей –
словно остров поющий – по Лене,
по Байкалу, по Стиксу, по мне,
по воде, в дальних странах бегучей,
по крови, в узких венах кипучей,
вдоль звоночных подкожных камней,
где плутает Царевич-Сергей,
по тропинке вдоль сердца, опасной –
до избушки, где бабой ягастой
в сон дремучий впадаю. В тайге –
тихо-тихо, и слышно – от ягод,
травы в полночь ложатся, и ягель
мягко стелет пришельцу постель.

И качает мою канитель –
словом в горле и кровью в поэме –
в тёмном платье усатое время.

Три стихотворения

по земле по моей
горячей горячей
босиком подпрыгивая
упасть и слушать
треск речей
в траве – жуки, жужелицы, жженье
под землёй – секретники, детские могилки
в страницах от «мурзилки»:
птичка крот-комочек
мышка-серый-клубочек –
рукой заботливой и вечно тихо-спят
в корнях укрыты с головы до пят

там под землёй
перегнутой
перезной
перегон древесные соки –
дуб высокий
свешиваться с ветки перегибаться до травы
не жалеть головы
ударить по воде с размаши
переплавать – синие губы мурашки
перезагорать – на-земле-на-горячей лежать ничего не знать...
по-детски по-королевски
земля мать круглая как живот
скатиться просто
вот-вот –
в траву в крапиву в жгучее детство
и никуда...
деться

Мария МАЛИНОВСКАЯ

Я же была пироманкой – божественного огня...
Ты на меня смотрел сквозь стёклышко из угла.
Тело вжимали в пол три выдубленных ремня.
Я себя славно жгла, я себя славно жгла!
Ты стёклышко опускал, записывал за столом

Мария Малиновская родилась в г. Гомеле (Беларусь) в 1994 году. Студентка Литературного института им. А. М. Горького. Публиковалась в журналах «Юность», «День и ночь», «Новая юность», «Дети Ра», «Зинзивер» и других изданиях. Автор сборника стихов «Гореальность» (М., 2013).

Со слуха мои стихи, молча рыдал в кулак.
Музыка эта была – сущий металлолом.
После давал листки, дверь открывал: «Всех благ».
Что же там было с тобой? Что же там было с тобой?!
Не было сил подсмотреть – еле плелась домой.
Позже узнала, что ты занимался фигурной резьбой
По телу, для прочности раны порой обшивал тесьмой.
Мне об этом сказали врачи, кто вызвал – понять не могу.
За год без тебя сгорели амбары и сеновал.
Я извивалась, тёрлась спиной в подожжённом стогу.
Ты меня с пёсией мордой день в день и час в час рисовал.
Дома наплывали на море, так виделось издалека.
Рыбацкие лодки плыли вверх дном – вниз рыбаком.
Будто пейзажную лирику этого уголка
На слух записал Творец, с автором не знаком.
Когда ты вернулся, вырвал из пола все три ремня.
Прикрутил кандалы. Я легла на раскрошенный старый лак.
Сквозь стёкла очков неотрывно, в затылок посмотрел на меня,
Как будто заранее непрекословно желал «всех благ»...

Покатилось, покатилось небо.
Травинки вздыбились твёрдые, твёрдые.
У тьмы круглая голова,
маленькая,
бугристая.
Она торчит над всей тьмой,
над всей.
Рощица уютится с краешку:
вдруг, мол, её не затронет...
Листочки жёлто-зелёные.
Разобщённые руки ищут голову,
со склона земли
машут одеревенелыми кистями.
Рот большой, раскрытый,
словно карьер заброшенный.
Тянет шею, по-бычьему ревёт
каждая полость во мне.
Каждый орган мой – жаба,
они разбрелись и уплыли.
Каждый помысел – рыба,
их ровные грядки к небу хвостами
серебрятся,
желтоватым отблёскивая.
Спину прорезают и скрываются
плавники акульки,

живот разгребают утиные лапки.
На всю себя
от колен до подкорки
ощущаю чужого ребёнка,
представляю как выдру
с поджатыми лапками
и зубами бобра,
зародыш в цвет реки.
Не вижу его,
Не могу его видеть.
Кто-то обрисовал чёрным мой контур.
Он болит,
так болит.
Отстранилась судьба,
защищается белой ладонью.
Мне пришивают голову,
которую отрывает каждый такой подселенец.
Он выламывает руки,
ноги сгибает в обратную сторону
и смеётся, склонив большое-большое игривое лицо,
которое не имею права увидеть,
пока он лежит во мне
и плещется...
Надгробие – пирс, далеко уходящий.
Головой в открытое море все лягут.
А пока идут к изголовьям
босыми светловолосыми мальчиками.
Утро превращается в голый щебет,
бегущий крабьей стайкой.
Ночь – в крик.
Крик загустевает в груди, плечах,
под ребрами
и остывает.
На коченеющих ногах
и локтях летучей мыши
привстаёт из меня
нечто необозримое,
как мир под небесным веком.

Я заблудилась в высоких колосьях,
Точно дорога в колёсах-полозьях,
В чьих-то единственных в мире шагах...
Пьётся мне только из милого следа –
Стать бы дорогой с колосьями света,
Чтобы плашмя простереться в ногах.

Купол поехал, оплавилось золото,
В слёзы, как вдребезги, ярость раскола.
Нет, не в скитаниях – в остолбенении
Я заблудилась, клонюсь, ослеплённая, –
Это последняя кротость влюблённая
И завершающий акт поклонения.

День рассыпается в ясном помоле,
Вновь золотится пречистое поле.
Кротость последнюю в землю отдам.
Тронута светом, навеки, без срока
Поступью женской уходит дорога,
Вдаль – по единственно милым следам...

Саша МИНДОРИАНИ

НАДБАВКА ЗА СЕВЕР

Лабытнанги – это уже заполярье, по-хантыйски «лапыт» и «нангк» значит Семь Лиственниц. Папа Тамаре рассказывал, как в стародавние времена не погребали покойников, не жгли их тела, а укладывали в выдолбленный ствол дерева, как в лодочку, и колыбель такую потом вязали к лиственнице, к высоким веткам. А Тамара – имя южное, значит инжир и финики. Как девочка родилась, не могли ей всё имя дать, а как выбрали через два с лишним месяца – поехали в загс регистрировать – Тамару Романовну Травкину. Ездил папка, на пьяных радостях записал не октябрьской, а декабрьской, весело приговаривал, что спасибо дочура скажет: на два с лишним месяца моложе теперь. А мама вздыхала: «Ах... скажет... когда на пенсию на два с лишним месяца позже пойдёт». Тамаре теперь девятнадцать, но книжки трудовой нет пока: Тамара козье молоко везёт из посёлка Харп, по-русски – Северное сияние, там живёт её бабушка, а у бабушки – Мальвина, Люба и Розочка – козы с бубенцами нашейными и кислящим, пушистым запахом; молочко Тамара продаст в Лабытнангах, а в холода его возит не банками, а замороженными кругами белыми. Самое вкусное на молочных кругах – ледяная корочка сливок, Тамара каждый кружок лизнёт тишком, чтоб на удачу, чтоб раскупили скорее. Деньги Тамара собирает, чтобы ехать скорым фирменным поездом № 21 с красивым могучим именем – «Полярная стрела». Поезд следует до большого-большого города, где за ночью растекается день, а за днём расстилается ночь.

В Лабытнангах полярной ночи нет, значит, не стоят рядом с цветками в горшках и вазонах лампы дневного света и нет здесь северного сияния. А полярный день есть: тогда солнце всё ходит и ходит над горизонтом. Бывает, всю ночь светит солнце, а на утро всё небо хмурится и до ночи моросит. Не по душе Тамаре полярный день – не нравится ей любиться с мужчиной при свете, вот и радуется, если видит, что окно по периметру в гвоздиках – можно пледом завесить. Тамара и когда голенькая пахнет мокрой шубкой своей – искусственный чёрный с просинью мех за годы и стирки сделался васильковым, на солнце искрится пепельным. Здесь, на Севере, говорит Тамара, на утопших мужчины похожи, точно их холодным течением на самую кромку жизни бросило: водянисты глаза, мучнисты щёки, седина в бороду – бес – на печку. Тамара верила, что там, в большом-большом городе, мужчины, как мех её шубки, с годами только нарядней делаются. Тамара знает, что секрет её длинных волос в малом росте и что душа мужчины селится в волосах его женщины. В больших и путаных волосах Тамары по-доброму уживаются две лабытнангских души: кинемеханика и переводчика. Она хотела просить их дарить сапожки, но не девичьи, а для отца, когда тот маленьким был. Тамара папку сильно-сильно любит: он мечтает о суде на воздушной подушке и бабочек под стеклом собирает. Тамара б за такого спряталась и жила б тихо-тихо, вот только мамка тихо жить не умеет и всё руки заламывает, будто северные надбавки на блядей спускает, будто таскается... Чепуха! Папкин бес тоже ведь – на печи, вот только с бутылью. А бутылль всему и виной: папка вылакал раз под сурдинку – поллитровка в виде изгибистой скрипки, коньяк – подарок заморской родни, и был мамой в серванте храним, красивый, чтоб передаривать;

Саша Миндориани о себе: «Родилась в 1990 году в Кишинёве, учусь в МПГУ, очень свой вуз люблю, особенно дорог Сорокин Владимир Борисович, он у нас устное народное творчество и литературное краеведение преподавал; дорогие сердцу авторы – Иван Сергеевич Шмелёв, Николай Семёнович Лесков, Андрей Платонов тоже, а из современности любимый писатель и чудесный друг – Денис Осокин; мечтаю путешествовать по местам с ласковыми именами, о которых пишу с большой нежностью, но в которых пока не бывала».

папка выкушал – стеклянную скрипку порожнюю разбивал во хмелю – мамка верила, что не бил, сам не пил, а дарил коньяк пролетающей бляди, с того дня говорила о папе, кривя губки: «Этот скрипач...»

А Тамара слыхала про заклятие на спирт, будто надо ребёночка в человеке задобрить, и тогда не станет больше хлебать. Ребёночек в каждом есть, а во многих – разобитенный, вот и нужно знать, в чём обида его, чтоб умаслить. Так Тамара брала фотографию папкину детскую: этот Ромка улыбался немного хитренько, оголяя зубы шербатые, рассказал прямо так, с фотографии, как ботиночек не было, надевал своей мамки сапожки, а дорогою в школу всё лужи искал, шёл по ним – так оно неприметней другим, что сапожки для взрослых и женские. Всё хотела просить переводчица или киномеханика покупать ей ботиночки мальчишковые и водки, которая подороже, – это чтоб её заливать в ботиночки, прямо внутрь, – так заклятие спиртовое с папки смоеется. Только киномеханик с переводчиком, как мыши церковные, – так бедны, но зато интересным Тамару кормят: от киномеханика знала, что по-русски Аки Каурисмяки умеет только фразу сказать: «В детстве жизнь Максима Горького была очень тяжёлой», – а переводчик рассказывал: «Иногда читаешь перевод на манер поморской говори, и сразу видно – хорошо устроена фраза или плохо».

Тамарин папка всё мечтает о судне на воздушной подушке, чтобы с рёвом над Обью нестись, над её берегами сонными, и с надбавок северных копит, чтоб мечту сбывать. С козьего молока – кругами и банками – Тамара насобирала тихонько денежку, теперь катится «Полярной стрелой» из полярного лабытнангского дня в большой город, прямо в ночь его, – а купе до Ухты пустое совсем, в Ухте сел мужчина, угощает Тамару конфетами, на блестящих обёртках иностранным написано, и Тамара думает, жмурясь от вкусного, что такие конфеты могли бы называться «Стратосфера» или «Полёт». Мужчина кормит Тамару конфетами и любитесь зовёт: а Тамара смотрит, есть ли гвоздики на окне, по периметру, чтобы пледом завесить... хоть полярный день позади, хоть на рельсах и шпалах ночь лежит, но в Тамаре скучный страх заныл, занавесочками окно прикрыла – они чистые, и олени вышиты – и расплакалась.

– Ты по какому вопросу плачешь? – по-доброму говорит мужчина.

Тамара – красавица: особый загар белой кожи – от сияний полярных, от холодных звёзд – а там, где трусики, под ними, кожа блее белого, блее замёрзших кругов молока трёх козочек; на бёдрах, на внутренней стороне, на кипенной нежной коже чернеют родинки двумя смоляными каплями, точно ягодки голубики топяной – Тамара зачем-то стыдилась до слёз этих родинок и платьиц коротких не надевала. В большом-большом городе нравится Тамаре: она мастериц веночки из цветиков неживых, чтоб модницы в волосах носили. А Тамары волосы не собраны, и пряди на личико падают, глаза застилают, и вспоминает тогда киномеханика, и переводчица помнит тоже. За Тамарой мужчина ухаживает: старый почти, а нарядный. А зимой Тамара мехом запахла, но не синим с искоркой, а настоящим, куньим – запахла влажно и зверовато – и только больше хотелось её целовать, туда особенно, где смоляные родинки. Ухажёра хотела просить дарить ещё и ботиночки, но не девичьи, а папе чтоб, только размеров на десять меньше его сорок пятого. Ходила в обувную лавку – приглядывалась, а продавщица совоокая её вела зачем-то к туфелькам и голоском баюкальным зазаклинала: «Лакированная ко-о-ожа, окрас – гнилая ви-и-ишня, стелечка сохранит прохладу и све-е-ежесть, каблучок изящен, так то-о-онок, обшит л-а-а-асковой замшей». Тамарка-дура не помнит, как не ботиночки папке – себе каблучки просила. Дождалась, чтоб тепло, ходит в туфельках красных по мягкой земле и по травам, и крапивою лодыжки тонкие жгла первый в жизни раз – хохочет, а от мамы послание – на экранчике телефона светится: «Папка умер». На какой манер ни читай – плохо фраза устроена, без пощады. Тамара мокрое, в слезах-горошинах, личико обтирает волосами своими огромными и пушистыми, зачем-то помнит теперь, как переводчик рассказывал: есть у французов иносказание, чтобы шадить: «Он теперь ест одуванчики от корешков».

В Лабытнангах не растёт ни инжир, ни финики, и одуванчиков нет пока, хоть лето и день полярный. Обь только вскрылась. Тамаркин папа сон непробудный смотрит: снова он Ромка Травкин, совсем мальчонка, и в мамкиных сапогах, внутри стоптанных, и несёт его судно на подушке

воздушной над Обью, над её берегами нежными, и ревьёт судно весело-весело, а по левому берегу – Семь Лиственниц, и на каждой – по Ангелу: лижут корочку молочных кругов мороженных и от вкусного жмурятся, добрые.

БУСУЙОК ЛА МОАРТЕ ¹

песни-радости
(*быль*)

У красивой Виринеи редкое совсем имя. Сашей зовут часто-часто мужчину. А Виринея читала, будто в яблоке делается надрез, вкладывают в него фотографию мил-сердечного, такое яблочко тишком мертвецу под подушку суют, оно будет гнить-подгнивать под землёю с покойником, а дней через сорок, когда плод истлеет совсем, околдовываемого, того, что на фото, ноги сами к порогу твоему принесут, потому как без тебя отныне не жить ему, только день ото дня слабеть и хиреть. «Виринея» означает «вечноцветущая, всегда молодая», а он, Саша, старый почти, и так обидел её, дурак. Только главное – не забыть: привораживаемый и мертвяк в гробу должны одним именем зваться! Покойники там поначалу никаких имён, кроме собственного, и не помнят, помыслят-помыслят и всё равно назовут своим именем того, кто на фото. А имя там – как получателя адрес, и если сказано будет неверное – то колдовство не случится. Но Сашей так часто мужчину зовут, даже мёртвого.

Наутро Виринея брала в супермаркете два больших тёмных, карминных яблока в форме сердца – сорт «ред делишес». Шла через парк к «Танатологическому отделению № 2», грызла первое – кожа тугая, блестит вся, переливается, а внутри нежно-сладкая мякоть хрустит. Грызла яро, всё смотрела на захваченную с собой Сашину фотографию. У входа в морг Виринею ждала подруга Анна, тоненькая, в белом халате, затягивалась сигаретой глубоконочко, а между затяжками откусывала от сайки с маком и сахаром. Анна студентка первого медицинского и подрабатывает санитаркой в здешнем танатологическом отделении.

– Ох, Нейка, ну ты везучая! Сегодня упаковываем двух Александров!

– А которого выбрать, Анют?..

– Ох... ну один-то подснежник, и душа его, может, давно уже отошла... с ним – рискованно.

– Это как это так – подснежник?

– Снег сошёл, тут и тело... с зимы.

– Нет-нет-нет, не рассказывай!

– Ладушки. Значит, с Сашей другим. Ну давай!

– Только Ань, без обид, но ты руки вымой сначала. А то на яблочке останется запах твоего табака, и вдруг покойник побрезгует, – надрезала фрукт сердцевидный, тут же ножничками маникюрными обкромсала Сашину фотографию так, что только голова оставалась, широко улыбающаяся, на шее, вложила портрет этот в яблоко, а яблоко бросала в пакет полиэтиленовый и подруге протягивала.

Ночью в сон к Виринее покойник зашёл. Представился: Бусуйок Александру из села Бутучень, плотник. Спрашивал, к кому было пожаловал.

– Нея я.

– Ну вот я про яблоко-то... я ж яблоки, домнишоаро², не любил никогда! Вот груши! У меня дома, в Молдавии, знаешь, какое дерево грушевое растёт во дворе! Ооо... А квас-то, квас на грушах пила? Яблочный с ним ни в какое сравнение не полезет!

– Нет-нет, вот не надо, Вы мне не рассказывайте! Завтра будний день, мне на учёбу, я должна

¹ Бусуйок ла моарте (рум. busuioc la moarte) – базилик на смерть; из стихотворения «Базилик на рождение» («Busuioc la naștere») автор – Василе Романчук.

² домнишоаро (рум. domnișoaro) – обращение к девушке.

выспаться! И Вы отдохайте! Вам, наверное, по родным ещё надо пройтись, и там в яблочке фотография, вот к нему, хотите – пожалуйста...

– Э-эх... – махнул рукой Бусуйок Александру. – Городские!..

К сыну в сон идти не хотелось: сын, Валериу, сегодня устал совсем. Но скоро Александру придёт к нему в сновидение, скажет доброму сыну не терзаться тем, что не смог его хоронить на родной земле, в молдавском селе Бутучень Оргеевского района. То село лежит в петле Рэута – змеистой весёлой реки. А той ночью, когда Виринея выслушать не хотела о нежной привязанности Александру к любимому дереву – груше, когда не желал Александру тревожить и без того рыхлый сон сыновий, что ж было делать ему? Он отправился к Саше, который на фото в яблочке улыбался вирирь и как-то даже немного хитренько.

– Ты пойми, Александр, этих яблоч я столько перевидал! А это что же – блестит, будто воском натёртое, я вот надкусил – хрустнуло, как капуста квашеная, а за хрустом этим вкуса даже не слышать. Разве то яблоко?! Вот у меня симиренки, знаешь, какие были! Яблочко легонько должно хрустеть, негрубо... деликатно!

Саша улыбался в ответ, но не так, как на фото, где зубы он оголял, будто остерегал: «Могу яблочко ваше сгрызть прямо так, изнутри, как червь». Улыбался теперь закрытой добродушной улыбкой, думал мирно: «Хоть во сне отдохну от баб!» Раньше женщины, которых была у него тьма тьмушая, разливанное море, и во сне не давали покоя. А тут славный старик забрёл, Бусуйок Александру, и запел ему живые песни о яблоках. Только вскорости Саша узнал: с роду дед равнодушен был к этим плодам, но растил деревца на совесть, в плетушки фрукты ссыпал, когда созревали, на рынок носил. Толк в них знал, только сам-то груши любил:

– Я той, которой яблочко было, сказал, мол, груши люблю. Чего мне яблоко-то зарубежное это передала? А она в ответ: я – не я. Э-эх...

И до сорокового дня по смерти Бусуйка Александру Саша всякую почти ночь, как засыпал, принимался слушать стариковские песни-радости: о любимом грушевом дереве, про Каролинку – слепую корову, которая внимательно поводила ушами нежными, когда вслух газету читал, и про то, какой сын Валериу в детстве был озорник: взять хоть, как стручковую горошину в нос совал, никому не сказал, а горошина росточки скоро дала, и про то говорил, как с зелёными ветрами и запахом лип цветущих приходит в сёла любовь... А Саша всё слушал, улыбался закрытой доброй улыбкой и дышал во сне не размашисто, как тогда, когда девушки по его сновиденьям сплавлялись (счёту девушкам было тем, как плодам, которые с деревец Бусуйок Александру насобирали за жизнь), а неторопко, полегоньку дышал.

Яблочко в форме сердца так под землёй и не сгнило, лежало, будто из воска деланное, всегда молодое. Всё потому, что плод чужеземный, сорт «ред делишес», такие, верно, на химикатах растут – и не гниют, никогда!

Саша сны эти скоро совсем позабыл: снова хлынули жёны, мириады наложниц... Даже имя – Бусуйок Александру – ни о чём бы ему не сказало. Только вот кальвадос в ресторанах отчего-то заказывал теперь грушевый. А не яблочный, какой раньше любил.

ДЕДУШКИНЫ ПЕСНИ

*Ещё летали сны – и, схваченная снами,
Душа молилася неведомым богам.*

В. Соловьёв

муж и жена

Дед сошёл с ума.

– Кують-кують ко-ва-лі, – он постукивает сухими длинными пальцами, сложенными в кулак, по розоватым стопам Альбины. – То вели-кі, то малі! – руки его белые, красивые, но в старческой

грече, а на Альбининых мягоньких плечиках, и на щеках, чуть-чуть ещё на носу рассыпались конопушки-веснянки.

– А ста-рого ко-ва-ля поса-дили на ко-ня!¹ – это ножки девичьи так лечит: разболелись за день, потому что за кошкой, за Маруськой, по дому бегала, и за детками кошки, чтобы шубки и ушки нежные отмывать как-нибудь по-хитрому. Альба (это дед так ласкает её уменьшительно) хоть немая, но шумная-шумная, звонкая. Вот и тут хотела сгущёнку варёную, любимую, есть, только банки взрывались в кастрюле, и вся кухня теперь в золотистой сладости клейкой, и пушистая Манька, и котятки её – Рики, Тики и Тави. Их отмывать – не отмывала, конечно, но места-ми выстригла щёрстку зверятам, оттирала дощатый пол, и стены, и большое окно из пластика – засыпала теперь с устатку.

У деда осколок в лёгком, и всю жизнь, после фронта, забывал воспалённость войны, в стенах храмов, церквушек, часовенок из других осколышей красивое очень складывал: лики тех, которые за кротость особую и незлобие почитаются. А теперь всё твердит, что «закрылась рука». Вроде так бывает с художниками, если не рисовать подолгу. Только он не любит, когда про художества, говорит всегда: «Ремесло...» Хотя в дипломе писано, мол, «художник-мозаичист», сам прозвал себя «мозаистом» (только так, никогда не смягчает). Это, верно, рисуется дед немного...

А по молодости, рассказывает, пижоном ходил: обрезал овчинный тулуп потасканный, чтоб до пояса, чтоб новей смотрелся. Провожал разных-разных, но красивых совсем к общежитиям – и на плечи девичьи тулуп тот набрасывал, как тенёта. А потом случилась с ним Ада: папироски в чашках тушила, прямо так – в желудёвом кофе, над тулупом его смеялась, но любила мозаики дедовы, и сама была какой-то узорной: белой-белой, и под тонкою кипенной кожей нежно-синим венки светились. Он шнурованные ботиночки на пороге ей всё развязывал: лишь бы только уйти не могла! И она говорила, что в самый последний раз, оставалась, и шляпку снимала, с долгих пальцев своих – два колечка, и браслет с запястья такого узенького, изумрудные серьги – так рыцарь снимает латы.

Когда Ада ушла, дед заплакал. А увидеть, как плачет дед – всё равно, что увидеть отца в слезах, даже дважды – небывало. С Адой долго так жили, а теперь она не жила, от старости. Через месяца три после смерти её дед устраивал мокрую чистку: всё водил к себе девушек, разных совсем, не всегда и красивых, а так – незатейных и даже смешных. И как пудру кофейную в парфюмерных лавках вдыхают, чтоб не помнить прошлого аромата, чтоб к очередному принюхаться, так и он отводил глаза к небесам, перед тем, как любился со всякой-всякой.

А к Альбине не мог принюхаться, всё не мог Альбиной налакочиться, говорил: «Пташенятко моё...», – и зажили вдвоём. Деду семьдесят третий шёл, а Альбине – двадцатый год. Жили с радостью и с Марусей, кошкой, – дед ворчал: «Роздавлю, як жабу», – когда Манька ложилась на простыни, васильками расшитые, чтобы с Альбою рядышком спать. Всё дивился: «Молодки белеют в ночи, но не Альба, она – золотистая». А когда в её тело нежное-нежное, мягкое, впадал без памяти, Альба ширила миндалины глаз своих – и от ночи к ночи раскосость травила.

Дед пчелиных укусов не сносит – аллергия смертная. Как-то деда кусали не пчёлы – осы: в ветхой раме окна загнездиться думали, и жужжали-жужжали, а дед не слышал. Альба злилась с большою силою, и ждала-поджидала у гнезда осиною, и ловила в банку стеклянную трёх кусак, их ссыпала живьём в кофемолку-мельницу, всё крутила-вертела ручку – перемалывала. Альба деда любит сильно-пресильно, только дед всё равно ревнует – ноги выше колен расцелует ей, и следы остаются от поцелуев – это мерки теперь для её платьев-юбочек, чтоб коротких не надевала, пташенько.

¹ Кують-кують ковалі, то великі, то малі! А старого коваля посадили на коня! (укр.) – Куют-куют кузнецы, то большие, то малые! А старого кузнеца посадили на коня!

Аделина, бабушка, снится деду всегда-всегда. Говорит ей, как в жизни, как всю их жизнь: «Зозулятко моє...»¹ Ада пудреницу раскроет красивую, глянет в зеркальце и коснётся пуховкой лба молочного, деда спрашивает: «Ну когда же? Когда уже?..» И сидит, как всегда сидела, как даже в ночи спала: нога на ногу – стройные-стройные, и узкой ступою правой оплетает шиколотку другой. Чуть-чуть сгорбится, и ключицы острятся: я была совсем крохой, лето, дача, забиралась к ней на колени худые, ноготками стручки распарывала и зелёный горошек в надключичные ямки сыпала ей – тут же слизывала, и горошек был слаще, мягче, Аде было смешливо, щекотно – она улыбалась немножко. А с какой быстротою колдовала на кухне!.. Будто рук много-много, а видны только две, и всё светятся, когда солнце путается в тоненьких волосках белёсых, отуманивших кожу невидимым бархатом, – я её паучиной красивой-красивой звала, но не вслух. А дед говорил: «Зозуля...» Ада снится и спрашивает: «Когда, Илюшенька?..» Дед вздыхает: «Рука закрылась...» Это он о мозаике – там портрет Аделины, дивный-дивный, но без глаз – дед забросил, и боязно взяться: ноет в грудице.

Альба немая, но слух – музыкальный почти, а сверчки за окном навзрыд орут, голова аж болят. Рассказала деду и просила окна новые ставить, чтоб из пластика, чтоб ни ос, ни сверчков, чтобы тихо жить. Дед сказал: «Хорошо, моя пташенька», – но смеялся: «Откуда сверчков навывдумывала? Сколько лет не слышать их совсем! Пропали куда-то... Раньше так стрекотали, песни пели!..»

Приходил плотник Колька, помогал устанавливать окна новые, хохотал, мол: «Ну, дед Мазай, удумал чего! Помереть под молодкою хошь?!» И на радостях запевал во хмелю Колька-плотник частушкой: «Дорога-ая, дорого-ой, дороги-ие о-оба! Дорога-ая дорого-о-го довела-а до гро-о-ба!»

– А чего маленька така? – спрашивал Колька с акцентом совсем, когда Альба в комнату забежала, чтоб просить деда тряпку отжать: у неё не хватало сил. Это звонкая Альба разбивала банку с вареньем, на которой писано было «журавлина, перетерта з цукром»², и мыла полы теперь.

– Да їсть раз на рік³, як Дюймовочка!

Колька деда по плечу его дюжему хлопнул и выхохотал:

– Як змія!

Альба сладкое сильно-сильно любит, ну а больше всего – червячков желейных – десять штук в упаковке яркой – и конфеты из фруктов сушёных в шоколаде тёмном. А когда дед в кафе водил, то заказывала корзинку-пирожное и воду с сиропом «тархун», газированную. А мороженое не заказывала, потому что в кафе нельзя креманку облизывать. А ещё сильно любит Альбина магазины в переходах подземных, а особенно – церковные лавки, тоже там, под землёю; ну а деду не нравилось – обещал везти её в храм на Пасху и мозаику свою показывать, там и лавка есть.

К Воскресению Светлому Альба красила яйца перепелиные разведённой зелёнкою – выходили камушки бирюзы, точь-в-точь – и пекла куличи с изюмом и с кусочками кураги, поливать их хотела глазурью сахарной, только все куличи осели вдруг, подниматься не стали. Дед газету читал, посмотрел и закрылся снова газетою, и сказал негромко, слышно едва: «Значит, в этом году уйду», – только Альба расслышала. А в Велик День поехали в храм и дед песню запел малоясную, а красивую:

– Видишь Ангелов, Альба? Я их люблю. Здесь ведь главное – не цвета, а природа камней: рисующие – из твёрдых пород, а фоны – из мягких, разница и угадывается. Один и тот же камень я где-то пилил, а где-то – колот по-своему. А когда все камешки одинаковые – тут живости нет, это уже сантехническая работа, не мозаика... Главное – не цвета, а какая-то дисциплина ритма...

Альба слушала сильно-сильно, о конфете своей, «Кураге Петровне», забывала, и та таяла в кулачке девичьем.

¹ зозулятко моє (укр.) – кукушонок мой.

² журавлина, перетерта з цукром (укр.) – клюква, перетёртая с сахаром.

³ їсть раз на рік (укр.) – ест раз в год.

– Понимаешь, в XVII веке мозаика была убита. Убита, да... Тогда организовали Ватиканские мозаичные мастерские и стали в них делать цветные смальты: чтоб имитировать живопись маслом. Тогда мозаика и превратилась в цвет, в рисунок поверхности, но как вещество, как личность камня была убита...

Альба слушала большеглазо совсем и дышала одними вздохами.

– Здесь счастьем было работать!.. Архитектура церкви и без художника наполнена содержанием, сама по себе. Художник – часто препятствие храму, его естественности, организованности. Своды стен и себя держат, и всё пространство, в котором находишься. Но мозаика с теми стенами очень связана: она переживает рёберную мощь стены, выявляет полноту храма, не вносится извне, а родится изнутри. Поначалу впадал в сомнение, что не хватит ни глаз, ни умения, ни дрожи в пальцах... а потом во мне вера началась.

Альба слушала сердцем, и сердечко её скоро-скоро билось, по-птичьи.

– И не было какого-то ёмкого эскиза, а было сосредоточение, когда затылком прочитывал все остальные стены в определённом масштабе и... день за днём организовывалась стена, она шла, как ткот гобелен... складывались Ангелы... Я жил тогда пристеночной жизнью, измерялся вертикалью-горизонталью. И столько радости было!..

Альба слушала слова-травы и смотрела на Ангелов, говорила: «Спасибо Вам, добрые!» Альба знала, что Ангелы берегут и мужчину, и женщину и становятся между теми, кто друг другу не послан, и всю боль на себя принимают и все несмирения. А когда один человек преуготован другому, Ангелы их расступятся, и укроют влюблённых крылами нежными, и уснут с влюблёнными рядышком – как Маруся на простынях спала, васильками расшитых.

бес сна

(песнь последняя)

– Ах... Илюшенька, ну что же... ах... Ты же знаешь, у меня давно уже не было этих женских кровей, не то стала бы я нам стелить всякий день те роскошные простыни! Что же делать теперь?!.. С васильками – любимые же!.. Им же... им цены нет!.. Как ты недоглядел?! Твоя Альба не научена разве?! Есть же вата, и всякие там прокладки, тампоны... Ах!.. – Ада так опечалилась, дед не знал – что ответить ей, только гладил плечо её, белое-белое, но не мягкое – даже костистое. – Откуда запах этот?.. Кислящий... Ты открыл бы хоть окна! Пластиковые – отвратительно!.. Ты же знаешь, как ненавижу весь этот новодел! – Ада снова принялась, дрогнула носом с хребтиной тоненькой. – Я всякий раз этот запах чую, как приплываю в твой сон...

– Альбина волосы в кумысе полощет, прежде чем мыть. Её учили так... для красоты...

Ада молчала, у деда в груди заныло.

– Ну когда же, Илюш? Когда уже, милый?

Дед наутро решался: «Довершу портрет!» Резал камни свои и колот, и осколыши разлетались: «Всё не то-всё не то!» И сказал себе, что пока без сна поживёт: может, Ада о портрете не вспомнит по встрече.

И с ума сошёл:

Повёл Альбу в кафе, и она, как всегда, корзинку брала и «тархун» зелёный. Дед словами стал путаться: просил кофе афроамериканский и киргизские вафли, вместо бельгийских. Можно было смеяться, только Альбе с кожей цвета латуни морозно сделалось. Он глазами замшелыми медленно шёл по листу газетному и в кроссворде вывел по вертикали: «плохо». К той строке внизу был вопрос: «В начале было ...?»

А потом осколок в груди шевельнулся и забрал его жизнь. А Ангелы спали всё, покрывали деда, Альбину крыльями, улыбались светло во сне.

Андрей ПЕРМЯКОВ

У НИХ БЫЛА ПРИКОЛЬНАЯ ЭПОХА

Владимир Губайловский. Учитель цинизма. – М., Эксмо, 2014 г. – 288 стр.

Владимир Губайловский. Точка покоя // Новый мир. – 2014. – № 4.

Анна Сапегина. Природа и вещи: Археологический роман. – СПб.: Свое издательство; М.: Проект Абзац, 2014. – 374 с.

Время появилось совсем недавно. Да, люди, конечно, рождались, строили планы, женились, развлекали себя иным образом, однако всё это свершалось в рамках довольно замкнутой фигуры. Внутри круга, проще говоря. Сама Ойкумена развитию не подлежала. Эпический герой становился образцом для грядущих поколений, и в этом смысле – их современником. Или, если необходимо сказать кратко и на птичьем, то лучше процитировать Лиотара: «Время диегезы, где происходит действие, о котором рассказывается, без какого-либо разрыва сообщается с временем реальной наррации, которая рассказывает об этом действии». Триумф эсхатологических религий для отдельного человека переменял малое: стрела времени направлена в очень абстрактную даль. Нет, бывали периоды острого беспокойства, когда конец мира представлялся совсем близким, но сие имело ещё меньше отношения к феномену коллективной рефлексии. Оттого и Святое семейство в камзолах нидерландского сукна долго не вызывало оторопи у ценителей художеств.

А потом нечто существенное переменялось. Французская ли революция виновата, написанная ли Иммануилом Кантом полувеком прежде неё «Всеобщая естественная история и теория неба», однако время сделалось явным. И, например, роман «Война и мир», начатый в 1860 году о событиях полувековой давности, сразу был романом историческим. Далее время только ускорялось. Вот Георгий Иванов при-

думал художественную прозу «Петербургские зимы» про встречи, происходившие пятнадцать годами ранее. Однако встречи те для него были минувшими очевидно и безнадежно. Бывают совсем удивительные случаи. Марсель Пруст описывал поиски утраченного времени параллельно течению того самого времени, но будто находясь в ином измерении. В сущности, его эпопея и завершила Европу, как концепт эпохи Просвещения.

Так потихоньку и сформулируем проблему: при каких именно обстоятельствах книга о прошедшем идёт по ведомству исторической литературы? Фактическое завершение предыдущей эпохи – условие необходимое, однако недостаточное. Люди порою живут долго. Не все, увы, но к счастью – многие. Кажется, для осознания прошлого именно в качестве прошлого должны завершиться личные гештальты. Не у автора, конечно, – что за дело нам до автора? – но у читателя. Ситуация, тем или иным образом представленная в книге, не должна иметь прямых коннотаций с актуальным способом бытия. Дуэли или долгие путешествия на каравеллах суть вещи интересные, но сейчас (в общем случае) невозможные. И уж точно – служащие одним из худших методов оптимального решения проблем.

Думаю, именно из-за такой вот продлённой актуализации пережитого книги о медленном взрослении в условиях минувшей Империи до определённого момента не воспринимались в качестве исторической литературы. Это относится и к нашумевшей «Трепанации черепа» Сергея Гандлевского, и к парадоксальным образом упущенной критиками «Повести о герое Василии и подвижнице Серафиме» – лучшей на мой вкус книге Нины Горлановой и Вячеслава Букура.

Минуло ещё чуть лет. Появилась новая генерация прозы о студентах и молодых людях времён СССР или мгновенно-постсоветской России. Явление вполне ожидаемое, конечно. Теперь уже и самые абитуриенты последнего года большой страны достигли возраста, когда хочется тщательно посмотреть на былое.

Выделить в общем потоке словесности достойную внимания литературу тоже задача решаемая. Остаётся тот самый частный вопрос: это уже про историю? Это уже почти как Лермонтов про Бородино или ещё нет?

Вот, например, появился роман Владимира Губайловского, названный им «Учитель цинизма». Роман затребовал долгого и многократного прочтения. Так бывает с человеком, заинтересовавшим тебя: вы непременно встречаетесь много раз – вне зависимости от внешних свойств и убеждений того человека. Ещё точнее: хороший роман есть избыточно честный собеседник – выкладывает свои аргументы, приспособляемые к нему, а он тебе только уточнение позиции. Зато уточнение это до самого краешка, раз уж тебе интересно.

Начиная книгу, Губайловский осознавал, наверное, исчерпанность средств выражения. Он ведь сильно прожил ту эпоху. Ту самую-самую, максимально предъявленную на опознание. Нет, правда ведь: каждое из времён русского искусства было ограничено своим языком и своими средствами. Сами знаете: сентиментализм-романтизм-реализм-символизм-декаданс-и т.д. Далее начальство приказало, Максим Горький помог, и стал мир вокруг социалистично-реалистичным. Стиль этот погиб не своей виной, а оттого, что оказался единственно разрешённым. И умер он задолго до смерти Советского Союза. Может, кстати, гибель стиля Союз-то и уволокла... Так вот: именно СССР в годы своей агонии был самой зафиксированной страной в истории. Книги в то время читали и сочиняли, наверное, все. Конкурент тут один – США времён Великой Депрессии, когда их Федеральное правительство давало много средств литераторам, чтоб те не бунтовали, а сочиняли про регионы Америки. Но размер имеет значение, талант имеет значение, технические средства имеют значение, антропология как таковая имеет значение... Короче, о финальных вздохах Советского Союза написали книжки и его адепты, коих осталось немного к 1980-му году, и его враги, обзываемые, например, почвенниками, и его враги, обзываемые, например, западниками, и люди, которым дела до него не было – Веничка Ерофеев, скажем. Стилистическое

разнообразие оказалось почти абсолютным. И фильмов про ту страну наснимали. Добрых и не очень. Но все – за деньги той страны, естественно. Словом, автору, берущемуся за эту тему, предстоит нелёгкий выбор.

Губайловский однозначно и безусловно выбирает как раз кинематографическую эстетику. Роман, состоящий из семидесяти трёх мозаичных, вроде бы, эпизодов сам просится на плёнку, обещая интеллектуальное кино. Не артхаус, оскомину набивший, а именно вот кино для *младших научных сотрудников старшего возраста* – ныне подобных фильмов уже и не делают. Последний, кажется, был снят в 1999 году и назывался «Магнолия». В нём Том Круз играл и Джулианна Мур тоже. Дивное кино, когда цепочки эпизодов, на первый, второй и третий взгляды меж собою не связанных, вдруг образуют симфонию, и ты уже знаешь про жизнь чего-то такое, чего не знал.

Фильм, получив признание критиков и два шкафа фестивальных наград, средь масс успеха не имел, принеся хорошие убытки. Наверное, «Учитель цинизма» тоже бы не оказался блокбастером, однако, посмотрел бы я этот фильм с радостью. Он бы отличался, конечно, посылом от «Магнолии». Та всё же о роли случайности в жизни людей, случайностей пытающихся избежать, а «Учитель» наоборот – о поисках радостей духа в закосневшем мире государственных дрём. Оттого и вмещает «Магнолия» события одного дня, а «Учитель» – довольно многих лет. Но посыл во многом идентичный: как сделать себя несчастным и одиноким, затратив на это максимум усилий. И эстетика сходная. Вот в начале книги первокурсники уныло слушают профессора из предыдущих времён. А он их пугает: мол, не бывать вам чистыми математиками, а придётся идти в программисты. Грустят. И как мы понимаем, детки эти выглядят куда более смешными реликтами, нежели лектор.

Вот лирический герой романа с красиво говорящим другом Аркадием бесчинствуют, совершая поступки, способные сделать их клиентами то ли психиатра, то ли патологоанатома, то ли следователя МУРа. Но всё обходится до поры. Вот опасная и беззаконная любовь. Вот тот же герой, проиграв в карты смешные ныне

и жутковатые тогда пятьдесят рублей и выпив пива на последние, трогательно спрашивает денег с бабушки и мамы. Затем возмещает промотанную сумму двумя ночными сменами на разгрузке свинных туш – очень кинематографичные фактура и текст в этом эпизоде. Тут же следует весьма уместный флешбек в историю родни, где тенями появляются семейство Тухачевского и прочие неординарные люди. Вот возникает, исчезает, возникает опять и уже исчезает окончательно Аполонич – отягощённый математическим образованием художник, похожий на бомжа. Именно он долго кажется тем самым Учителем цинизма, к стати. Вот экран становится чёрным, и мы слушаем плотные разговоры перед сном в обеспокоенной общаге. Голоса студиязусов путаются, сливаясь. Вот... Хотя довольно. Книгу эту надо читать, раз кино не сняли. Она ещё продаётся и в Журнальном зале доступна.

Одно только замечание: фильм, если он, паче чаяния всё ж появится, потребует для себя необыкновенно понимающего оператора. Именно оператора; режиссёрскую работу автор выполнил. Но вот передать дух той эпохи краткими планами, подобными лаконичным же фразам Губайловского, мало кому под силу: «Например: что такое автоматы с газированной водой? Или телефоны-автоматы? Что такое очереди? Как выглядели полукруглые витрины в кондитерском отделе магазина “Продукты” на улице Московской и какие в вазах стояли конфеты? Какой вкус был у тающего эскимо за 11 копеек, которое все время грозило сорваться с палочки и упасть в тротуарную пыль?» Или ещё лапидарнее, о столице Олимпиады-80: «Москва стояла как дура с мытой шей».

А далее проделаем математическое действие: мы всё-таки читаем книгу о буднях мехмата. Вычтем из книги её кинематографическую составляющую. Вот просто всё-всё, чего можно показать на экране. Что останется? Умная проза останется. Вполне, к стати, связная, хотя, казалось бы, изъятие зримого должно разорвать повествование. Но нет. Литературоведческие (блестящие!) или, скажем, околматематические размышления героя вполне соотносимы с финальными этапами его взрос-

ления и пересекающимися кругами интересов. Попробуем ещё раз переменить уровень, выйдя теперь уже и за пределы искусства. Сейчас поясню эту мысль. Читали ведь, как граф Л.Н. Толстой ответил на вопрос заезжего журналиста? Дескать, Анну Каренину нельзя пересказать ни сжато, ни по-французски? Это именно так в смысле романа как литературного факта. Однако вполне можно высказать суть всего творчества классика фразой из его же дневника: «Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал добр, и наоборот». (Мысль не моя, она мне просто нравится).

Так вот: можно ли аналогичным образом сконцентрировать смысл «Учителя цинизма»? Его литературная ценность, повторю, несомненна, но отчего б не попытаться глянуть за пределы этого важного смысла? Думаю, суть будет вот в таком отрывке: «Цинизм – это не книжки. Эта веселая наука пишется кровью и слезами, сульфазинумом и галоперидолом, петлей и бритвой. Истинные адепты этой науки стоят и просят, чтобы им купили бутылку водки, потому что их в магазин не пускают – пахнут они неприятно. Или умирают от инфаркта в больничном коридоре.

Цинизм – это не философия, и именно поэтому это единственная возможная сегодня философия. Когда вскрытие уже все показало.

Не обязательно мастурбировать на Красной площади, не обязательно рисовать член длиной в целый мост... Это – внешние вещи. Они допустимы как некоторая агитационная деятельность, как акция несогласия. Но дело не в этом. Нужно встать на краю и переступить за край. Кому-то повезет, и он вернется, но только для того, чтобы опять попорбировать».

Как-то, наверно, так. Учителем цинизма, конечно, была та самая жизнь в великом и славном государстве. Или жизнь вообще, сама по себе? Ну, вот, например, эпизод, когда герой ещё ребёнком наловил раков, где у одного из пойманных шла линька, и тот оказался меж собратьев голым. Это ведь момент такой американской прозы времён, например, Ричарда Бротигана: «Когда я пришел домой с ведром,

полным раков, и снял крышку, мне стало дурно. Розовое тело этого самого рака было невозможно различить – его просто не существовало: в него впились десятки клешней. Они его съели.

Я попытался его спасти, я отрывал и ломал клешни, но это было бессмысленно».

Забавно, да? Пытаться спасти, чтобы затем сварить и съесть. Живьём сварить, заметим. Попытаться спасти одного, вырывая лапки остальным. Человеческое, слишком человеческое. Кстати, вспомню сходный эпизод из детства собственного. Тоже наловили сотоварищи разок ведро этих животин. Поставили в сарай над погребом, где холодно. А они распозлились. Пришлось ловить второй раз. Сварили, съели, а через месяц почти обнаружили в сарае одного, живого. Он сидел в самом сыром углу и был жив. Мы его торжественно отнеся к речке Сылва, выпустили. Всех съели, одного выпустили – по-людски вполне.

Цинизм, получается, этакое свойство человеческой природы? Да. А вот оттенки этого самого цинизма, скажем, то же самое деление на их правильный кинизм и наш неправильный цинизм – они существенны или нет? Губайловский говорит, что несущественны: *«Я отказываюсь проводить границу между кинизмом и цинизмом. Кинизм – это цинизм, покрытый благородной патиной времени. Последовательный циник и сегодня – киник»*. Только вот книга умного человека больше самой себя, а человек, даже и откровенный, самого себя меньше, это неизбежно. Поэтому автор различий, может, и не видит, а книга, им написанная – видит. Различия между отечественным тривиумом «не верь, не бойся, не проси» и античным квадриумом «аскезис, апайдевсия, аваркария, идиотейя» отнюдь не только стилистические. (Хотя идиотейя хватает в поступках героев книги, ага.) Наш извод цинизма подражает вот эту образованскую мантру: «Сами придут и всё дадут». Не придут и не дадут. А если дадут, брать нельзя. Вот это – самое трудное. Киники тоже ведь знали: нельзя брать, но брали и гибли. Диоген, просивший в долг, говоря не «Одолжи мне», а «Верни моё золото» умер в рабстве. Бюон, придумавший диатрибы, жил при царском дворе – позорнейший для киника *modus operandi*. Менипп вообще повесился,

расстроившись из-за потери денег: ну, куда это годится?

Губайловский верно пишет далее: *«Идеальный кинизм невозможен, потому что, живя на границе культуры, ты неизбежно идешь с ней на компромисс»*. Вопрос всегда в глубине этого компромисса. Отказываясь от него, идя до предела, обрекаешь себя на сумасшествие и гибель. Так произошло с Аполоньчем. Соглашаясь на компромисс абсолютный, принимая и абсолютизируя ценности комфортного большинства, обрекаешь себя на внутренний разлад и опять-таки гибель, ибо многое знание наказуемо. Так произошло с Аркадием, чьи духовные метания удивительной амплитуды зафиксированы *sine ira, et studia*. Выход, как обычно, в среднем пути. А ещё точнее – в осознании того, что путь это именно путь, а не точка. Ведь кинизм был едва ли не первой европейской попыткой нахождения Дао. Затем увлеклись чем-то более актуальным, увы. За редкими исключениями.

Итак, соратники по одолению бытия – Аркадий и Аполоньч погибли, авторскому альтер это повезло. Что дальше? Дальше наступает «Точка покоя» – так называется вторая часть диалогии.

Многое похоже. Закончилась Олимпиада, окончен университет, вскоре умер Брежнев. Картинки быта остаются по-прежнему идеально-достаточными: *«Загляни за шкаф. Что ты видишь? На кровати с кованой витой спинкой, разметавшись на необъятной пуховой подушке, сладко посапывая, спит твоя красавица-жена. У ее изголовья тикает будильник Второго часового завода «Слава» 1925 года производства, поставленный на 6:30 утра. Оле завтра на работу в «Главморковку». Вот и вся история XX века в натуральном выражении»*.

Чуть более широкий становится диапазон воспринимаемого физического мира. Это вполне естественно, когда на смену факультету, где естественные науки достигали такого края, где вновь уже становились метафизикой, приходят работа, семья, дача в деревне, попытки неким образом легитимизировать себя в литературной среде. Наблюдения становятся немного приземлённей, но острее. Например: *«После бани сточка звенит, как просвет бытия»*;

«Мужики говорят мало и матом, в общем, по-настоящему можно».

Самокопаний и умничаний, собственно, не слишком и докучавших в первой книге, делается ещё меньше; это тоже естественно – человек же всё про себя знает годам к пятнадцати, далее лишь отслеживая перемены. А перемены эти с годами делаются аккуратней. Вновь удачный приём двойничества: друг и по совместительству старший литературный товарищ Костя оказывается славным зеркалом для героя. Только чуть кривым зеркалом, утрирующим. Характеристика ему дана примечательнейшая: «И он, кажется, из чистого любопытства крестился».

Константину принадлежит очень правильная доля книги – ровно треть. Появляется в самом финале первой, не выделенной формально, но внятной части, далее мелькает или витийствует на каждой почти странице, исчезает, добровольно, однако, безнадежно-однозначно уйдя из жизни перед существенными изменениями жизни героя. Оставляет ёмкую и неверную фразу: «Мне всю жизнь все что-то дарили. А я не знал, что подарки-то надо отдавать». Вот не надо! Не по-кинически это, честное слово.

Далее ток книги ощутимо меняет русло. Ну, собственно, игнорировать социальное не выходит уже к середине второго романа: «Антиалкогольная кампания в прошлом. Обострение у властей прошло». Это ведь и на самом деле крайне серьёзная эволюция. А дальше ещё веселей. Честное слово – именно веселей. В обществе скопилась критическая масса идей и критическая масса очень способных личностей, получивших надежду. Постараюсь далее минимизировать количество цитат, но вообще их тут должно быть немало. Время, переламываясь, сверкнуло очень ярко.

Государству не верили. Точнее, относились к нему будто к папаше, впавшему в маразм: требовать от него понимание смешно, обижаться на выходки неумно, а при случае – чего б и не воспользоваться слабостью – за муки-то, претерпленные от него: «...стесненность в технических средствах компенсировалась нечеткостью, а иногда и полным отсутствием внешних обязательств – мы могли писать все,

что хотели, экспериментировать, с чем хотели, и никто у нас над душой не стоял, и сроки давили не шибко. А мы самовыражались, преодолевая нечеловеческие трудности, созданные нам глупостью родного государства, которое, ориентируясь на собственное представление об оптимальной стратегии, решило, что воровать софт выгоднее, чем разрабатывать, и сделало ставку на целноотянутые у американцев Еэски и Ээзмки.

В таких условиях ничего действительно стоящего написать нельзя, но можно научиться очень хорошо писать. Было бы желание».

Вот момент, существенный крайне: стремились ведь, стремились научиться делать хорошо! Для себя стремились. И вполне успешно. Оттого все популярное в газетах 1987–93-го годов разговоры о том, на сколько лет мы отстали, смысла ещё не имели. Мы тогда отставали не на годы, а на миллиарды долларов. Главным капиталом, растроченным уже позднее, были люди. Замечательные, неизвестно каким образом сформировавшие себя в очень странных условиях специалисты и дельцы. Ну, вот, опять процитирую: «Пока я бился над этой программой, Женя ходил и молча смотрел на мои муки. Когда все кончилось обломом, он между прочим рассказал одну из своих историй.

– У меня есть знакомый. Он провернул замечательный проект: издал книжечку стихотворений Набокова – 10 страницек на скрепке – тиражом 100 тысяч. Продав тираж буквально за месяц и купил квартиру в центре.

– Да видел я эту книжечку...

– А вот не торопись. Конечно, для такого начитанного, как ты, это несерьезно. Но ведь таких немного. А людей, которые что-то про Набокова слышали, но ни строчки не прочли, – куда больше. Они пришли и эту убогую набоковскую книжечку купили. Качественное это издание? Даже смешно спрашивать. Успешен ли этот проект? Тоже спрашивать не надо – квартира-то вполне себе есть, и он в ней живет».

Здесь обо всём: и о принципах новейшей экономики, принёсшей успех Биллу Гейтсу и государству КНР; о той экономике, где оборот важнее качества. И о государстве, разом утратившем все орудия управления: книжку-то

наверняка сверстали не в частной конторе. И о ценностях граждан загибавшейся страны. Читать хотели граждане. И платить за своё чтение издателем были готовы. Самые ж, пожалуй, дивные страницы посвящены работе над проектом. Всё с полным самоосознанием: *«Мы не чувствовали сопротивления среды. Мы не учились делать проекты. Мы плохо понимали, что такое deadline. Мы были детьми и жили в кефире, как весь советский народ, впрочем»*. Однако, заметим: едва ли не параллельно с выполнением такого вот большого коммерческого проекта, герои успевают наладить компьютерную сеть в свежестроенном МЖК (вот кто из молодых. не заглядывая в Интернет, расшифрует аббревиатуру?). Честным образом получают за работу свою жильё. Ну, легко представить, сколько в нынешних рублях стоила их короткая работа. Интересное время тогда было, правильное довольно. Именно к нему люди готовились, когда думали, будто все беды от неправильного строя, а за ним всё будет хорошо.

Описание стартапа просто замечательно. Помните «Microserfs» Дугласа Коупленда? Оказывается, за двадцать тысяч километров от Редмонда и Пало-Альто происходило ровно то же! Валяют дурака, играют в только-только народившиеся компьютерные игры, на работу ходят, когда сильно захотят: *«Наш кооператив во главе с председателем Колей приобрел два настоящих 286-х компьютера с цветными мониторами. За них отдали подержанный грузовик вполне на ходу. Играть стало еще интереснее. Ветер над Карибами крепчал, сокровища майя в руки не давались»*.

Наконец Женя оторвался от созерцания наших веселых роджеров: *“Мне сдается, что вам 500 тысяч нарисованных дорожек, чем 500 настоящих”*.

Так ведь и было! Но мы, как крайне ответственные люди, все-таки оторвались от захватывающей игрушки и вернулись к трудовым будням: Сорочкин – играть в “Тетрис”, а я – изводить бумагу».

И вопреки стилю работы, на выходе странным образом появляется результат, вполне радующий заказчика. Суммы, полученные разработчиками, по меркам 1991-го года огромны, это я как их современник говорю. А они недо-

вольны: *«Буквально через несколько дней, придя в контору, я застал Сорочкина тыкающим в какую-то программу. На экран была выведена диаграмма Ганта. Но программа была не наша. Сорочкин кивнул на монитор: “Microsoft Project 4-я версия. Они ее уже лет пять пишут”*». То есть вот так вот реально и без скидок работали на уровне главного монополиста из страны всё ещё вероятного противника. Как это могло быть? Да кто знает. Наши ещё и другое успевали. Ну, мультики-то про кота Матроскина нарисованы очень по делу: *«Забор мы все-таки достроили. Красивый. Штакетины ровные – одна к одной. Проведешь взглядом – звенит как ксилофон. Оля приехала – оценила. Все отлично»*. Оля это жена героя. Действительно ж героя: учинил интеллектуальный продукт, сделавший бы в соседней цивилизации тебя миллиардером, и плотницкую работу справляешь. Ну, вот таким вот мы были народом: самому себе лояльным, на государство не обидчивым. Кому это мешало?

Летом того же года произошло ещё некоторое очень сумбурно описанное в романе героичество на баррикадах. Над этим и посмеяться автору не получается, и всерьёз теперь отнестись смешно. Одновременно едва не случилась трагедия в семье – на самом излёте Союз ведь окончательно на подданных своих плюнул, из-за несложной хирургической патологии чуть не погибла Оля. А потом всё. Явное и надолго всё: *«Когда мы с Олей вернулись домой, Москва уже оклемалась от приступа эйфории и заметно поскуцнела. Розанов говорил, что Россия слиняла в три дня. Советский Союз тоже в три дня слинял. Наверное, это такая местная традиция»*.

Точка покоя, увы, оказалась именно точкою. Через несколько месяцев государство шлёпающими устами комиссарского внука скомандует обогащаться. Скажет: *«Только материальные стимулы, только денежки, только бизнес»*. А предварительно это государство изымет у неизворотливого большинства накопленное. В том числе – деньги, заработанные безупречно честными и высокотехнологичными методами. Что за бизнес возникнет после этого, многие помнят, кто жив. Его почти все попробовали – бизнеса того, где не было му-

дрых компьютерных программ и стремления превзойти компанию Майкрософт, налаживая для сограждан локальные сети. Там другие качества требовались.

Хотя нет. Насчёт всех я преувеличил. Были совершенно другие ребятки. Вот эти – из книги Анны Сапегинной «Природа и вещи». Не дети, но скорее младшие братики и сёстры персонажей книг Губайловского: *«Самому старшему – Андрюхе Федорову – было двадцать шесть, всем остальным – от восемнадцати до двадцати двух. Никто в те времена не задумывался о будущем».*

Уй, как смело! Нет, эти-то вот, уехавши летом 1993-го года из Твери на раскопки в Заврижье, действительно больше думали о прошлом, спрятанном под толщею земли и столетий, однако были и другие. Те, кто составил Твери славу одной из криминальных столиц России. Бесплодную почти славу, кстати. Ну, разве что Михаил Круг своими песнями остался в память тех славных тверских лет. А криминал, в отличие от своих, например, екатеринбургских коллег, с властью не слился, себя не сберёг, и бывшая столица грозного княжества в начавшемся тысячелетии выглядит не барынькой.

Но это отсюда взгляд. Мы же переместимся на раскопы двадцатилетней давности. Кстати, зачем? В смысле, для чего автору нужен такой приём? Сопряжение литературы и археологии есть дело, конечно, благодатное. Вот гляжу на полку и вижу книгу Георгия Фёдорова «Возвращённое имя». Отличная книга, отличный прозаик. Но там, скорее, о вневременном кочевом быте, даже когда автор пишет о среднеазиатских раскопках времён своей молодости. Подымаясь к высям горным, неизбежно вспомним Юрия Домбровского. Однако «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей», оставшись, безусловно, в истории литературы, историческими романами в точном смысле термина не были.

У Сапегинной декларирован иной подход: *«В факте изучения истории в момент исторического перелома есть какая-то злая ирония».* А теперь давайте совершим приём, аналогичный использованному при рецензировании книг Губайловского. Включим кино. Вот ходят ребята в униформе, копают курганы. Ссорятся,

безобразничают, влюбляются. Затем приезжают обратно в город, а там – 93-й год XX века. Догадаемся мы до момента их возвращения о времени действия или нет? Скучное питание и обилие пайков американской армии? Ну, так экспедицию ж готовила новенькая совсем девушка, упустила многое. Отсутствие мобильной связи? Может, заехали далеко, сотовый не берёт. Хотя про гаджеты – это серьёзнее. Одна эпоха от другой различается не только отношениями, но и технологиями. Классики-идеологи говорили, будто технологиями – даже в первую очередь. Они, дескать, базис. Вполне может быть, хотя изнутри эпохи слома не различишь. Ну, например, общим местом сделалось мнение Анны Ахматовой, будто наступающий, а не календарный XX век начался в 1914-м году. Им, современникам, наверное, так и казалось. Но век-то много ранее начался, не в 1900-м даже, а в 1895-м. Всё-таки и кинематограф, и рентгеновский аппарат, появившиеся в том году, не принадлежат веку пара. Так и здесь: компьютеры у Губайловского и коллег были, а сотовых не было. И во студенчестве Сапегинной не было.

Хотя мы ведь не очерки техногенной цивилизации читаем, но художественную литературу. Она ж, за редкими исключениями – о людях и отношениях. Вот отношения и выдают порой время действия.

Например, молодая и, казалось бы, слабо тронутая предрассудками уходящей цивилизации руководитель к чему-то оглядывает палатки студентов: *«В жилище Андрюхи ее ждал сюрприз – на раскладушке под одним одеялом спали два человека. В полумраке Светка с трудом опознала обнимающую Андрюху девушку. Это была Лена Степанова. Светка в негодовании выскочила из палатки и побежала разыскивать Алю».*

– *Это уж слишком! Вторая девица за один сезон! – не в силах успокоиться, все твердила она.*

– *А по-моему, у них любовь, – отвечала ей Аля.*

– *Любовь?! – возмущалась Светка. – А в первый раз что было?*

– *А в первый раз была не-любовь, – спокойно говорила Аля. – По моим наблюдениям, Катя*

Андрею не очень нравилась, а вот она за ним багала, это да... <...> Но Светка после завтрака все-таки попробовала поговорить с Андрюхой».

Сама по себе тема, кажется, вечная, отражённая полностью в известной частушке:

Бабы дуры, бабы дуры,
Бабы бешеный народ;
Как увидят девку с парнем,
Так стоят, разинув рот,

– только вот это стремление «поговорить» с начальственных позиций, мораль рассказать взрослому уже, в сущности, человеку, оно отсюда, из завершавшегося тогда времени. Хотя подано это без лишнего надрыва и педалирования. Книга у Сапегинной вообще получилась аккуратной и неназойливой. Дело тут, наверное, в многоголосье и многоцентровости.

Роман начинается трижды – по разу в каждой из трёх первых глав. Сперва появляется многоопытная Антошка Вяземцева, завсегда-тай экспедиций, затем – юная и восторженная Нина Шестопалова, а далее возникает некий объективирующий голос. Вряд ли однозначно авторский. Для авторского он слишком неамбициозен, без претензий на всезнание. Будь я школьником, пишушим сочинение на ЕГЭ, или чего там ещё придумают, так тему «Образ автора в романе "Природа и вещи"» аккуратно разделил бы вот натрое – между Антошкой, Ниной и этим голосом.

Книга оказалась традиционной в самом добром и широком смысле слова. Да: традиционный модернистский роман – такое определение давно уже не выглядит оксюмороном. Полифония, многоплановость, несколько сюжетных линий, немодная вроде бы по нынешним временам психология. Обе условно главные героини чаще всего представлены через их же взгляд. У Нины он почти всегда рассеянный и обращён вовне: *«Берега словно отодвинулись, превратившись в две узкие полоски, и освободили место небу – огромному, с медленно плывущими по нему тяжелыми дождевыми облаками. Но тут же небо исчезло – катер зашел под мост, похожий снизу на чугунную шахматную доску. Мощные бетонные опоры моста обросли водо-*

рослями. Пахло там сыростью и плесенью, так что Нина с облегчением вздохнула, когда мост закончился и слева появился городской сад».

У старшей коллеги – совершенно иной: *«Антошка долго разглядывала свое отражение в экспедиционном зеркале. Даже если сделать поправку на отвратительный характер зеркала, выглядела она далеко не лучшим образом: глаза опухшие, щеки бледные, под глазами темные тени».*

Иногда описания персонажей кажутся чуть избыточными. Ну, например: *«Его плотная коренастая фигура отбрасывала на влажную траву длинную прямоугольную тень».* Вроде, и по делу сказано, а вроде и можно избежать обилия прилагательных; лучше тень описать так, дабы коренастость фигуры и низкое расположение освещающей Данилу Плотникова Луны сделались самоочевидными. Как? Ну, откуда мне знать, порой у автора замечательно получается.

Кстати, Данила, поступивший на исторический факультет в 1989-м году, вообще колоритный персонаж. Загадка. По крайней мере, для склонной к практической философии Антошки: *«Она так и не смогла классифицировать Данилу Плотникова, и теперь получалось, что либо он обладает особенно редким типом идиотизма, либо у нее в голове не хватает каких-то винтиков, чтобы выстроить правильную классификацию. <...> В школе Данила был примерным мальчиком, комсомольцем и почти отличником. Он вел общественную работу, ездил на разные слеты, где и выучился играть на гитаре и петь правильные советские песни. Его даже выбрали комсоргом. Впереди была ясная и хорошо накатанная дорога – исторический факультет, который, как известно, всегда являлся кузницей партийных кадров, работа в областной комсомольской организации, вступление в партию и постепенный подъем по ступенькам карьерной лестницы».* Ой, ну, право... Куда этакому тютю в циничнейшую, пираньями кишашую среду комсомолии позднего СССР? Стал бы и там посмешищем, хуже ещё, чем меж археологов. Эти-то хоть поинтеллигентнее. А песни ведь и тут пели правильные или нет, но советские. Зря разве половина глав романа названа по

именам советских, антисоветских, досоветских и чуть-послесоветских песен? Пели ведь, а чего не петь?

Но большей частью роман, конечно, не про социальные, а про возрастные и гендерные нюансы. Рассказывать про это Сапегина любит и умеет. Опять-таки – без морализаторства, аккуратно. Даже становится почти ясным, отчего довольно мерзкий Андрей оказался эротическим фетишем, а обаятельный Пал Палыч – изгоем. Его и в самом деле выгоняют из экспедиции, затем, правда, смиловившись. Психология коллектива дело вообще удивительное. Совсем уж до «Повелителя мух» ребята не оскотинились, но в последние дни, когда курганы были раскопаны, цели достигнуты, а запасы спиртного ещё оставались приличными, вели себя археологи на грани, конечно. При этом опять интересное наблюдение: мысли у людей остаются спокойными, а разговоры всё более конфликтными, и поступки дикими.

И да, ещё важное, подчёркнутое мягко, но неоднократно. Например, во фразе: *«Наверное, я поторопился»*, – непременно подумал бы Андрюха, если бы имел обыкновение думать». Размышлять молодым людям в этом романе вообще несвойственно. Да и в других книгах Сапегиной долгими и связными периодами мыслят лишь девушки. Ну, как говорится, авторский взгляд, не нравится – не читай. Читатель мы будем, конечно, и вам рекомендуем. Только вот некоторые пассажи удивительны до абсолюта какого-то: *«Перед самым отъездом команда с кургана Древлянского под предводительством Антошки вкатила ему ночью в предбанник палатки огромный валун. Наутро Толик с большим трудом сумел выбраться на свет божий и, видимо, с тех самых пор и закалялся ездить в экспедиции.<...> Но вообще-то к Толику Антошка относилась хорошо»*.

Ага. Замечательно просто относилась, как надо прям! Удивительно, сколь искренне барышня думает, отчего это Толик больше с ней не ездит, а не опасается встречи с ним или оплаченными им ребятами где-то в скверике, лишённом фонарей? Девочкам можно, потому что девочкам можно всё. Ну, ладно, впрочем. У Сапегиной, повторю, вечно так, согласно

известной максиме: «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». На эту тему лучше говорить, прочитав иные книги Анны. «Природа и вещи» – исторический роман всё ж. А сфера приватного в советские времена была мало уважаема не только властью, но и согражданами. Может, камень этот в палатке действительно как-то иначе воспринимать надо было. Я уже не помню за давностью лет.

И вот ещё в каком, очень важном аспекте книга получилась исторической. Введенная под именем незримо присутствующей Фирюзы Ахметовны – это многолетний руководитель Избрижской экспедиции Фирая Хабибуловна Арсланова – действительно очень известный учёный. На мгновение появляется в книге и совсем уж настоящий классик, Валентин Васильевич Седов, человек, заслуги которого лежат рядом с самыми-самыми корифеями исторической науки всех времён. Однако в поколении историков и археологов, копавших в начале девяностых годов вдруг минувшего века курганы, к нашему времени появилось множество имён и работ, известных за пределами профессионального круга. Напомним: сейчас этим молодым докторам наук чуть за сорок. Более того, очень интересные работы создаёт поколение следующее, мелькнувшее в самом финале повествования.

Теперь вернёмся к романам Губайловского. Разве мало нам известно математиков и программистов, получивших образование на излёте СССР, а затем ставших известными, богатыми и влияющими на нашу жизнь – кто-то из них уехал, кто-то остался, это не так важно. Мир стал маленьким и электронным в том числе и благодаря им. Странно, да? Получается, российская, советская, а затем снова российская интеллигенция, обвиняемая в индивидуализме, неумении работать, а то и в открытом предательстве оказывается-таки частью силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо? Я утрирую, но чуть-чуть.

Какие-то вот странноватые мысли возникают по прочтению книг этих, ага. Это хорошо. Значит, книги удались. Так ведь не очень часто бывает, этому радоваться надо. Вот и будем радоваться.

Алексей ГРИГОРЬЕВ

МИР БЕЗ ГЕРОЕВ

Илья Леленков. Пятнадцать огурцов и одно мороженое. – М.: Арт Хаус медиа, 2014. – 136 с.

Предыдущая книга московского поэта Ильи Леленкова «Думай о хорошем» вышла в 2009 году; пять лет для литературы, а тем более для поэзии – срок немалый. Поэтому, лишь только я узнал о готовящемся выпуске нового издания, у меня возник вопрос: а что же будет в новой книге, собственно говоря, нового? Предыдущая книга была очень хорошей, и она ставила довольно высокую планку, которую перескочить с разбегу, как мне казалось, будет весьма не просто. Тем было интереснее знакомиться с новой работой поэта.

Почти сразу выяснилось, что автор пошёл довольно любопытным путём: часть наиболее выигранных текстов «Думай о хорошем» вошли и в «Огурцы», а новые стихи выгодно усилили уже хорошо знакомый читателю материал. Такая концепция оказалась на все 100% беспроигрышной: читатель получил то, что хотел: и добротное замешанное тесто в виде классических «ирисок», «бондарчук танго», «радуги», «лучшей девушки», «андрей иванович повесился» и др. и изюм в виде ничем не уступающих прежним, а где-то, возможно, и превосходящих последние «приходит смс от мчс», «маринеско», «харизмы» и ещё целого ряда стихотворений. На мой взгляд, получившаяся в итоге книжка не только должна украсить книжные полки поклонников творчества Ильи Леленкова, чему, кстати, в немалой степени способствует и твёрдый переплёт наряду с прекрасным оформлением обложки и оригинальным дизайном текстового блока, но и вполне сможет претендовать на звание одного из наиболее интересных литературных событий 2014 года.

Трудности дефиниции

Термин «брутальная поэзия» столько раз применялся и применяется до сих пор по со-

вершенно разным поводам, что, кажется, настала пора его разъяснить. Правда, с дефиницией тоже не всё так гладко, как хотелось бы. В самом деле, что брать за ориентир? Если в качестве такового рассматривать творчество поэтов, традиционно печатающихся в том же «Алконосте», то оно весьма разнородно: среди авторов есть и вполне «брутальный» Андрей Чемоданов, и не менее брутальный Евгений Лесин, но и вполне себе лиричная Ната Сучкова. По этой причине ориентацию по «цеховому» принципу придётся отвергнуть изначально.

Мне кажется, что наиболее близко к определению термина подошёл тот же Евгений Лесин, который в предисловии к предыдущей книге Ильи Леленкова написал следующее: «Леленков – редкий в наши (да и любые другие) времена поэт-мужчина. Все-таки большинство поэтов – поэты-девушки, поэты-дамы, поэты-женщины. Что любимый мною алкоголик Есенин, что любимый мною Дмитрий Воденников. У них поэзия – женская, женщинам она и нравится».

Итак, мужская поэзия. То есть такая, которая без вздохов, «ахов» и прочей «не мужской» ерунды. Впрочем, и тут налицо некоторая недосказанность: скажем, нарочито мужская поэзия Бориса Панкина, не менее «мужская» поэзия Андрея Чемоданова и поэзия Ильи Леленкова – всё-таки отличаются друг от друга. Поэтому, мне кажется, не стоит пытаться вывести единое и всех устраивающее определение. По большому счёту, «брутальность» зачастую является лишь способом замаскировать лиричность. Ну, вот не хочет автор выставлять напоказ свою ранимость – его право. Прочитайте хоть ту же «братскую любовь» из книги Леленкова, поймёте, о чём я.

Остановка в дороге

Скажу сразу, что книга совершенно не оставляет ощущения «финишной ленточки», скорее, тут более уместен термин «веховая». Для «финишности» лично мне не хватает, во-первых, ряда любимых стихотворений из «Думай о хорошем», а во-вторых, после прочтения новой книги возникает вполне себе очевидное

ощущение открытости финала – хочется обязательно узнать, что же будет дальше? Так, посмотрев первую и вторую серии понравившегося фильма, с нетерпением ждёшь, когда же выйдет следующая. Поэтому в случае с новой книгой Ильи Леленкова правильнее говорить не о подведении итогов, а о некоторой промежуточной остановке в дороге, что ни в коем случае не умаляет достоинств «Пятнадцати огурцов».

Одним из таких достоинств я считаю её структурированность – то, что в рок-музыке принято обозначать словами «концептуальность альбома». Если предшественнице была свойственна некоторая неорганизованность, которая, впрочем, даже нравилась, то в новой книге тексты приладились друг к другу, как пазлы, – каждый встал на то место, на которое он должен был встать. Видимо, именно по той причине, что некоторые стихи из ранней книги так и не нашли себе достойных соседей, они и оказались за бортом «Пятнадцати огурцов».

Старый тренд лучше новых двух

Недавно встретил у Андрея Пермякова интересный термин – «слом тренда», применённый им по отношению к недавно вышедшей книжке другого поэта: так Пермяков (мне кажется, довольно удачно) обозначил сдвиг семантической парадигмы в творчестве автора. Забегая вперёд, хочу сообщить, что никакого слома тренда в новой книге Ильи Леленкова нет – это всё та же предыдущая книжка, но с «бонус-треками». Так, группа, выпустив удачный альбом, довольно часто издаёт и его альтернативную расширенную версию – меломаны такое особенно ценят.

Между прочим, упоминание о рок-музыке в связи с творчеством Ильи Леленкова вполне уместно. Один из разделов новой книги носит название «Зарубежная эстрада без мелодий и ритмов» и снабжён подзаголовком «антипереводы». В этом разделе автор предлагает читателю собственные «кавер-версии» известных музыкальных хитов, таких, например, как «Jailbreak» AC/DC или «God Save The Queen» Sex Pistols. Только пусть читатель сразу же за-

будет о принципе точности перевода или о каком-нибудь соответствии оригинальному ритмическому размеру источника. Музыкальные темы нужны автору лишь в качестве исходного посыла для собственных произведений. Лучший способ читать такие стихи – найти в сети музыкальный оригинал, подтащить ползунок громкости к верхнему краю звуковой шкалы и (ради чего всё это и замышлялось) открыть нужный текст в книге. Довольно оригинальный подход к проблеме соотношения чужого и собственного творчества, не так ли?

Маяки

Новые стихи не только органично соединились со стихами первой книги, но, как мне кажется, стали теми маяками, на которые и станет ориентироваться читатель в своём литературном путешествии. Вот, например, один из таких «маяков» – стихотворение «приходит смс от мчс».

*приходит смс от мчс –
товарищ, не ходите с бабой в лес*

*а я лежу и, кажется, страдаю
за всех и вся
и лес внутри меня*

*в лесу бутылки, ложки, чешуя
шприцы, газеты, фантики, стаканы
грибы, костры, колеса, труп коня
менты, опять колеса, и опять*

*там перелетных жаворонков стая
и бесполезный снег лежит до мая*

*там наркоманы бродят по проселку
там баба убивает поросенка*

*свинья визжит как «молодежный блюз» –
я жизнь люблю и смерти не боюсь*

*в лесу темнеет, катится луна
лесник сирожка каждый день в умат*

*и наркоманы прячутся в орешник
и колются, и пыхают пореже*

*бабища поросенка освежает
и даже кризис – всех народов жутел*

не остановит бабье естество

лесник сирожу свалится под стол

*и перелетных жаворонков стая
противным криком обругает сталина*

*а я лежу – еловые иголки
мне колют в сердце
задевают легкое*

*свинья в крови, но – всё визжит визжит
в моих ушах –*

берите вашу жизнь

я в черный чай бросаю сахарок

*и вижу лес
и бабу с топором*

Этакая босховская, по формальным признакам, но вполне себе самодостаточная картинка, созданная на стыке серьёзности и гротеска – то есть на том, на чём вообще редко кому из поэтов удаётся удачно балансировать. А Илья Леленков владеет искусством подобной эквилибристики так, что никогда даже в голову не придёт, что он может сделать неверный шаг в какую-либо сторону. Ироническая отстранённость от предмета повествования (к ней я ещё вернусь позже) и погружённость в этот самый предмет тут настолько неразличимы, что содержанием стиха становится в первую очередь авторская индивидуальность, и лишь во вторую – предмет повествования.

Герой в мире без героев

«Мир без героев подобен миру без солнца» – пела в далёком 1982 году группа Kiss. Это

цитата приведена тут с умыслом. Для Ильи Леленкова «героическая» тема – одна из знаковых. Поэтому совсем не случайно в его стихах появляются исторические (а вернее сказать, вполне себе мифологические) персонажи: индейский вождь Тупак Амару, например, или герой-подводник Маринеско. Правда, стоит сразу заметить, что историческая правдивость образа практически всегда преломляется у Леленкова через призму современной автору реальности, априори совершенно лишённой какого-либо героизма. В результате и рождается уже упомянутый гротеск:

*<...>
живёт подводник маринеско
с дырявым крейсером в мозгу*

*и каждой ночью с будунница
дешевой водкой оглашен*

*он бродит, сука, по мытищам
пугая стайки алкашей
<...>*

Такая трансформация исторического посредством соотнесения его с настоящим вбирает в себя ещё один важный для творчества нашего автора смысл: сшивание разнородных пластов – героического и пошлого, синонимом которого зачастую выступает современное поэту время – создаёт особого рода трагизм: герой-одиночка в мире, где все герои давно спилились и умерли, обречён на неудачу и нелеп, хотя до глубины души трогателен.

*<...>
вот он уснул*

*пока балдоха
не встала – жечь и поливать*

*пускай поспит
герою – плохо*

и на героя наплевать...

Что ж, Kiss оказались правы: в сегодняшнем мире места для героев не осталось.

Свобода слова

Недавно нашёл в сети любопытное высказывание: «Верлибр в большинстве его образцов – это записанная на бумаге мечта о том, про что автор написал бы стихи, если бы умел это делать». Согласен, но с той оговоркой, что это не относится к Илье Леленкову. Я считаю, что Илья Леленков – один из немногих современных поэтов, кто по-настоящему умеет писать верлибры. Они (верлибры), к слову сказать, составляют большую часть книги. Мало того, даже силлабо-тонические стихи поэта стремятся сблизиться с верлибром, и одним из признаков такого сближения является свободная рифма.

О рифме в стихах Ильи Леленкова вообще нужно говорить отдельно. Принцип её использования способен привести в ужас любого адепта точного рифмования. Но вот тут как раз сплошная органика. Просто творчество Леленкова нельзя рассматривать вне собственного контекста. Мало того, познакомившись более или менее подробно с творчеством автора, ловишь себя на мысли, что большей свободы и раскованности, пожалуй, ни у кого и не встречал.

Что же касается верлибра, то он может быть либо организованным по образу и подобию силлабо-тонического стиха:

*«Заметил? Самый легкий – первый снег», –
сказал он,
машинально со скамьи
сметая снежный пух.*

*Брат постарел
и высох.*

*Прежний лоск
исчез.*

*Одет небрежно.
Руки чуть дрожат.*

*И каплет
с подбородка талый снег
с грязный шарф,
свалывшийся и блеклый, –*

*такой же
как и брат.
<...>*

(«братская любовь»)

Либо, наоборот, он стремится сблизиться с ритмической прозой:

*в день своей свадьбы
я очулся за столом
в полном одиночестве
перед огромным куском орехового торта*

*на эстраде цыгане вопили самозабвенно
какое-то ритмическое «опа-опа»*

*– ай-нэ-нэ! – обратился я к ним. –
любите ли вы маркуса миллера так,
как я люблю херби хенкока?
цыгане, обнажив золотые зубы, заголосили
что-то сонно-аризонное из бреговича,
имитируя надрывными
голосами а-ля николай сличенко
неподражаемую манеру игги попа*

*и куда это подевались все гости?
Жопа*

*я привстал, покачнулся
и цыгане, потеряв точку опоры, опрокину-
лись, сверкая зубами, браслетами и
глазами*

*превратились в диковинных птиц
хлопали крыльями
улюлюкали
и, не переставая петь и играть, кружили
по залу*

*я подумал:
это уже совсем ни к чему
пойду отолью, пожалуй
<...>*

(«Свадьба»)

Впрочем, иногда, как в вышеприведённом стихотворении, например, автор оставляет место и для рифмы, которая выступает тут как средство, скрепляющее участки текста.

От центра – к окраинам

Не побоюсь сказать, что мир стихов Ильи Леленкова – это мир городских окраин и спальных районов – мир маргиналов, жизненно несостоявшихся или просто плохо устроенных в жизненном плане людей. Это своеобразное чистилище, из которого в перспективе можно соскользнуть вверх или вниз: совсем ещё не рай, но уже и не ад – промежуточное пространство и, в свою очередь, промежуточное состояние души между упомянутыми двумя. Сумеречная зона с соответствующей однородной цветовой палитрой, на которую лишь в особо редких случаях попадают яркие краски, которые кажутся тут неуместными и инородными.

<...>

*муторно на сердце как на фабрике
как на ткацкой фабрике – ага*

*а на небе торжествует радуга
грёбаная радуга-дуга*

(«радуга»)

Что за сценой?

Возвращаясь к теме «брутальной поэзии», с которой, собственно, мы и начали наш разговор о книге «Пятнадцать огурцов и одно мороженое», следует указать на очень важную деталь. Я говорю сейчас о той искусственной преграде, которая не допускает возможности буквального прочтения (буквального понимания) авторских текстов, – о принципе иронической отстранённости. Автор даже в тех случаях, когда он сам выступает в качестве лирического героя, всегда подвергает предмет описания разной степени иронического осмысления, которое может принимать либо форму чёрного гротеска, либо иметь вполне даже лиричную форму. В какой-то момент понимаешь, что перед твоим носом попросту прикрыли створки – за декорации тебя никто пускать не собирается, да и не собирался с самого начала. Что ж, на то и мужская поэзия,

чтобы сопли и вздохи остались за кадром. А читателю остаётся право домысливать и получить удовольствие от ещё одной хорошей книги, появившейся в новом году.

Владимир ХАНАН

ПОЛЕ СВОБОДЫ

Угличе Поле (Ярославль). – 2014. – № 21.

Осенью 2011 года я приехал в Углич, где когда-то провёл семь детских (примерно с двух до девяти) лет. Почти сразу по приезде я познакомился с Алексеем Юрьевичем Суловым, главным редактором «Угличской газеты». Как почти тут же выяснилось, Сулов был также основателем и главным редактором журнала «Угличе поле», о существовании которого я прежде даже не подозревал. Угличе поле – так когда-то называлась местность, где был основан этот древний (по некоторым историческим источникам – старше Москвы) город. К моменту моего знакомства с журналом вышло уже несколько, в пределах пяти-шести, номеров. Дома на моих книжных полках стоят журналы семи-восьми названий, жизнь которых закончилась – у кого на шестом, у кого на девятом, у кого и на четвёртом номере. Грамотному издателю, даже просто грамотному читателю известно, насколько в наше время это тяжёлый во всех отношениях труд – издание журнала. Журнал «Угличе поле» выказывает поразительную жизнестойкость, о причине которой я скажу ниже. Прочитав подаренные мне Суловым первые номера, я на правах старшего, а также съевшего не одну собаку и стершего зубы в литературных баталиях литератора подал Сулову несколько советов. Главным было... Но сначала немного в сторону. В Угличе я прожил всего семь лет, с 1947 по 1954, но успел полюбить его на всю жизнь. Просто удивительно, насколько хорошо я помню эти годы и огромное количество угличан с их внешностью, именами, отчествами и фамилиями. Короче, мне хотелось, чтобы журнал моего любимого города не остался сугубо

местным, а вышел на необъятные российские просторы. Содержание прочитанных мной номеров было почти полностью краеведческим, что, по моему тогдашнему мнению, обрекало его на региональное существование. Я посоветовал Суслову печатать больше хорошей прозы и стихов, а также критических и публицистических материалов. Сулов слушал и даже соглашался, но, судя по следующим номерам, которые он присылал мне, продолжал выпускать журнал в прежнем духе или, как нынче принято говорить, формате. Помимо того, что журнал всегда был выполнен на высоком техническом и эстетическом уровне, следует ещё обязательно заметить, что материалы, печатающиеся в журнале, были неизменно отличного качества. Их авторами всегда были не краеведы-любители, а исключительно профессионалы, причём высокого уровня. Думаю, что редкая жизнестойкость этого журнала во многом объясняется как раз тем, что его делают не просто профессионалы, но настоящие энтузиасты своего дела. После какого-то двузначного номера я полностью пересмотрел свой взгляд на журнал. Судя по всему, «Угличе поле» решил сохранить свой региональный характер, который я посчитал бы правильной называть характером Провинциальным. Именно Провинциальным с большой буквы. Боюсь, что в нынешней России не многие понимают высокое значение слова, да и самого понятия «провинция». А между тем, если сравнить страну с домом, то провинция – это не только фундамент этого дома, но и его стены. Номера журнала иногда бывают тематическими: один раз рассказывает о каком-нибудь маленьком городе, вроде Мышкина или Тутаева, иногда – о городах побольше, вроде Рыбинска, иногда материалы более общего порядка. В нём можно прочитать о русском деревянном зодчестве, или о зодчестве церковном, можно прочитать о полузабытых «местных» русских святых, о которых сегодня помнит разве что православный клир. Что сегодняшней россиянин знает о русском купечестве? Ещё сохранившиеся в наше время немногие читатели вспомнят драмы Островского, некоторые – назовут ещё Сухово-Кобылина. А ведь кроме известных столичных меценатов, вроде Третьякова или

Морозова, были сотни и тысячи купцов, построивших в России десятки и сотни детских приютов и богаделен. Это они, русские купцы, были тем средним классом, который пытается, без особого успеха, выстроить современная Россия. Это они были зачатком и заметным элементом гражданского общества, которое и сегодня остаётся почти несбыточной российской мечтой. Из журнала «Угличе поле» мы узнаём о провинциальных корнях знаменитых столичных княжеских и графских родов, о предках прославленных русских генералов и флотоводцев. Начиная с «Истории государства Российского» Карамзина, в исторических учебниках мы читаем о царях и патриархах, знаменитых временщиках и руководителях восстаний. Помимо столичных Москвы и Петербурга, упоминаются разве что города, связанные со знаменитыми баталиями. В отличие от них «Угличе поле» знакомит нас с той низкой, настоящей Россией, которую, как правило, обходят профессиональные историки. Как отметил профессор Е.Ермолин, активный сотрудник журнала (давший, кстати, ему название): «Журнал избегает публикаций в формате рекламного глянца, осуществляя аккумуляцию исторических и современных смыслов, журнал нацелен на воссоздание связи прошлого и настоящего». Так, от одного номера к другому перед читателем выстраивается как бы другая история, которую через некоторое время можно будет назвать настоящей энциклопедией провинциальной России. Журнал ещё молод, но с каждым номером он становится всё более зрелым. Наконец, вышедший двадцать первый номер журнала даёт почти полную историю строительства Угличской и Рыбинской ГЭС, не затушёвывая печальных, а, точнее сказать, трагических моментов этого грандиозного строительства. В этом же номере есть неизвестные читателю страницы о судьбах заключённых, жертвах этого строительства, среди которых и многие знакомые нам имена. Это муж и жена Радловы, а также родственники знаменитого адмирала Колчака. Большой заслугой журнала я считаю его смелость и неангажированность.

Сегодня журнал «Угличе поле» добился определённого признания: был отмечен грантом Президента РФ в области русской куль-

туры, а также награждён (в начале 2013 года) специальным дипломом Союза журналистов России за большой вклад в русскую культуру. Пока что журнал, говоря сегодняшним языком, «не раскручен», но я всё же надеюсь на его будущую всероссийскую известность. Для этого у него есть все данные. В любом случае я не сомневаюсь в том, что человек, собравший все номера этого журнала, сможет гордиться своим собранием не меньше, чем обладатель всех томов энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

Олег РОГОВ

ЖИЗНЬ «СОФЬИ ПЕТРОВНЫ»

Лидия Чуковская. «Софья Петровна» – лучшая моя книга». Из дневника: Попытки напечатать повесть. Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания Елены Чуковской // Новый мир. – 2014. – № 6.

Судьба многих отечественных книг, да еще таких, как «Софья Петровна», это всегда огромный и мутный водоворот авторских намерений, издательских игр и административных препонов. Плюс личный фактор, активно пульсирующий у всех участников советского литературного процесса. Это выражение кажется то макабрическим оксюмороном, то сложной формой инопланетной жизни.

Впечатление от дневников Лидии Чуковской – записей, посвященных «Софье Петровне» – создается именно такое.

«Теперь так не пишут», – это мы уже проходили и прошли мимо. «Теперь так не читают», – вот что актуально. Это отнюдь не ностальгия по пристальному вниманию заинтересованных структур к творчеству писателя (тем более что эти структуры имели к литературе отношение опосредованное). Это, скорее, нуминозное почти восхищение грандиозным значением, которое имел в старые недобрые времена текст и его создатель.

Вот, навскидку, две цитаты: «Я хотела написать книгу об обществе, поврежденном в

уме; несчастная, рехнувшаяся Софья Петровна отнюдь не лирическая героиня; для меня это обобщенный образ тех, кто всерьез верил в разумность и справедливость происходившего».

Что-то-что? Разумность и справедливость, почти по Гегелю? Для тех времен – понятно, народ верил в то, что общество строится на новых началах. А как быть нам, тем, для которых понятия разумности и справедливости происходящего вообще не рассматриваются как данность? Для тех, кто быстро привыкли к неразумности и несправедливости окружающего нас мира?

Еще, из письма Солженицыну: «В 39–40 г. я написала “Софью”. Прочли 9 человек. Пятеро сказали: “Зачем ты это делаешь? Ни до кого никогда не дойдет”. В 61 г. Твардовский во внутренней рецензии отзывался так: “Повесть написана опытным критиком и редактором, который взялся не за свое дело. Повесть схематична, в ней никого не жаль, ни героиню, ни сына героини” и т. д. На Западе ее приняли хорошо, но по причинам политическим. Не поняли, про что она: она про кретинизм нашего общества, а они прочли – про бедную маму». Господи, они тогда еще внимательно читали книги!

Дневники Лидии Чуковской служат хорошим, подробным и вполне кафкианским дополнением к ее «Процессу исключения» (с мрачным саркастическим подзаголовком «Очерк литературных нравов»). Конкретика быта, в который вплетается литературная жизнь, прости господи, начала 1960-х, действуют мощнее любого пафоса.

«Сегодня отдам ее А.С. Берзер для “Нового мира”. Шансов, если рассуждать здраво, никаких». «Она даст Марьямову и Герасимову. Поглядим. Не верю». «В “Советском Писателе” Карпова и Лесючевский ни за что не допустят». «“Софью” прочел Кондратович. Ему понравилось, и он считает, что печатать надо. Теперь они дадут только Герасимову – и потом, минуя хитрюгу Дементьева и труса Закса – прямо Твардовскому». «Кондратович, – по словам Берзер, – думает, что дело можно спасти каким-нибудь моим вступлением или послесловием». «Берзер передала мне через Сарру, что

один раз передать Твардовскому “Софью” по-мешали Дементьев и Закс». «Только что позволила Берзер. “Софью” сегодня передали Твардовскому». О Казакевиче: «он сам, сам берется поговорить с Черноуцаном, а потом, заручившись его защитой, с любой редакцией, если я “зажгу в повести свет”».

И так, в таком же ключе – сотни записей. Маятник качается по одной и той же схеме: а вот давайте еще и так попробуем. Появилась надежда. Нет, не получается.

Эта триада набухает «интегральными ходами» личных взаимоотношений, интригами и «оттепельными» просветами, которые, призывно распахнувшись, быстро зарастают льдом. Телята бодаются с дубами, лбы кровавятся о стены. Эти страницы сегодня кажутся настолько абсурдными, столь далекими от нас, что читаются как античная трагедия.

Невероятным – уже по другой причине – кажется и всплеск (такой же короткий, как и у реальной волны) повышенного интереса к тексту в перестроечные времена. Это гипервнимание, подобное быстро наведенному лучу прожектора и столь же быстро погасшее (уже началась эпоха рынка, который кажется сегодня единственной реальностью).

«Братья писатели дали мне диплом за гражданское мужество писателя. Гм».

И – мне интересно – какие книги современности будут завтра так же обсуждаться? Серия «Литературные памятники», каталог 2041 года...

Владимир КОРКУНОВ

УРОКИ ЛЮБВИ

(Есть ли что-то дороже любви?)

Павел Нерлер. «Соп амоге: Этюды о Мандельштаме» – М.: НЛО, 2014. – 856 с.

Промежуточно-итоговый труд Павла Нерлера «Соп амоге. Этюды о Мандельштаме» появился благодаря счастливому стечению обстоятельств. Первоначальный импульс дала книга Бориса Фрезинского «Об Илье Эренбурге», выпущенная «Новым литературным обо-

зрением»: «В голове сразу мелькнуло: “Может, и мне собрать свои статьи о Мандельштаме?” – признаётся во вступительном слове автор. – И я благодарю Ирину Прохорову, поддерживавшую мою заявку». Таким образом, Эренбург стал невольным соучастником выхода 856-страничного (мелким кеглем свёрстанного!) тома. Статьи, эссе, очерки, попытки реконструкции, связанные именем Мандельштама – работы более чем за 35 лет.

Автор признаётся, что пришёл к своему герою не сразу; первыми одурманившими голову поэтами оказались Маяковский и Кирсанов. Но Николай Поболь, старший университетский товарищ, враз положил всех на лопатки стихами совершенно другого и незнакомого поэта – Мандельштама. И постепенно в молодом студенте геофака МГУ зарождалась привязанность и деятельная любовь к Осипу Эмильевичу – человеку (а не только к поэзии!), отчаянно отстаивающему право на голос в страшные 30-е годы.

По крупницам слагалось будущее – через чтение и заучивание, перепечатывание распространяемых «безвоздушно» стихов; через дневник, ведомый на протяжении многих лет и посвящённый фактически одному имени. Не это ли называют любовью? И не с любовью ли – соп амоге – написана эта книга?

С любовью – в данном случае это значит: пробиваясь через идеологические и бюрократические препоны. Не сумасшествие ли – девять лет обивать коридоры издательств, ходить на поклон к чиновникам от литературы, лишённым совести и вкуса, и наделённым только мелочностью и страхом за прикормленное место, – чтобы издать «Слово и культуру» Мандельштама, вернуть его имя советским – отлучённым от него за какие провинности? – читателям. Купюры, правки, – и рукопись таяла на глазах, канон осквернялся, и потому болью, смешанной с извинениями, звучат слова Нерлера: «Ведь я же мог – пускай и ценой невыхода книги! – не согласиться с мнением Ерёменки (*директора издательства. – В.К.*) и прочих “товарищей” и забрать рукопись. Где ты, граница допустимого конформизма?» Не знал тогда молодой исследователь, что граница эта чуть дальше глаз и голов читателей (а те,

кто примутся за Мандельштама, и так всё поймают!), что куда важнее пробить стену неприятия и замалчивания, чем остаться с разбитым корытом, пухлой рукописью и незапятнанной гордостью. Это потом пойдут издания и переиздания, взлетят и рухнут тиражи, вернутся имена...

А создание Мандельштамовского общества – разве оно было безоговорочно принято? Виктория Швейцер, умница, вернувшая нам неизвестные «савёловские» стихи поэта, источала уверенность, что от «творившегося безобразия» Мандельштам в гробу перевернется: «дурно задумано...» Но и Мандельштам не перевернулся (да и есть ли – гроб? или только бирка? или и на бирку поскупились шерри-брендивские конвоиры?), и сторонников созидания оказалось больше – и разве можно представить сейчас Россию без Мандельштамовского общества? Эта летопись прихода к нам, истинного постижения и познания гения человека, любившего свободу, но ничего не делавшего для её обретения – вернее, делавшего, но то была свобода в будущем, в высших сферах, в искусстве, а жизнь что повод для заливающего смеха – зафиксирована на страницах «Con amore».

Не сократилась ли дистанция к «тексту о Мандельштаме», глобальному и единому? Сократилась. И «Мандельштамовская энциклопедия», едва ли не вечный долгострой, и обобщающий архивы интернет-ресурс – в процессе создания. У Павла Нерлера, уверен, хватит сил воплотить эти планы в жизнь.

На чём основывается уверенность? На личном опыте соприкосновения с ним. Узнав о моей географической принадлежности к Савёлову, правобережью небольшого приволжского городка Кимры (менее 50 тысяч жителей), где Осип Эмильевич провёл летние и осенние месяцы 1937 года и написал последние известные нам стихотворения (Виктория Швейцер назвала их «Савёловский цикл»), он обрушил на меня целый шквал вопросов: от даты постройки в Кимрах моста (очевидна посылка – Мандельштамы переправлялись в «старый город» на лодке бакенщика Фирсова) до времени следования поездов/электричек в советское время по маршруту Кимры – Москва.

Мандельштамовским местам посвящён едва ли не самый объёмный отдел книги. Города поэта и страны. «Польша нежная...» (Варшава), Петербург, Париж, Москва; Германия, Италия, Америка, Грузия... Большинство очерков появлялись в предыдущих книгах Нерлера, к нынешнему переизданию они получили новую огранку – сообразно дополняющим или корректирующим сведениям.

Пронзительна реконструкция «В одиннадцатом бараке: последние одиннадцать недель жизни Осипа Мандельштама», исполненная образно-бесстрастно (от этого ещё жутче!). Это своеобразный дневник угасания, превращения живого человека в бессмысленный и ненужный кусок мяса, отягощённый двумя желаниями – тепла и еды. Своевременны строки Шаламова из «Шерри-бренди»: «Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода. Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла...» О, Шаламов мастер живописать лагерные ужасы отстранённо, не навешивая ярлыков и не раздвая диагнозов, оттого кажется, что ты там, рядом с умирающими и умершими. Рядом с Мандельштамом, до которого никогда не дойдёт письмо жены, брошенное в пространство и в никуда, реквиемом прозвучавшее; едва ли не самое бесценное из всего ею написанного: «Осюша – наша детская с тобою жизнь – какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу?»

Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достается чудом и когда его едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже. Наша счастливая нищета и стихи. Я помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было холодно, и я мерзла в своей куртке (так ли нам предстоит мерзнуть: я знаю, как тебе холодно). И я запомнила этот день: я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды – это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю».

Эта цитата приведена в другой книге Нерлера, «С гурьбой и гуртом»: Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама», изданной ровно двадцать лет назад. Но она поражает чувством, без лишних слов объясняющим, почему и за что избрал Надежду Яковлевну впечатлительный и влюбчивый поэт. Людям, связанным с Мандельштамом, выдержавшим его ценз, но и выдержавшим его (а последняя «пассия» поэта, сталистка Лиля Попова свидетельствовала, как нелегко было общаться даже с влюблённым в неё поэтом: «Это непроеходимый, капризный эгоизм. Требование у всех, буквально, безграничного внимания к себе, к своим бедам и болям». А что, гений должен быть сто долларовой купюрой?) посвящён раздел «Современники и современницы». Павел Нерлер фиксирует жизнь – особенно сосредотачиваясь на связях с Мандельштамом – Надежды Мандельштам, Анны Ахматовой, Натальи Штемпель, Бенедикта Лившица, Николая Бруни и др.

Едва ли не ключевым (мы, увлекшись, «проскочили» его – он расположен вторым) – для понимания Мандельштама и восприятия автором поэта – раздел книги можно назвать «Солнечную фугу». Парадокс «европеизма» Мандельштама, по Нерлеру «ещё один пятый пункт», выводит понимание его поэтики на новый уровень, глобальный; вот здесь – и буквально кожей – уже чувствуешь разницу в значении для русской и мировой поэзии Маяковского, Кирсанова и – Мандельштама!

Детективной выглядит статья «Битва под Уленшигелем», посвящённая развернувшейся травле поэта после выхода адаптированного им «Тили Уленшигеля». Изначально конфликт выеденного яйца не стоил – издатель не указал оригинальных переводчиков книги, чьи кустарные творения (может быть, и более точные в каких-то отношениях) обработал Мандельштам. Но упёрлись рогами бараны, и ворота дали трещину – относительно мирная дискуссия в СМИ о переводах переросла в подлинную информационную войну. Не случайно злость Мандельштама в «Четвёртой прозе»!

Описанное мною – лишь эпизоды. В книге ещё присутствуют разделы «Слово и бескультурье», «Вместо заключения» и объёмное при-

ложение, состоящее из дневников/записных книжек Павла Нерлера и авторской библиографии.

Очевидно, и с каждой минутой это делается отчётливее, что Нерлер на страницах книги и в центре (как автор), и в отдалении (как художник). Он приводит множество свидетельств, лучше иного передающих колорит и миазмы времени. Погружаясь в «Сop Amoge», утрачиваешь связь с реальностью. И Мандельштам представляется не забронзовевшим классиком «с-той-книжной-полки», а человеком из плоти и крови, со слабостями и величием, с несгибаемостью и – талантом. Талантом, оборванным нашими соплеменниками – людьми.

Осознать это – немаловажный жизненный урок. А «книга жизни» Павла Нерлера должна сторицей отплатить создателю. Он посвятил себя Мандельштаму. А теперь мы, читатели, погружаясь в труды Нерлера, перенимаем его любовь.

Есть ли что-то дороже?

Сергей ТРУНЕВ

ОТ УЛЫБАЮЩЕЙСЯ СКОВОРОДКИ
ДО ПЯТИГЛАВОГО ДЕКАДАНСА

Другой берег: Литературно-художественный альманах. – 2014. – № 13. – Энгельс: ОАО Издательство «Слово». – 152 с.

Все начинается довольно прозаично, т.е. с раздела «Проза».

В повести Алексея Солодова «Квартирант» описывается повседневное бытование, соответственно, двух квартирантов со сдающим им жилплощадь мужчиной (жанр исповедальный, от лица хозяина). О последнем поначалу сказать почти нечего, помимо того, что он, вероятнее всего, старше обоих по возрасту и к тому же очень одинок. Немного настораживает только, что он как-то болезненно не может забыть одного из них, давно уже покинувших его квартиру. В ретроспективе: один из квартирантов сильно выпивает, в то время как другой почти непрерывно ест сало и пьет молоко (именно такое взрывоопасное сочетание), привезенные из родной деревни.

А далее, как в Стране Чудес, «все страньше и страньше»: один из квартирантов начинает трогательно заботиться о хозяйских вещах (швабре, сковородке и др.), и хозяину в ответ начинает мерещиться, что данные предметы оживают: «*И швабра не подвела. Она сама, наверное, уже не надеялась, что ее когда-нибудь починят. Теперь, когда это наконец произошло, она, я думаю, была счастлива не меньше, чем я*» (С. 16). «*Избавившись от черного нагара, она (сковородка – С.Т.) словно вернулась на много лет назад и теперь, счастливая, стоит на столе и улыбается...*» (С. 17). И все бы ничего, если бы параллельно с описанными превращениями некоторые люди в памяти автора не приобрели явные черты вещей: «*А моя бабушка до самых последних дней была словно “заводная”: будто завели ее каким-то ключиком, и она будет бегать до тех пор, пока не кончится “завод”*» (С. 18). Окончательно добивает и ставит в тупик читателя возникающий в ходе дальнейшего повествования жуткий овощ: «*картофелина необычной формы: в виде перчатки или облепленная маленькими шариками-детками*» (С. 19). Ситуация со смешением живого и мертвого несколько проясняется в тот момент, когда автор внезапно решается на чистосердечное признание: «*Иногда мне в голову приходят совершенно идиотские мысли*» (С. 20).

Затем сильно пьющий квартирант зачем-то научил хозяина курить, а сам стал «качаться» (это слово в повести написано в кавычках), но вскоре снова запил. И тут (С. 29) оживает «книжка-малышка», с которой автор вступает в короткий, но весьма эмоциональный диалог. Потом как по накатанному: «спасибо» фотоаппарату, диалог с мертвыми мамой и бабушкой и много еще чего, столь же бессмысленного и беспощадного... Короче, когда квартиранты, наконец, съехали (не знаю, нужны ли здесь кавычки) автор опять ощутил тоску одиночества, а я, грешный, простое человеческое счастье.

Но радовался я преждевременно: в повести Александра Бурмистрова «Слава» (жанр также исповедальный, от лица автора) с первых же страниц на меня с удвоенной силой обрушилось повествование о крепкой мужской друж-

бе с налетом бытовой магии и вполне безобидной, простите, ну... назовем это очень крепкой мужской дружбой. А крепкой дружба была от того, что происходила она «на Северах», т.е. там, где закаленные почти нечеловеческими природными и бытовыми условиями мужчины обладают особой притягательностью: «*Через голос я видел (пример бытовой магии – С.Т.), как он улыбается, как затаенно, с легкой хитринкой сверкают его темные, чуть монгольские глаза*» (С. 57).

Не буду пересказывать содержание, хотя текст занимает всего тринадцать журнальных страниц, т.е. это очень короткая повесть, т.е. рассказ. Приведу лишь высказывание одного из главных героев (разумеется, без кавычек), которое мне показалось лейтмотивом, поскольку почти в неизменном виде было обнаружено не только в начале, но и в конце произведения. Из письма друга: «*Дружба – это не любовь. А мужская дружба – покрепче иной любви. Не бросайся ей, Леша. Это тебе на будущее...*» (С. 58 и 68). Согласитесь, торжественно и одновременно чертовски свежо.

В разделе «Альтернативная проза» представлены рассказы Сергея Кузина. Чему они альтернативны, я, откровенно говоря, не понял. Видимо, чему-то совершенно трансцендентальному... Как и автор, открывающий номер, Сергей Кузин активно общается с представителями иного (в его случае – животного) мира, только понимает их плохо: «*Удивляет большое количество птиц. Чем они надоедают, так постоянным разговором на своем малопонятном языке*» (С. 70). Видимо, по этой причине в его текстах много какой-то неловкой «философии» (кавычки обязательны), забавных фобий и трагической юношеской любви, завершающейся сладострастными мыслями о мести: «*Моя месть жестока – сожгу ее лифчик. Расчленю. Утоплю. Порезу. Это я смогу. Закон меня не остановит*» (С.72). Согласен: хранить лифчик сбежавшей любимой без особой необходимости, действительно, ни к чему. Но жечь его, топить и расчленять – Боже упаси! Впрочем, я еще не видел статей Уголовного Кодекса, в которых говорилось бы о возможных нака-

заниях в отношении виновников насильственной смерти нижнего белья. Так что автору опастаться особо нечего.

Рубрика «Конкурс рассказов “Между нами, покровчанами – 2013”» вмещает тексты Марьям Авериной, Валерия Вакуленко, Светланы Кузнецовой, Лолы Левиной, Надежды Олейник, Василия Реснянского, Бронислава Скороко, Светланы Устелимовой и Людмилы Шлакиной. Практически все рассказы содержат описания умильных взаимоотношений Человека и Животного, насыщенные неизбывной тоской, бесхитростными размышлениями о смысле жизни, а также слюнвявыми монологами и диалогами. Исключение составляет, пожалуй, рассказ Надежды Олейник, посвященный тому, как в торжественный момент кобыла извозчика сначала «громко выпустила газы», а затем на дорогу посыпались «брикеты переработанного корма» (С. 81). Рассказ, на мой взгляд, выгодно отличается от остальных наличием определенной недосказанности, зачастую служащей маркером по-настоящему хорошего литературного произведения: я, например, так и не понял, как (чисто технически) кобыла упаковывала переработанный корм в брикеты и с какой целью разбрасывала их по дороге.

Но более всего меня ошеломила рубрика «Конкурс стихотворений “Поэзии все возрасты покорны – 2013”». И поскольку страна обязана знать своих «героев» (кавычки обязательны!), перечислю их всех в порядке очередности: Марьям Аверина, Алексей Баландин, Юрий Бойко, Алексей Васильев, Ольга Жогло, Людмила Клименко, Марина Колесникова, Денис Маркелов, Николай Неловко, Галина Никитина, Татьяна Носкова, Бронислав Скороко, Людмила Шлакина. Произведения ряда авторов представляют собой чистейшие образцы графомании, в некоторых же содержится такой силы заряд мохноногой пейзажной сексуальности, что устоять от комментариев мне будет в высшей степени тяжело.

Марьям Аверина: «И вот уже ухо движение запечатлело» (С. 92). Без комментариев. «Цепных замков рвут плен, скрипя и надрываясь» (С. 92). Также без комментариев.

Александр Баландин: «Влюблюсь в венгерку или польку // и назову детишек – Йетти» (С. 93). Остановитесь, Александр, // уже подумайте о детях!

Алексей Васильев: «На берегу стою я боком» (С. 95). Боком к чему? «Ходили девушки в трусах // Пупка резинка выше, // Лобки все были в волосах, // И голуби на крышах» (С. 96). Совет поэту: если у Вас ностальгия по волосатым лобкам – смотрите Тинто Брасса (не подумайте, это такой кинорежиссер, фильмы его смотрите). Глубинной связи между лобками и голубями, кстати, я также не уловил. Вот еще: «Горелая картошка – и теплый твой сосок...» (С. 96). Любопытный ассоциативный ряд... Африканка?

Людмила Клименко: «А поезд длинный на рельсах вскрикнул, // Как будто стрелкой прижали хвост. // Смотрю, а кто-то с подножки прыгнул, // В охапку счастье – и под откос» (С. 97). Путаница какая-то. То ли поэтесса в охапку схватила того, кто прыгнул. То ли он схватил ее. Или тот, кто прыгнул, унес с поезда какую-то важную вещь?

Денис Маркелов: «Он цупал девку, как гармошку, // Пытаясь растянуть меха. // Лежала кепка на окошке. // В седых волосях дней труха. // Сверчок кричал во тьме, и звуки // Порой пугали, а порой... // Его шершавистые руки // Неясной тешились игрой» (С. 98). Представьте последовательно: сперва слепого гармониста, пытающегося растянуть девку, затем седые волосы дней и, наконец, то, чем может заниматься кричащий сверчок своими шершавистыми руками... и ощутите всю глубину охватившего меня ужаса.

Николай Неловко. «Стрелка красная бежит, // Дятел долбит в лесу» (С. 99). Даже как-то неловко спросить, чем долбятся дятлы.

Справедливости ради отмечу, что на общем безрадостном фоне поэтическое творчество Бронислава Скороко показалось мне, по меньшей мере, осмысленным.

После улыбающихся сквородок и слепых гармонистов раздел «История» несколько успокоил и даже до некоторой степени воодушевил. Представленные в нем выдержки из путевых заметок Павла Свинына (1787–1839)

обрели вполне органичное продолжение в исследовательских текстах Игоря Шульги «Как чумаки с Эльтона соль возили», Дмитрия Решетова «Основание слободы Покровской», Петра Комарова «Волжские казаки», Александра Бурмистрова «Соль с исторической родины» и «Эльтонский фактор нашей истории» (даже невзирая на то, что последний текст ранее уже был опубликован в энгельском еженедельнике «Новая газета»).

Менее однородной и плотной выглядит последняя в альманахе рубрика «Мир художников». Вполне сопоставимые по качеству (но не по объему) с историческими, статьи принадлежат здесь музейщикам: Елене Дорогиной и Галине Беляевой («Саратовский андерграунд») и, опять же, Елене Дорогиной («О творчестве Андрея Ванина»). Два коротких, но вполне читабельных текста представил художник Сергей Саков («Круг Чудина» и «Океан»; второй – о выставке художника Романа Кирина). Завершающий художественный блок текст Виктора Кандлера «Декаданс о пяти головах» показался незаслуженно претенциозным. Чего стоит только его концовка: *«На этом считаю*

нужным закончить публикацию, а читателям пожелаю продолжать приближаться к искусству и переживать достойные встречи с прекрасным» (С. 152).

Что же, переживать достойные встречи с прекрасным, конечно, необходимо. Вопрос в том, является ли литературно-художественный альманах «Другой берег» достойным местом для подобного рода встреч? Мой собственный отрицательный ответ опирается на достаточные основания: если в издании с четко обозначенной направленностью (литература и искусство) наиболее сильной оказывается историческая часть (куда можно отнести и художественный раздел, практически не содержащий аналитики), а литературная часть едва ли возвышается над уровнем плинтуса, то имеет смысл подумать об изменении профиля издания. На, скажем, художественно-краеведческий... Нет, я не «считаю нужным закончить публикацию», однако в нынешнем своем облике «Другой берег» представляется химерическим соединением литературных атавизмов, средней истории искусства и хорошего краеведения.

Иван КОЗЛОВ

ТЕОРЕМА ЗЕРО ПОД КОЖЕЙ ВОЛКА С УОЛЛ-СТРИТ

Теорема Зеро (реж. Терри Гиллиам)

Долгожданный фильм режиссера, которого уже хочется назвать великим. Так бывает: сначала что-то кажется нам веселым хулиганством, потом хулигана уже считают серьезным художником, по прошествии десятка-другого лет – признанным мэтром, а дальше эпитет «великий» уже не кажется преувеличением. Может быть, потому, что появились новые хулиганы – и веселые, и не очень.

Как это часто бывает с новыми произведениями великих, они и очаровывают, и разочаровывают. Последнее, впрочем, как мы потом понимаем, относится лишь к нашим ожиданиям. Опять же, с течением времени – для кого-то за полчаса, для кого-то за очередной десяток лет – нас настигает «величие замысла», по сравнению с которым наши ожидания оказываются банальными и мелкими. Восприятие не нащупывает дна и не без удовольствия тонет в омуте открывшихся смыслов.

Такое «полное погружение» и дает нам шанс ощутить новый фильм Гиллиама. Вот что там происходит: гениальный аутист-компьютерщик Коэн Лэт работает в гигантской корпорации и ждет звонка свыше (в буквальном смысле), который направит его жизнь в нужное русло, придав ей отсутствующий на данный момент смысл. Начальство Коэна поручает ему работу над доказательством теоремы Зеро, над которой уже многие сломали головы, причем тоже в буквальном смысле.

Нам кажется, что это очередная антиутопия, что-то вроде «Бразилии», «то же, но хуже». Мы, чуть скучая в роскошном своей избыточностью видеоряде, ожидаем хитрого сюжетного хода, который разрешит коллизию, дав Коэну шанс реализации – как в сексуальном, так и в социальном плане. Но всё с треском рушится, погребая под своими обломками и судьбы главных героев фильма, и зрительские ожидания.

Антиутопия оказалась метафизической трагедией. А декорации – да, прикольные. И, как всегда, отвлекают от главного. В том числе и в нашей реальности.

Побудь в моей шкуре (реж. Джонатан Глэйзер)

Эта лента позиционируется как фантастический триллер. Вроде бы сюжетные признаки налицо – таинственная инопланетянка в исполнении Скарлетт Йоханссон ездит по шотландским дорогам и снимает мужиков. Доверчивые самцы не знают, что, клюнув на привлекательную внешность девушки за рулём, они подписывают себе смертный приговор.

Впечатление неотвратимости гибели усиливается, если знать, что режиссер решил «сыграть» в реальность: на автомобиле были установлены скрытые камеры, и неузнаваемая кинозвезда действительно колесила по трассам, подбирая автостопщиков. И только потом им сообщали, что они «попали в фильм».

Литературный источник фильма – роман Мишеля Фейбера (изданный у нас в издательстве «Иностранка» еще в 2003 году). Фильм, собственно, называется «Под кожей» («Under the Skin»),

но прокатчики решили дать ему название, идентичное тому, под которым выходила книга – «Побудь в моей шкуре».

По сравнению с книгой, фильм практически непонятен в деталях. Антураж триллера – жутковатая музыка, мрачная атмосфера, типичное поведение киношного маньяка, которое демонстрирует героиня ленты – всё это растворяется в холодных пейзажах Шотландии, дурной погоде, усталом и отстраненном взгляде инопланетного существа, которое смотрит на наш мир. Именно поймав этот взгляд, который постоянно фиксирует камера, мы попадаем в особое пространство фильма – и больше уже ничего не надо. Ведь когда зритель вдруг обнаруживает себя внутри такого пространства – это и есть магия кино.

Волк с Уолл-стрит (реж. Мартин Скорсезе)

Еще один режиссер-гигант с новым мега-проектом. В главной роли Леонардо ди Каприо, любимец Скорсезе, регулярно снимающийся в его лентах последних лет.

Фильм сделан по мемуарной книге Джордана Белфорта, удачливого и беспринципного (это уже синонимы?) нью-йоркского брокера. Он начинал в крупной фирме, быстро набрался опыта и, когда фирма приказала долго жить, начал практически с нуля. Катастрофа обернулась шансом, как это водится у практичных деловых людей: Белфорт выстроил свою финансовую империю, но был настолько авантюрен и независим, что через несколько лет попал в тюрьму по обвинению в мошенничестве, отказавшись в свое время уйти с поста директора и испортив отношения с тамошними силовиками.

Мир, который предстает перед нами в этой ленте, и актуален для российской действительности, и совершенно невозможен. Стремление прикупить акций до сих пор не стало нормой обыденной жизни большинства моих теперешних соотечественников, а вот умению впарить покупателю всякую хрень теперь учат на дорогих семинарах, и, судя по объемам продаж разного рода безумных товаров, учат со знанием дела и вполне успешно.

Фильм снят великолепно и смотрится неотрывно, Скорсезе есть Скорсезе. Но ты постоянно ловишь себя на мысли, что риторика и стилистика продаж, которая стала чем-то привычным для Америки, в России работать не будет еще долго или почти никогда. Карнегианский, условно говоря, монолог в наших широтах выглядит как речь безумца. Возможно, американцы еще и клюют на эти удочки. Не исключено, что покупка становится результатом «удовольствия от текста» – оригинальной системы доказательств, почему именно вам нужна именно эта акция именно этого предприятия (или машинка для извлечения косточек из слив, или крем из стволовых клеток бронтозавра). Здесь этот пафос не работает, и механизмы решения о покупке совсем иные. Может быть, именно в этом и состоит тайна русского менталитета aka загадочная русская душа?

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 20 августа 2014 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
<http://magazines.russ.ru/volga/>

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.